



С. Л. Чудновский

С. Л. ЧУДНОВСКИЙ

55-111 444
302

9
076
44-335

ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ

ВОСПОМИНАНИЯ

ПОДГОТОВИЛ К ПЕЧАТИ
В. С. АЛЕКСЕЕВ-ПОПОВ

РЕДАКЦИЯ
М. А. БРАГИНСКОГО

44-335-III/10

Тн 2

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

В эпоху позднего империализма, когда пролетарская революция в одной стране стала уже фактом и не могла победить на всем земном шаре только вследствие раскола рабочего класса, левые социал-демократы, объективно, выполняют очень важную для буржуазии задачу упрочения этого раскола. В эту эпоху Коммунистическому Интернационалу, возглавляющему революционную часть рабочего класса, ведущему ее к ниспровержению капитализма, противостоит откровенный социал-фашизм, отрицающий революцию и путем пропаганды «третьего пути развития», «мирного» построения социализма, уводящий рабочие массы от борьбы с капитализмом и использующий их силы против пролетарской революции для защиты капитализма. Но с.-д. массы левеют, они объективно становятся на путь пролетарской революции. Тогда появляются «левые» социал-демократы и путем критики обанкротившегося социал-фашизма и словесного признания пролетарской революции пытаются не допустить массы к переходу в ряды компартий. Поэтому, что бы о себе ни думали «левые» социал-демократы, по сути они являются лишь агентурой социал-фашизма, буржуазии среди революционных и революционизирующихся рабочих.

Точно так же и лавризм, — даже в минуты своего полевения являвшийся представителем тех слоев мелких производителей, которые так или иначе примирились с капитализмом, — нужно рассматривать как агентуру этих слоев среди мечтавших о крестьянской революции, разоренных капитализмом, лишенных хозяйства кустарей.

Объективно, пребывание лавристов в рядах народничества имело своей задачей примирить революционные элементы «народа» (разоренных капитализмом крестьян) с капитализмом, их ненависть направить не против капитализма, а против самодержавия, и только в таких формах, которые содействуют развитию и укреплению капитализма.

Определив таким образом политические взгляды Чудновского и его место в революционном народничестве, мы считаем необходимым указать и на то, что мемуары Чудновского представляют ценность именно потому, что они в очень яркой форме иллюстрируют ленинское положение о либерально-народнической тенденции, протянувшейся от Кавелина через Михайловского и народных социалистов к кадетам.

В. Коробков.

ВСТУПЛЕНИЕ

Когда пройдена большая часть жизненного пути, когда человеку стукнуло 57 лет, у него невольно и естественно является потребность оглянуться назад, ориентироваться в своем прошлом и воскресить в своей памяти кое-какие эпизоды и факты и связанные с ними дорогие черты лиц, с которыми ему приходилось сталкиваться при разных обстоятельствах и при различных условиях. Потребность эта становится обаянием, если на пройденном тобою пути попадались люди, сыгравшие в истории родины более или менее выдающуюся роль и удостоившиеся во имя блага родины тернового венца. Я приобщился к освободительному движению на самой заре своей юности и в течение более 38 лет непрерывно оставался в рядах этого движения. Я работал в его пользу, служа ему по мере сил и разумения в той или другой форме, не будучи всегда строго партийным, оставаясь не всегда в рядах одних и тех же единомышленников, но всегда проникнутый убеждением в правоте и целесообразности того пути, который избирался мной в тот или другой момент в интересах общего освободительного движения.

При всех недомолвках и при всей своей неопределенности манифест 17 октября 1905 года составляет, бесспорно, поворотный пункт в нашей истории. Он завершает собою период неограниченного самодержавия и начинается с большими колебаниями и крайне неустойчиво период конституционной России. Поворот этот подготовлен целым легионом борцов за свободу, из коих многих уже нет, а многие «далече» — томятся в ссылке, в казематах, в изгнании. Все те, кому пришлось сталкиваться при той или другой обстановке, в том или другом «деле» с этими борцами, не могут не сознавать, что на них лежит священный долг в переживаемый нами момент поделиться с публикой своими воспоминаниями об этих лицах, как бы кратки и отрывочны эти воспоминания ни были.

Мне, участнику «студенческой истории» 1869 года и впоследствии «процесса 193-х», человеку, пробывшему 7 лет в тюрьме и скитавшемуся 15 лет в ссылке по разным углам Сибири, приходилось сталкиваться со многими лицами, так или иначе прикосновенными к нашей внутренней политической борьбе за по-

следнее десятилетие, и наравне с другими я несу на себе священную обязанность восстановить для современников и потомства образы некоторых из этих борцов, как и некоторые общественные факты и события.

Мечту о сведении своих воспоминаний в одну цельную и связную картину я лелеял уже давно. Мечта эта в последнее время всецело мною овладела. Пользуясь любезным приглашением редакции «Былого», я решил реализовать эту мечту, уповав, что отошли уже в прошлое те «независящие обстоятельства», которые властно до сих пор удерживали меня от осуществления этой заветной мечты, делая даже невозможным составление каких-либо заметок, хотя, за неимением ни нужного для этого досуга, ни необходимой уравновешенности чувства и настроения, я не надеялся, чтобы мне и на этот раз удалось осуществить свою мечту в полном объеме.

Но жизнь кипит и бурлит, она ежедневно, ежечасно предъявляет свои властные требования, и я решил предоставить в распоряжение уважаемой редакции «Былого», а затем «Нашей Страны» и «Минувших Годов» не вполне законченные и связанные между собой воспоминания: я полагал, что если мне самому не удастся при более благоприятных условиях связать их в единое целое, то они сослужат, может быть, службу другим, жизнь которых сложилась в этом отношении более благоприятно.

Ныне же, по настоянию друзей и товарищей, я решил выпустить эти отрывочные воспоминания отдельным изданием.

ГЛАВА I

1

Освободительная волна, хлынувшая на Россию в конце 50-х и начале 60-х годов, продолжала захлестывать все молодое и свежее на всем протяжении нашей обширной родины. Жажда «нового», недовольство «существующим» захватывали (хотя больше инстинктивно) не только воспитанников высших учебных заведений, но и учащихся старших классов средних учебных заведений. В херсонской гимназии, в которой я учился, как и во многих других гимназиях, в середине 60-х годов учащиеся трех старших классов (8-го класса тогда еще не было) группировались (хотя далеко не все) в кружки самообразования для совместного чтения выдающихся журнальных статей и отдельных брошюр, уделяя при этом не мало времени на обмен мнениями и чаяниями по поводу прочитанного. Значительную поддержку в этом отношении мы, херсонцы, находили со стороны двух наших преподавателей: словесности — Горяева и истории — Пильщикова, память которых многими из нас свято чтится.

Довольно явственно припоминается мне, как в один учебный день в длинном коридоре херсонской гимназии появилась сутуловатая, изможденная и сторбившаяся фигура еще очень молодого человека, почти юноши, среднего роста. Во время «перемен» его можно было видеть почти всегда сосредоточенным и быстро-быстро шагающим по коридору, вечно погруженным в какие-то глубокие, всецело поглощающие его думы. Был я тогда, кажется, в третьем классе гимназии и близко познакомиться с этим педагогом тогда не мог, так как преподавание его начиналось лишь с 4-го класса гимназии.

Это и был вновь назначенный к нам (чуть ли не прямо с университетской скамьи) учителем словесности Николай Васильевич Горяев. Близко я сошелся с ним лишь с 4-го класса, посещая его часто для бесед по интересовавшим меня вопросам. Занимал он маленькую квартирку в три комнаты, почти сплошь заставленные книжными шкапами и полками. Особенно почетное место отведено было в его библиотеке русским, немецким и французским классикам: Гете, Гейне, Шиллер и Пушкин пользовались наибольшими его симпатиями.

Николай Васильевич всегда и неизменно встречал меня и моих товарищей чрезвычайно радушно. Он усаживал нас за небольшой единственный в его кабинете столик, не занятый книгами, собственноручно наливал нам чай и в продолжительных, весьма содержательных и увлекательных беседах возле кипящего и пыхтевшего самоварчика знакомил нас с лучшими произведениями русской и иностранной литературы. Беседы эти возвышали наш дух и уносили нас в блаженную обитель высших идеалов.

Уроки Горяева являлись для нас поистине живительной властью. Мастерским чтением избранных мест, сопровождаемым тонким анализом и серьезной критикой, Н. В. вводил нас в самую суть нашей новейшей литературы. Он преклонялся перед Пушкиным и его «Евгением Онегиным», благоговел перед Белинским и Добролюбовым, ставя их значительно выше Писарева, которого он недолюбливал за его «поверхностное» и несправедливое отношение к Пушкину...

Дмитрий Павлович Пильщиков появился в нашей гимназии значительно позже, если не ошибаюсь, в 1866 году, когда я был уже в 6-м классе. О нем придется говорить ниже. На общем довольно-таки сером и бесцветном фоне преподавательского персонала херсонской гимназии Д. П. представлял собою довольно яркую оригинальную фигуру с выдающимися, живым умом и богатыми, весьма разносторонними знаниями. Преподавал он историю и преподавал ее чрезвычайно увлекательно, весьма мало останавливаясь на голых фактах и хронологических датах, а рисуя в живых образах и картинах наиболее интересные стороны исторического процесса. Своим живым и талантливым изложением он привлекал все наше внимание и все наши симпатии к столь важному предмету, как история. Пильщиков не замыкался в рамки казенной программы и на уроках своих выходил далеко за пределы последней, вызывая этим неудовольствие «начальства» — директора и инспектора. Он посвящал нас в наиболее интересные эпизоды нашей новейшей истории — в эпохи революций, в войну Северных и Южных штатов Америки за освобождение негров и т. п.

Впрочем, более существенны для нашего развития были наши товарищеские кружки.

Кумиром и богом гимназической молодежи в половине 60-х годов прошлого столетия был Д. И. Писарев. Статьями его захлебывались, мысли его воспринимались с благоговением, как евангелие, как нечто непререкаемое, как священный завет. Я помню, с каким страстным нетерпением мы ожидали выхода книжек чрезвычайно популярного тогда «Русского Слова» и с какой жадностью мы набрасывались на полученную новую книжку, если только в ней появлялась статья Писарева (а статьи его появлялись почти в каждой книжке). Не могу не воспроизвести следующего характерного эпизода. Я окончил 7-й класс гимназии и

собирался в университет. В один из летних июльских вечеров 1868 г. группа учащихся старших классов нашей гимназии собралась, по обыкновению, на «Потемкинском» бульваре, толпой слонялась по аллеям и оживленно болтала о разных разностях. Вдруг кто-то из гуляющей публики взволнованным голосом сообщает только что полученную в Херсоне ужасную весть: наш кумир Писарев 4 июля во время купания в море в Дуббельне утонул! Весть эта подействовала на нас буквально потрясающим образом; несколько человек из нашей компании опрометью и совершенно бессознательно бросились из бульвара в разные стороны, в числе последних был и я. С сильно бьющимся сердцем бросился я на квартиру своего старшего брата и, глубоко потрясенный, совершенно обессиленный, вбежав в кабинет, опустился на стул, не будучи в состоянии издать хоть какой-либо звук. Лишь по прошествии нескольких минут, после того как я выпил залпом несколько стаканов воды, я, наконец, захлебывающимся голосом передал окружающим дошедшую до меня новость...

Таково было в то время настроение молодежи и учащихся не одной, конечно, херсонской гимназии.

2

Окончив в 1868 году херсонскую гимназию, я отправился с некоторыми товарищами в Одессу, подвергся там «поверочному испытанию» и был зачислен студентом юридического факультета¹ Новороссийского университета, хотя я отнюдь не намерен был остаться в Одессе. 18-летний юноша, я весь охвачен был жаждой более широкой жизни, стремлением к разрешению «проклятых вопросов», волновавших меня и некоторых товарищей еще с гимназической скамьи: сначала Писарев, за ним Белинский, а потом и Добролюбов были властителями наших дум. Мы ими зачитывались, потому что они звали нас к широкому свету, к светлым идеалам, к борьбе за все чистое и благородное; зов их воспринимался нами не столько сознательно, сколько инстинктивно; мы были во власти не столько идеалов, сколько лучезарных, возвышенных, повелительно манящих мечтаний...

Окружающая мрачная действительность вызвала тогда во всех мыслящих русских людях недовольство существующим и неудержимое и инстинктивное стремление к чему-то лучшему, высшему, заоблачно идеальному... «В Петербург! В Петербург! В Петербург!», — вот мысль, поглощавшая меня всецело с самых выпускных экзаменов. «Только там, только в этом центре русского ума и просвещения найдешь разрешение всех мучающих тебя вопросов, только там набредешь на тот путь, который может привести к счастью родины, к благу России, к лучшему будущему для всех обездоленных»...

Пробыв лишь три недели студентом Новороссийского университета, я подал заявление об увольнении и о переводе в Петер-

бург, куда (собрав кое-какие небольшие крохи) я немедленно и отправился.

В то время, в 1868 году, железнодорожное сообщение составляло еще привилегию весьма незначительной части России. Одесса еще не была соединена прямым путем ни с Москвой, ни с Петербургом. Мне пришлось попутешествовать всеми наличными в то время способами сообщения: из Херсона до Никополя на пароходе, из Никополя до Харькова «на долгих», из Харькова до Курска на почтовых и только уже от Курска, где только что отстроен был вокзал, до Петербурга (на Москву) по железной дороге. Путешествие отняло у меня таким образом около 10 дней.

И вот я в Петербурге! Этот гигантский для провинциала город, с его многоэтажными домами, с его колоссальными колоннами и историческими статуями, с его многочисленными набережными, мостами, каналами, с его дворцами и скверами, поразил и ошеломил меня. В первый день я почувствовал себя каким-то маленьким-маленьким, ничтожным, кем-то сюда заброшенным существом, которое неизбежно будет раздавлено этими колоссальными глыбами. Мне казалось, что на меня несет от этих мостовых, от этих набережных каким-то жестким холодом, суровой неприветливостью, страшной отчужденностью, что кругом меня спуют люди с каменными сердцами и каменными душами. Это был один из самых тяжелых дней в моей жизни!.. Но я взял себя в руки. Пространствовав 3—4 дня с утра до вечера по всем улицам столицы и составив себе о ней приблизительное представление, я вместе с тем порешил посвятить себя медицине, перевелся из университета в Медико-хирургическую академию (ныне Военно-медицинскую)*, засел вплотную за... «Историю десяти лет» Луи Влана, приковавшую к себе все мое внимание, а через месяц я закрутился в вихре студенческих кружков, сходок и сборищ.

Медико-хирургическая академия в то время считалась (и действительно была) одним из наиболее образцовых высших учебных заведений. Военное министерство не жалело средств на учебные пособия, непрерывно возрастающие; 2-й военно-сухопутный госпиталь присоединен был к ней еще в 1840 г., в 1846 г. открыт был ее знаменитый анатомический институт, на образцовую же ногу поставлены были ее лаборатории, кабинеты, клиники. Тогда же выдвигался знаменитый клиницист бар. Вилье. В М.-х. академию стремились лучшие научные силы, привлекаемые образцовыми пособиями.

Начальником академии состоял лейб-хирург, заслуженный профессор П. А. Наранович, довольно-таки ветхий старик (ему

* Основанная в 1799 г. для подготовки врачей в военно-сухопутное и морское ведомство и перебивав в ведении министерств внутренних дел и просвещения, М.-х. академия перешла с 1838 г. в ведение военного министерства и с 1881 г. переименована в Военно-медицинскую академию.

было около 67 лет), добродушный и благожелательно настроенный к студентам. Заведывал он академией совместно с конференцией, ученым секретарем которой был тогда еще сравнительно молодой (31—32 лет), но приобретший уже репутацию солидного ученого профессор патологической анатомии Руднев, известный своим авторитетным покровительством высшему образованию женщин.

Состав профессоров академии если и нельзя было назвать особенно блестящим, то все же он был далеко не из посредственных. На кафедре физиологии я застал еще здесь чрезвычайно популярного в то время не только между студентами, но и в широкой публике И. М. Сеченова; на его лекции стекались студенты всех курсов, его аудитория, одна из наиболее обширных, всегда бывала битком набита студентами. Ясное и удивительно отчетливое изложение, простое, безыскусственное и в то же время в высшей степени содержательное и красивое, глубоко научное и в то же время до-нельзя популярное, обаятельно действовало на студентов, неизменно встречавших и провожавших И. М. единопутными, восторженными, долго несмолкаемыми приветствиями.

На кафедре психиатрии подвизался профессор Балинский, плавная, красивая и философская речь которого привлекала также студентов всех курсов. Органическую химию читал известный ученый академик Н. Н. Зинин, умевший самые сложные формулы излагать столь общедоступно и понятно, что они усваивались как бы на ходу; речь его, весьма образная, пересыпанная прибаутками и анекдотами, приводила аудиторию в игривое настроение. Студенты с особым настроением работали под руководством этого «директора химических работ». Неорганическую химию читал Бородин; это был не столько ученый химик, сколько музыкант и талантливый композитор, посвящавший музыке гораздо больше времени, чем химии; лекции его, однако, охотно посещались, и студенты относились к нему вообще очень благожелательно.

Кафедру описательной анатомии занимал Венцеслав Леопольдович Грубер. Этот знаменитый отшельник-ученый дни и ночи проводил в своем прославленном анатомическом институте за препаратами и лишь здесь чувствовал себя в своей родной стихии. В течение почти 45 лет (Грубер прибыл в Петербург в 1847 г.) Грубер пользовался глубоким и всеобщим уважением. Несмотря на то, что он проявлял на экзаменах чрезвычайную строгость, доходившую до педантизма, и что эти экзамены тянулись непрерывно почти целый год, Грубер всегда пользовался общими симпатиями студентов, искренно уважавших в нем первоклассного и бескорыстнейшего ученого, преданного науке до самоотверженности*. Студентов еще больше привлекало к нему (помимо

* Грубер нередко оставался в анатомическом театре, в трупной атмосфере, от 8 часов утра до 3 часов ночи!

его громадной эрудиции) в высшей степени благожелательное отношение его к стремлению русских женщин к высшему образованию. Он чуть ли не первый предоставил русской девушке свою аудиторию и свой ценный институт и сделал ее полноправным членом в своем секционном зале. Хотя высшая администрация официально еще не открывала женщинам доступа в высшие учебные заведения, Грубер грудью, можно сказать, отстаивал за ними право доступа туда и нередко вступал в резкие препирательства с инспекцией при неоднократных ее попытках удалять их из его «владений», заявляя при этом гордо, что в своей аудитории и в своем секционном зале он единственный хозяин и никому не позволит здесь распоряжаться*. Занимавшимся у него женщинам Грубер выдавал свидетельства об окончании ими у него курса практических занятий по анатомии, а свидетельства эти при громадной авторитетности его имени сильно облегчали женщинам прием в заграничные университеты.

На кафедре терапии я нашел пользовавшегося уже тогда, несмотря на молодые еще годы (ему было всего 36 лет), всемирной известностью клинициста Сергея Петровича Боткина, делившего свое время между обязанностями лейб-медика и обязанностями профессора (к немалому ущербу для последних). Патологическую анатомию, как уже упомянуто, читал Руднев, гистологию — Якубович, физику — Хлебников.

На других профессорах останавливаться не буду, — это были второстепенные и третьестепенные научные величины и весьма посредственные профессора. На кафедре зоологии и анатомии доживал свой век старик Брандт, не научившийся за 37 лет** сколько-нибудь сносно читать лекции на русском языке. Он никак не мог помириться с теорией Дарвина: «он гофорит, что человек происходит от обезьяны, — ему нравится, я не хочу, я не от обезьяны»; фразу эту приходилось студентам слушать из его уст неизменно из года в год. Ботанику читал тоже немец — Мерклин, и читал так плохо, что лекции его никто не посещал; хирургию — Сорокин и др.

Отношения между студентами и профессорами в общем были сносные и благожелательные, хотя профессора, за небольшими исключениями, стояли совершенно в стороне от общественной жизни и даже довольно индифферентно (не считая трех-четырех: Сеченова, Грубера, Зинина) относились к судьбе студентов. А между тем реакционное течение, охватившее Россию вообще и Петербург в частности после покушения Каракозова (4 апреля

* Пробы в Петербурге около 45 лет, Грубер оставался австрийским подданным и при всяком конфликте с администрацией грозил отъездом на родину, которая, конечно, всегда приняла бы его обратно с распростертыми объятиями.

** Федор Федорович Брандт переселился в Россию из прусской Саксонии в 1831 г.

1866 г.), добиралось уже и до Медико-хирургической академии; этим течением с каждым днем все более и более вдохновлялась ее инспекция, возглавлявшаяся полковником Смирновым, на долю которого выпала особенно роковая и плачевная роль в жизни академии. Этот заурядный штаб-офицер в простоте души своей полагал, что его священная обязанность сводится к тому, чтобы «подтянуть» студентов, завести между ними строжайшую «дисциплину», подобающую «военно-учебному заведению»...

С октября 1868 года началось сильное брожение в среде петербургской учащейся молодежи. Студенчество начало группироваться по кружкам, все чаще и чаще стало устраивать сходки, на которых на первых порах обсуждались чисто студенческие дела, а затем и вопросы более широкого и глубокого общественного значения.

Правильнее говоря, в петербургском студенчестве, в общем взятом, проявились тогда два течения: одно — «умеренное», другое — «радикальное». На сходках «умеренных» студентов почти исключительно трактовались вопросы студенческой академической жизни; сюда лишь от времени до времени диссонанс вносили студенты «радикалы», являвшиеся на сходки с определенной целью: придать им по возможности более широкий общественный характер. Мне лично на сходках «умеренных» бывать не приходилось, но мне известно, что главными ораторами и, так сказать, лидерами на этих сходках являлись студенты Езерский, Шраг, Литвинов, Байдаковский, Любимов и др. На сходках «радикалов», в которых мне пришлось принять весьма деятельное участие, вопросы студенческой жизни, в тесном смысле слова, выдвигались лишь как ширма и прикрытия для большинства «свеженьких» студентов, не ознакомившихся еще с более широкими течениями и задачами нашей общественной жизни. На этих сходках в роли вожakov (если память мне не изменяет) выступали студенты Земфир Ралли, Евл. Аметистов, Коринфский, Енишерлов, Покровские, В. Орлов, Лихутин и др. За кулисами же, по упорно державшейся молве, это течение, как и вообще все студенческое движение, направлялось 22-летним народным учителем С. Г. Нечаевым, слушателем университета, лично появившимся лишь на менее многочисленных и более интимных собраниях.

На этих-то сходках, непрерывно следовавших одна за другой, мне уже в то время впервые пришлось наткнуться на популярный и почти всеобщий лозунг: «в н а р о д!»*. Этот лозунг сделался обязательным предметом весьма горячих и упорных споров:

* Стремление русского студенчества делиться своими знаниями с народом проявлялось и значительно раньше. Например, первые воскресные школы основаны были студентами Киевского университета; студенты же явились инициаторами-организаторами неформальных народных школ и первыми учителями и в других университетских городах².

вопрос ставился в резко-категорической и крайне односторонней форме: «наука или труд?», т. е. следует ли отдавать себя (хотя и временно) науке, заниматься ею, добиваться дипломов, чтобы потом вести жизнь привилегированных интеллигентных профессионалистов, или же, помня свой долг перед народом, помня, что мы все свои знания приобретаем на средства каторжно работающего и вечно голодающего народа, мы, учащиеся, обязаны поступиться своим привилегированным положением, добытым целыми веками несправедливости и эксплуатации, обязаны бросить науку, расстаться с высшими учебными заведениями, заняться изучением ремесел, а затем в качестве простых ремесленников и даже чернорабочих и батраков отправиться в самую гущу народную, слиться с народом и всем его повседневным обиходом, отказаться от всех интеллигентных навыков и привычек, зажить с ним одной общей жизнью, содействуя всеми способами поднятию его умственного уровня, возвышению его культуры и улучшению его материального и духовного благосостояния...

На многочисленных сходках, на которые собиралось по несколько сот человек, и в особенности на сходках «умеренных», старались держаться по возможности исключительно студенческих вопросов и студенческих дел: здесь трактовалось о необходимости всячески добиваться права на учреждение студенческих касс, студенческих библиотек, студенческих кухмистерских и т. п. На сходках «радикалов» чисто студенческие интересы отодвигались на задний план, на первый же план выдвигалась агитация в пользу обязательности работы в народе и с народом. Здесь вопрос: «наука или труд?», после продолжительных и горячих обсуждений, ставился даже на баллотировку, и, увы, в громаднейшем большинстве случаев громаднейшее большинство присутствовавших высказывалось за «труд» и против «науки», конечно, в пределах данной минуты и данных отношений. Это было очень незрело, очень узко, но... но все же какие это были, боже мой, святые минуты, какой энтузиазм охватывал обыкновенно при этом всех участников сходки! Глаза горели юношеским огнем; речи лились страстные, вдохновенные, искренние, убежденные; спорили в душевной, тесной комнате, переполненной клубами табачного дыма, спорили до хрипоты, до потери сознания... Святая, трижды благословенная, безвозвратная чудная юность!..

И я обязан заметить, что уже и в это раннее время лозунг «в народ» не оставался на одной исключительно теоретической почве: несколько студентов (и в их числе, насколько припоминаю, один или два из 4-го курса университета) бросили учебные заведения и, проработав несколько месяцев в разных мастерских, разбрелись из Петербурга по глухим углам беспредельной деревенской России с страстным желанием послужить своей родине и своему народу, растопившись и растворившись в его многомиллионной массе.

В то время (во 2-й половине 60-х годов) отчетливо выдвинут был уже на сцену русской жизни так называемый «женский вопрос». Русские девушки страстно стали добиваться общечеловеческих прав; они пустили в ход все средства, чтобы получить доступ в высшие учебные заведения, хотя администрация всячески этому препятствовала. Некоторые (Суслова, Козлова и др.) находились уже в заграничных университетах, некоторые (хотя и очень немногие) посещали лекции профессоров Медицинской академии: Грубера, Бородина, Зинина, Хлебникова; одна, Кашеварова (по мужу Руднева), благодаря исключительным условиям, даже официально принята была в М.-х. академию и уже тогда оканчивала курс³. А так как большинство этих девушек отнюдь не меньше своих товарищей студентов интересовались окружающей жизнью, то естественно, что и на студенческих сходках (и преимущественно на сходках «радикалов») появлялись тогда и девушки, принимавшие в них весьма живое участие (припоминаются мне Деметьева, Томилова, Святская, сестра Нечаева, Боршева и др.).

Словом, петербургское студенчество переживало тогда крайне напряженно-нервное состояние; оно волновалось, кипело, горело. Сходка следовала за сходкой. Выпадали дни, в течение которых мне приходилось бывать на двух-трех сходках, созывавшихся в разных частях города — на Петербургской стороне, на Васильевском острове, в Измайловском полку.

И малейшего повода достаточно было, чтобы вызвать столкновения с гибельными последствиями.

В Медико-хирургической академии повода для волнений на почве чисто студенческих требований, формулировавшихся тогда на сходках, собственно говоря, не существовало. Академия находилась в этом отношении в исключительном положении: я застал здесь и студенческую кассу, и студенческую библиотеку, и студенческую кухмистерскую; были здесь и курсовые старосты, принимавшие участие в распределении пособий*. Таким образом, при естественном ходе вещей для специально «студенческой истории» здесь оснований было меньше, чем где бы то ни было, и при известных условиях студенты-медики могли бы разве ограничиться (как в 1861 г.) выражением сочувствия университетским товарищам. Вышло же, однако, как раз наоборот...

Такие господа, как штаб-офицер Смирнов и ему подобные, стояли совершенно в стороне от студенческого мира, оставаясь для них terra incognita. Они ничего не видели, ничего не знали, ни с чем не считались; они как будто бы и не подозревали того лихорадочно напряженного и нервного настроения, в каком находилось студенчество. И вот в 1869 году первый акт «студенческой истории» разыгрался именно в Медико-хирургической

* Университетский устав 18 июня 1863 г. запретил (§ 59) студентам университета все эти учреждения.

академии, и уже отсюда «история» распространилась дальше, перенеслась в университет, в Технологический институт, в Лесную академию, а затем и в Москву, и в провинциальные учебные заведения.

Очевидец и деятельный участник в разгоравшихся в Медико-хирургической академии «беспорядках», я остановлюсь лишь на последних, ограничиваясь лишь некоторыми замечаниями относительно других учебных заведений.

3

Инспектор Смирнов, сменивший в 1868 году Мерхелевича, с первого же момента своего вступления в должность стал во враждебные отношения к студентам. Он полагал, что раз академия военная, то обязательна в ней воинская дисциплина, и таковая должна проводиться им последовательно, строго, без всяких послаблений. Так как, в придачу, он не отличался особенным тактом, то отношения его к студентам, с которыми он ни умственно, ни духовно никаких точек соприкосновения не имел, сразу же обострились. Для этого штаб-офицера не существовало различия между существенным и второстепенным, в пределах его кумира, «дисциплины», все было одинаково важно. Им с одинаковым рвением преследовалось непонимание студенческой формы, несвоевременный взнос платы за слушание лекций, длинные волосы, курение папирос, непоттительное обращение с начальством и т. п.

При таких условиях ничего нет удивительного в том, что папириска явилась каплей, переполнившей чашу.

В один злосчастный день до-нельзя нервный юноша, студент 2-го курса Василевский, во время перерыва между двумя какими-то лекциями, чем-то взволнованный, широко шагал по коридору в форменной фуражке на голове и с дымящейся папирской в зубах. Уязвленный до глубины души подобным нарушением субординации, к нему навстречу двинулся инспектор Смирнов. Василевский, совершенно игнорируя его (возможно даже, что он его и не заметил), прошел мимо него, не снимая пашки и не выпуская изо рта папироски. Бравый штаб-офицер усмотрел в этом поступке неслыханное преступление и приказал Василевскому бросить папироску. Студент того времени подобного приказа не исполнил, разумеется, не мог. Смирнов обратился с жалобой в конференцию, и это сонмище ученых мужей, ничтоже сумняшеся, исключило Василевского из академии! Естественно, что товарищи студенты не могли не реагировать на этот вопиющий факт, и последовало то, чего а priori можно было ожидать: начались бурные сходки, студенты потребовали возвращения в академию Василевского, поднялись протесты против Смирнова. Начальство всполошилось и вступило в переговоры со студентами; оно обещало не немедленно (престиж пострадает!), а через самое короткое время

разрешить Василевскому вновь вступить в академию. Студенты нашли возможным успокоиться на этом, и «история» как будто бы улеглась. Но вот в начале марта 1869 года разыгрался конфликт между студентом Надуткиным и конференцией. Сдав экзамен на 2-й курс, Надуткин, по принятому обычаю, передал экзаменационный лист конференц-секретарю профессору Рудневу и на этом совершенно успокоился. Вдруг в начале марта заявляют Надуткину, что он не имеет права посещать лекции 2-го курса, так как он-де не держал экзаменов. Надуткин обращается тогда к Рудневу с просьбой возвратить переданный им ему экзаменационный лист для предъявления его инспекции. Руднев же, повидимому, лист затерял, произошло крупное объяснение между ним и Надуткиным, Руднев наговорил последнему кучу дерзостей. Вспыливший Надуткин подал в конференцию прошение об увольнении его из академии в виду нанесенных ему конференц-секретарем оскорблений. Вместо того, чтобы серьезно вникнуть в это прискорбное дело и постараться как-нибудь уладить конфликт, совет академии с легким сердцем уволил Надуткина, которому крайне тяжелым трудом приходилось добывать себе возможность заниматься в академии. Этому пермяку немало труда стоило, чтобы закончить гимназию и добраться до академии. В Петербурге ему приходилось существовать грошевыми уроками, ночной корректурой и другим тяжелым трудом, поглощавшим почти все его время, так что ему пришлось пробыть на первом курсе два года. Легко понять, какое значение для него имела потеря экзаменационного листа, и как глубоко должно было быть нанесенное ему оскорбление, если он решился уйти из академии! Естественно, что и на этот раз товарищи студенты не могли отнестись индифферентно к подобному отношению совета академии к студенту. Вновь пошли сходка за сходкой, а так как начальство под шумок забыло и об обещании своем относительно Василевского, который еще оставался вне академии, то студентами предъявлено было ультимативное требование о безотлагательном обратном приеме в академию и Надуткина и Василевского.

На первых порах в этой «истории» приняло участие почти поголовно все студенчество всех курсов Медико-хирургической академии*.

Насколько припоминаю, на одной из первых сходок, происходившей (если память мне не изменяет) в физиологической аудитории, собралось свыше 1.500 человек (из общего числа, кажется, около 2.000 студентов): Когда же началась борь-

* На эти сходки в М.-х. академию являлись и студенты других высших учебных заведений. Особенно бросалась в глаза крупная фигура студента Лесной академии В. И. Ковалевского (впоследствии известного государственного деятеля)⁴, неизменно являвшегося в нашу академию на все сходки в нахлобученной высокой смушковой шапке и с неизменной громадной дубиной в руках...

ба и стали запира́ть перед нами аудитории, так что приходилось забира́ться туда силой, число участников постепенно и довольно заметно стало сокращаться; наконец, на последней сходке, на которой мне пришлось еще присутствовать и которая состоялась 13 марта в помещении буфета академии, участвовало уже всего около 200 человек! Эта сходка отрядила к инспектору Смирнову депутацию с требованием явиться для объяснения со студентами, но Смирнов какими-то окольными путями без шинели и шапки сбежал в другое здание, в клинику профессора Боткина, и ни за что не соглашался явиться на сходку. Студенты осадили клинику и заявили, что не разойдутся до тех пор, пока не выйдет к ним Смирнов. Прошло несколько часов, бурные речи лились одна за другой, надвигались уже сумерки. Мы стали было уже располагаться на почевку. Но вот появился проф. Боткин и заявил студентам, что Смирнов-де его «гость» и он, профессор, надеется, что студенты дадут ему возможность выполнить долг гостеприимства и проводить Смирнова из клиники домой. Как ни разгорячены и раздражены были участники сходки, но они не отказали слишком еще популярному Боткину в его просьбе, хотя немало при этом отпущено было колкостей по адресу и Смирнова и Боткина... Сходка решила разойтись, составив письменный протест против поведения конференции и инспектора и обязавшись письменно не допускать чтения лекций и продолжать непрерывные сходки в стенах академии до тех пор, пока не будут удовлетворены требования студентов. Сходка эта тянулась с 9 ч. утра почти до 8 ч. вечера. Наконец, голодные и измученные, мы разошлись с тем, чтобы вновь сюда же собраться на другой день. Но, увы, немногим уже из бывших на этой сходке пришлось собраться на другой день в академию.

4

Живо и отчетливо воскресает в моей памяти следующая сцена. Совершенно обессиленный и усталый до изнеможения, я спал глубоким сном в ночь с 13 на 14 марта 1869 года. Вдруг около 2 часов ночи раздаются усиленные стуки в дверь комнаты, которую я занимал совместно с товарищем, технологом (давно уже покойным) Л. Е. Городецким. Мы оба вскочили, предчувствуя смысл этого стука. Я отворил дверь, в комнату вошел местный околоточный с двумя городскими обер-полицеймейстера Трепова о моем аресте. Я наскоро собрал свои пожитки, распрощался с товарищем и отправился с своими провожатыми. Путь предстоял нам довольно длинный, так как нужно было добраться до Выборгской стороны, где находилась тогда, на Симбирской улице, «срочная тюрьма». Наконец, подъезжаем к громадному роковому зданию, железные ворота гостеприимно раскрываются перед нами и затем с лязгом за нами запираются, и я в первый (но,

увы, далеко не в последний!) раз в свою жизнь очутился за тюремной оградой...

Меня ввели в какую-то небольшую камеру, куда принесены были и мои вещи. Засов задвинули, замок щелкнул, и я, девятнадцатилетний юноша (как раз в этот памятный для меня день мне минуло 19 лет!), впервые столкнулся с суровой русской действительностью, которая с тех пор ни на минуту уже не выпускала меня из своих цепких когтей...

В течение всей ночи в эту тюрьму свозили участников нашей последней сходки. Когда на другой день нас выпустили на общую прогулку, то оказалось, что здесь нас очутилось несколько десятков человек (кажется, около 40), из коих некоторые совершенно никакого участия в «истории» не принимали и всячески руками и ногами от нас открепивались, оберегая свою шкуру. От явившихся к нам в течение дня посетителей мы узнали, что в этот день (14 марта) уволен был президент академии Наранович и на его место назначен был член Медицинского совета профессор Козлов. Всем студентам разосланы были через полицию (с отображением подписок) извещения о прекращении в академии лекций. 15 марта, однако, вновь (и, кажется, в последний раз) возле академии на улице (ворота академии были со всех сторон наглухо заперты) собралась сходка человек в 200, которая весьма скоро была разогнана явившейся полицией во главе с самим Треповым.

Само собой разумеется, что, по заведенному раз навсегда порядку, за «преступлением» должно было последовать «наказание». По высочайшему повелению наряжена была военно-следственная комиссия под председательством нового президента академии Козлова в составе членов: профессоров Зинина, Чистовича и Юнге, двух флигель-адъютантов и изящного петербургского полицеймейстера Сверчкова; уже самый состав комиссии в значительной степени предрешал дело. Если можно было рассчитывать на сколько-нибудь разумно снисходительное отношение к «провинившимся» студентам, то разве со стороны одного Зинина и отчасти Юнге, остальные же все преисполнены были гневом против «непослушания» и «своеволия» молодежи и сознанием необходимости крутого отпора и «спасительного урока».

Нас утешали, что следствие долго не затянется, что комиссия будет-де до последней степени гуманна, что ее приговор (ей поручено было не только произвести следствие, но и постановить приговор, подлежащий лишь утверждению!) будет-де справедливый и очень снисходительный...

5

Тем временем мы продолжали благоденствовать в тюрьме. Содержали нас здесь довольно льготно. На другой же день удостоил нас своим посещением тогдашний начальник секретного отделения действительный статский советник Колышкин, ко-

торый, по поручению Трепова, приказал удовлетворять все наши требования, поскольку они не противоречат общетюремному режиму: давать нам улучшенную пищу, отпускать табак и папиросы (даже сигары!), не стеснять никого с прогулкой, а главное, не жалеть... персидского порошка: «сыпать, сыпать, сыпать!» — патетически и с отеческой заботливостью приказал он смотрителю, узнав, что в постелях наших оказалось обилие всевозможных паразитов. Посещали нас совершенно свободно. Нам «с воли» доставляли всевозможную пищу, дамы носили нам лакомства, конфеты и букеты цветов. Посещали нас не только товарищи и благожелатели, но и некоторые дамы-патронессы. Особенно часто, чуть ли не ежедневно, посещал нас еще очень молодой тогда профессор богословия священник Горчаков, который всем нам подарил по экземпляру своей диссертации; он держал себя с нами при своих посещениях с большим тактом, отнюдь не касаясь «божественного», утешал нас и старался развлекать нас беседами на различные общественные темы.

В числе арестованных товарищей был, между прочим, и студент старших курсов академии Ок...в. Так как он давал уроки детям Трепова, то его с утра выпускали «на волю»; он расхаживал свободно по городу, давал уроки, а к вечеру на ночлег возвращался к нам в тюрьму с запасом всевозможных газет и устных новостей. Благодаря его сообщениям и газетам, а также рассказам посетителей, мы знали, что «беспорядки» охватили все высшие учебные заведения. С особенной силой они проявились в университете. На другой день после закрытия нашей академии в сборной комнате студентов появилось воззвание, приглашавшее от имени студентов Медико-хирургической академии к участию в общестуденческом деле. Пошли собрания, на которых предъявлены были требования о праве сходок, открытия студенческой кухни-стерской, студенческой библиотеки, особой студенческой кассы, участия студенческих выборных курсовых депутатов в распределении стипендий и пособий, об уничтожении стеснительной и оскорбительной для студентов полицейской опеки университетского начальства. Профессора университета напечатали в «С.-Петербургских Ведомостях» обращение к студентам, в котором доказывали, что «сходки, так же, как и просьба о дозволении их, противозаконны», что добивающиеся их «ведут часть своих товарищей к исключению, увольнению» и пр., что виновники беспорядков дают «лишний повод к упреку молодости и прогрессу, знанию и свету», доставляют «торжество невежеству и обратному движению»; они убеждали студентов остановиться, заняться наукой и содействовать «спокойному, но верному движению русского народа вперед»⁵. Мы узнали, что петербургское студенчество разослало своих депутатов по всем другим университетам с целью организации общего студенческого движения. Из доставленного нам Ок... м номера газеты «Весть» мы по перепечатанной в нем циркулировавшей в публике про-

кламации («К обществу»), составленной писателем Ткачевым и напечатанной в типографии Дементьевой, узнали, что студенты всех высших учебных заведений твердо решили протест свой довести до конца⁶, узнали мы и о циркулировавших всевозможных версиях. Я теперь еще живо помню, каким гомерическим хохотом сопровождалось чтение статьи доставленного нам (к сожалению, не сохранившегося) номера «Моск. Ведом.» по поводу беспорядков⁷. Гневно обрушившись на «беспорядки» в Технологическом институте, орган Каткова категорически утверждал, что они, как и вообще все студенческое движение, не что иное, как плод «польской интриги»: «правда, — восклицал грозный обвинитель, — между арестованными участниками в беспорядках не оказалось ни одного поляка, но это лишь доказывает все коварство и всю зловредность этих господ, — они замутят, набезобразничают, других подведут, а сами остаются в стороне: коварная иезуитская нация!!!»

Возвращаясь к академии. Если память мне не изменяет, то уже через неделю нас стали водить из тюрьмы группами на допросы, которые производились письменно. Каждому из нас подавался лист с заранее написанными на нем вопросами, и мы должны были на том же листе, тут же в присутствии комиссии, параллельно с вопросами писать соответствующие ответы. Кроме обычных вопросов об имени, отчестве, фамилии, звании, предлагались вопросы об участии в беспорядках и о зачинщиках таковых, о лицах, приглашавших на сходку, о лицах, участвовавших на сходках, о зачинщиках и подстрекателях и т. д. Большинство из нас отвечало, кажется, в таком же духе, как и я: зачинщиков и подстрекателей у нас никаких не было, никто специально на сходки не приглашал, что если и можно считать кого-либо зачинщиком и инициатором сходок, то разве инспектора Смирнова, который держал себя вызывающе по отношению к студентам и позволял себе оскорбительное с ними обращение.

Еще до окончания следствия (чуть ли не до начала его) в саванных сферах Петербурга и в профессорских кругах шли уже толки об участии, ожидавшей арестованных студентов-медиков. Постановленный военным следственным комиссией приговор совпал почти с этими толками, из чего можно было заключить, что кем-то уже заблаговременно, по указаниям инспекции, постановлено было решение*. Все привлеченные к следствию, кроме оправданных и немедленно освобожденных, разделены были на четыре категории: отнесенные к первой категории (кажется, 6 человек), в том числе и я, исключены были из академии навсегда без права поступления в какие бы то ни было высшие учебные заведения; отнесенные ко второй категории уволены были с пра-

* При встрече с моим однофамильцем (проф. Чудновским)⁸ профессор И. М. Сеченов предупредил его (еще накануне моего ареста), что, кажется, его брат будет исключен из академии.

вом поступления по прошествии года в другие высшие учебные заведения; попавшие же в третью категорию уволены из академии с правом тотчас же поступить в другие высш. уч. заведения, и, наконец, отнесенные к четвертой категории⁹ присуждены были к семинедельному тюремному заключению*.

6

Зазеленела чахлая петербургская травка во двореке нашей тюрьмы, в Петербурге настала весна.

В одну светлую, сравнительно теплую ночь в первой половине апреля¹⁰ в тюрьме нашей поднялась тревога: раздавались учащенные звонки, топот ног, слышались необычные в ночное время разговоры. Тюремная администрация принялась вызывать нас по категориям отдельными группами; объявляли (уже заранее нам известный) приговор военно-следственной комиссии и предлагали нам собирать свои вещи и готовиться к оставлению тюрьмы, тщательно умалчивая о дальнейшем, о котором, впрочем, мы все догадывались в виду усиленно циркулировавших в последние дни слухов.

Прибыла в тюрьму стража, и нас всех под конвоем разослали по участкам, а оттуда уже на другой день ранним утром нас доставили на вокзал. Академическое начальство нашло вполне совместимым со своим достоинством, по исключении и увольнении нас из академии, препроводить наши документы к обер-полицеймейстеру Трепову, который, в свою очередь, признал себя вполне компетентным выдворить нас из Петербурга и разослать «на родину» под надзор полиции и наблюдение родителей**...

На вокзале нас ждала большая группа студентов и сочувствовавших нам барынь и барышень. Они лишь накануне поздно вечером узнали о назначенной высылке из Петербурга, тем не менее они успели собрать деньги, приобрести кое-какие для нас вещи и провизию. Трогательно и чисто по-братски распрощавшись с нами, они вручили каждому соответствующую сумму денег, нужные вещи и напутствовали нас в путь теплыми пожеланиями и пылкими надеждами на лучшее будущее...

* Насколько помнится, всего было исключено и уволено из академии около 23 человек, а человек 12 присуждено было к краткосрочному аресту. Чувствительнее пострадали студенты университета: там было исключено и уволено 38 человек, к краткосрочному аресту присуждено было 10 человек, да выговор сделан 16 студентам. Студенческие «беспорядки» 1861 года имели гораздо более трагический финал: тогда исключены были сотни студентов, из которых многие сосланы были в северные губернии.

** Рассылка «на родину» производилась по документам. Один, например, родился в Красноярске (Вост. Сибири), но ему еще и года не было, когда родители переселились в Европ. Россию, — тем не менее решили препроводить его на родину — в Красноярск! Таких курьезов было несколько.

Нас несколько человек южан в сопровождении городских отправили по Николаевской железной дороге на Москву, где нам пришлось прождать несколько часов поезда на Киев. Так как один из сопровождавших нас городских в дороге уверял меня, что он «сам из гимназистов», что одна лишь нужда заставила его выйти из 5-го класса гимназии и поступить в городские и что он даже «либерал», то я предложил ему съездить со мной в ожидании поезда в город к студенту Московского университета Д. Енкуватову¹¹, товарищу моему по Херсонской гимназии.

«Либеральный» городской без возражений согласился, и мы на лихаче помчались с ним в город. По дороге какой-то встречный с удивительно знакомым мне лицом, хотя и сильно измененным, отвесил мне несколько очень низких поклонов.

Получив в университете адрес Енкуватова, я отправился к нему и застал на его квартире (он жил с родителями) целую студенческую сходку. Передав ему вкратце о последних событиях в петербургских высших учебных заведениях (отчасти ему уже известных), я в сопровождении Енкуватова (городовой следовал за нами на отдельном извозчике) помчался обратно на вокзал, куда и прибыл за $\frac{1}{4}$ часа до отхода поезда. Здесь поджидал меня и тот, кто встретил меня на улице с низкими поклонами: это был тот самый студент Лесной академии Ковалевский, о котором мною упомянуто было выше. Он явился в Москву как депутат от петербургского студенчества для привлечения к общему движению московского студенчества. Познакомив его с Енкуватовым, я направился к поезду, который умчал нашу группу на юг.

В Киев мы прибыли поздно вечером. Заехав в гостиницу и сложив там свои вещи, мы, согласно инструкции, отправились в сопровождении городских пешком к тогдашнему киевскому губернатору Катакази. Последний принял нас утонченно любезно, предложил нам чай и попросил отужинать у него. Во время чая явился (как будто невзначай) митрополит, благословивший нас на ходу, направляясь в другую половину, а вслед за ним явился тогдашний попечитель Киевского учебного округа генерал Антонович, который очень сердечно поздоровался с нами, искренно поскорбел о том, что «молодежь сама себя губит», и очень просил нас «не входить в сношения с местными студентами, так как и здесь волнуются». Тут только нам ясно стало, почему нам оказано было такое предупредительное и такое продолжительное (до глубокой ночи) гостеприимство у губернатора. Догадка наша вполне подтвердилась после ужина: обер-полицеймейстер с изысканной любезностью заявил нам, что, желая предоставить нам возможность хорошо отдохнуть после утомительного пути, он устроил так, что один из нас будет почевать у генерал-губернатора, другой — у губернатора, а третий — у него. Мы поблагодарили за любезность, наотрез отказались восполь-

зоваться ею и заявили со своей стороны, что, если местные власти хотят действительно доставить нам возможность отдохнуть, пусть разрешат нам (ведь мы же под конвоем!) переночевать в гостинице, в которую мы заехали; в противном случае пусть ночью же отправляют нас дальше*. Переговорив с губернатором, обер-полицеймейстер торжественно объявил нам, что он уладил дело, что мы переночуем в гостинице, но мы должны дать слово не вступать ночью в переговоры с местными студентами. Несмотря на весь комизм этого требования, мы дали слово и поздно ночью (кажется, после 11 часов) отправились каждый в отдельной крытой карете с провожатым. Когда мы зашли в занятый нами в гостинице номер, мы нашли там местного пристава, который немедленно запер за нами дверь, положил в свой карман ключ и разлегся на кушетке спать (ногами упираясь в дверь), любезно предложив и нам ложиться, причем, впрочем, не требовал от нас слова не входить ночью в переговоры с местными студентами**. На другой день рано утром подкатили к гостинице почтовые тройки, и мы двинулись в дальнейший путь.

Через несколько дней я с земляком своим Карвацким был уже «на родине» — в Херсоне...

7

На этом повествование мое о «студенческой истории», собственно говоря, заканчивается. Оно составляет, так сказать, вступление к моей сознательной жизни, бесчисленные перипетии которой составят предмет дальнейших глав. Но теперь, в заключение настоящего очерка, не могу не указать на следующее.

Нечаев в этой «студенческой истории», бесспорно, принимал весьма активное участие; мне припоминается даже его присутствие на одной из сходов в одной из аудиторий Медико-хирургической академии, на которой он, со свойственной ему резкостью и неразборчивостью в выражениях, полемизировал с весьма популярным в то время между студентами-медиками студентом 4-го курса Литвиновым, настойчиво советовавшим товарищам не

* Из Киева на Одессу тогда еще железнодорожного сообщения не существовало.

** Уже через некоторое время мне пришлось в Херсоне прочесть в «Одесском Вестнике» (в № 73 от 3 апреля за 1869 г.)¹² следующее. «В газете «Киевлянин» пишут по поводу недавних печальных явлений в среде петербургской учащейся молодежи. Говорят, что со стороны виновников беспорядков сделан был п р и з ы в к студентам университета Св. Владимира принять участие в противозаконном заявлении. Но призыв этот не нашел отклика в киевских студентах, за исключением весьма немногих отдельных личностей, которых попытки к соглашению не могли проявиться под влиянием общего несочувствия и заранее принятых мер. Не знаем, насколько верны эти слухи, но можем заявить, что в редакцию «Киевлянина» прислана из среды студентов статья, порицающая незаконность и неправильность действий увлекающихся господ, которые только портят дело о помощи бедным своим товарищам».

сходить с строго академической почвы. Но не Сергей Геннадиевич Нечаев, разумеется, был причиной этих «беспорядков», не он их вызвал. Причина коренилась во всем тогдашнем ненормальном строе нашей жизни, вызывавшем всеобщее негодование и возмущение. В публике, тем не менее, держалось в то время настойчиво мнение, что Нечаев был главным «подстрекателем» этих «беспорядков», что он-де создал их в видах чисто политических. Мнение это нашло себе наиболее яркое выражение в «Московских Ведомостях». В одном из мартовских номеров этих «Ведомостей» (за 1869 г.¹³), между прочим, писали: «Молодые люди, замешанные в университетских беспорядках, были привлечены к суду; некоторые из них испортили свое будущее. Посреди этой суматохи слишком заметно высказал свое усердие один, как сказывают, весьма заслуженный нигилист, человек далеко не первой молодости, еще лет за шесть, за семь пред сим служивший учителем в уездном или ином училище, некто Нечаев. Верно то, что этот поджигатель молодежи, высказывавшийся уже слишком заметно, был арестован. Но он не погиб и ничего не потерял. Он ухитрился бежать из-под стражи, чуть ли не из Петропавловской крепости. Он не только убежал за границу, но успел *chemin faisant* сочинить прокламацию к студентам, напечатать ее весьма красиво за границей и послать целый тук экземпляров оной по почте, конечно, не с тем, чтобы она разошлась между студентами: на это он, как человек неглупый, что доказывает самый побег его, не мог рассчитывать, да это, по всему вероятно, ему не было и нужно. Цель его или его патронов была, вероятно, достигнута тем, что прокламация была перехвачена и прочтена в высших правительственных сферах. Что же пишет этот молодец? Он убеждает студентов крепко держаться, но не полагаться на баричей в своей среде. Это-де консервативные элементы, на которые дело революции рассчитывать не может. Иное дело народ, крестьяне, рабочие: тут-де для революции большая пожива, и пусть-де студенты обратятся к рабочим и готовят их к революции».

Мне прокламацию эту не приходилось читать, но, насколько мне известно, таковая действительно существовала. В прокламации этой сказалось отчасти мирозерцание этого исторического лица. Долг истины повелевает мне отметить, что спустя некоторое время после «студенческой истории» мне пришлось слышать от людей осведомленных и заслуживающих доверия, что пущенный самим Нечаевым слух о его побеге из Петропавловской крепости, в которой он спустя несколько лет был действительно замурован и замучен, был неверен и что он даже и арестован не был. Распространение этого слуха обусловлено было искренним убеждением Нечаева в том, что ему необходимо создать для себя определенный престиж ради большей продуктивности его будущей революционной деятельности.

ГЛАВА II

1

Весною 1869 года меня привезли «на родину» — в г. Херсон, как «поднадзорного»¹⁴.

Херсонским полицеймейстером был в то время артиллерии полковник Гриневич. Это был предобродушнейший «полковник», простоватый и довольно ограниченный человек, очутившийся во главе полиции только потому, что незадолго перед этим херсонским губернатором назначен был бывший правитель канцелярии новороссийского генерал-губернатора Коцебу, артиллерии генерал-майор Старынкевич; последний был прежде всего математик и человек книги, а потом уже администратор, и ему очень хотелось на месте полицеймейстера иметь также прежде всего «не. полицейского», а доброго малого — артиллериста, какового он и обрел в лице своего бывшего товарища Гриневича.

Я и товарищ мой Карвацкий, как «политические поднадзорные», составляли предмет всеобщего опасения и сугубого внимания в Херсоне. Таких «преступников» местная полиция давно уже не имела в своем ведении; она далеко не рада была нашему появлению, тем более, что ей приходилось собственным творчеством создать наиболее удобную форму надзора за нами. Изобретательность далеко не творческого ума Гриневича не шла дальше того, что он предложил нам являться к нему ежедневно с визитом в полицейское управление в 12 часов пополудни, причем внимание наше обращено было на последствия неподчинения «законным распоряжениям» полиции. Дней пять мы распоряжение это, скрепя сердце, исполняли: я являлся ровно в 12 часов в «присутствие» полицейского управления, здоровался. Гриневич ставил мне вопрос: «Как ваше здоровье?» И моим неизменным ответом: «спасибо, здоров!» — визит заканчивался. Естественно, что уже на 6-й день терпения нашего для проделывания подобной процедуры дальше нехватило, — я прекратил свои посещения «присутствия», Гриневич к «последствиям» не прибег, а счел нужным немного, так сказать, понизить нас в ранге, сдав нас уже под ближайший надзор частного пристава, который «убедительно» просил нас «запросто» посещать его раз в неделю (кажется, по пятницам), чтоб «за чайком» покалякать о том, о

сем. Так как частный пристав оказался большим любителем «политики» и пятничные беседы посвящал почти исключительно «политике», припоминая неизменно разные эпизоды из времен своей службы в Польше в период последнего восстания, причем он старательно подчеркивал свою дружбу и интимность с повстанцами, то и эти «пятницы» были очень недолговечны; через 3—4 недели мы забастовали, и тогда полиция на «гласный надзор» махнула рукой и заменила его «негласным», который в те «дополитические» времена (если позволено будет так выразиться) был (по крайней мере, в Херсоне) очень незамысловат и довольно таки наивен. Неоднократно прислуга-девушка конфиденциально сообщала мне, что ухаживающий за ней жандармский унтер-офицер «очень интересуется» книгами, которые лежат у меня на столе, письмами, если таковые остаются на столе, и т. п. Раз два-три я наталкивался на субъектов, явившихся под разными предложениями к хозяйке квартиры, у которой я нанимал комнату, расспрашивая ее о моем образе жизни, занятиях, знакомствах и т. д.; амплуа этих субъектов часто предательски выдавали (несмотря на переодевание) то форменные брюки, то казенные сапоги. «Надзор» за нами был поистине первобытный, и теперь трудно даже представить себе, какую громадную эволюцию за эти неполные 40 лет проделали и надзирающие и надзируемые, — «прогресс» по этой части оказался необычайным...

2

Для моего старика-отца не было на свете ничего страшнее «полиции»; он боялся «городовых» (о квартальных надзирателях я уже не говорю) пуще огня и обходил их за целые кварталы. Понимая, что при моем «поднадзорном» положении посещения полиции неизбежны, я, не желая причинять старику лишних огорчений, нанял себе отдельную комнату. Последнюю нужно было, конечно, оплачивать, пользоваться же для этого «средствами» отца, обстоятельства которого были очень плохи, я не находил возможным, — необходимо было, стало быть, позаботиться о каком-либо источнике для своего пропитания и содержания.

И ныне * Херсон не может еще похвалиться ни торговой, ни промышленной своей жизнью, а 37 лет назад он был совершенно мертвым в этом отношении городом, так что ни о каких «конторских» занятиях, как и вообще о «письменных» работах нам и мечтать нельзя было; единственно возможным и подходящим занятием для «бывших студентов» были «уроки», которые нам и удалось раздобыть. Но тут мы сталкивались с весьма серьезной преградой: преподавание «поднадзорным» строго воспрещалось «существующими циркулярами»; учебная же администрация, до мозга костей пропитанная тенденциями режима графа Дмитрия Андреевича Толстого и по части «нюха» и «сыска» в сфере «бла-

* Т. е. до революции. Р е д.

гонадежности» далеко оставлявшая за собой общую полицию, очень скоро довела до сведения последней о страшной опасности, которая грозит отечеству от нашего преподавания. Бедный Гриневиц совсем растерялся. Ему, человеку по натуре добродушному, тяжело было прибегнуть к «крутым мерам», да к тому же он простым умом своим никак не мог постичь, чем могло бы быть опасным для отечества преподавание Чудновским арифметики или латыни. Поэтому он ограничился лишь намеками и «добрыми советами» быть осторожным, так чтоб «не было разговоров» о нашей преподавательской деятельности.

Учебная администрация, однако, не дремала, — она довела о «преступной» моей деятельности до сведения губернатора Старынкевича. Человек для своего времени очень образованный и просвещенный, а по характеру своему добрый и гуманный, генерал Старынкевич по собственной инициативе (даже без ведома моего) обратился к генерал-губернатору Коцебу с ходатайством о разрешении мне заниматься преподаванием. Слишком далекий от гуманно-просвещенных взглядов на вещи и, очевидно, инсигнируемый надлежащим образом тогдашним попечителем Одесского округа (ставленником гр. Д. А. Толстого) Голубцовым, Коцебу в резкой и далеко не деликатной форме отклонил ходатайство Старынкевича. Пригласив меня к себе, последний сообщил мне в присутствии полковника Гриневица о возбужденном им за меня ходатайстве и об отклонении этого ходатайства, выразив крайнее свое сожаление по этому поводу. Гриневиц обратился после этого к Старынкевичу с заявлением, что вот-де, ваше превосходительство, мне известно, что г. Чудновский дает уроки, — как мне в этом случае быть? Сурово взглянув на Гриневица, Старынкевич ответил: «Вы понимаете, полковник, что после объявленного мною в вашем присутствии г. Чудновскому ответа генерал-губернатора я не могу разрешить ему давать уроки», а затем, повернувшись и медленно удаляясь из приемной в свой кабинет, он добавил на ходу тихо, внушительно отчеканивая каждое слово: «но я и не запрещаю». Совершенно растерявшийся Гриневиц, оставшись со мною наедине, беспомощно развел руками и трагически воскликнул: «Вот тут и понимай, — разрешить не разрешает и запрещать не запрещает!»*, затем, прощаясь со мною, он заявил мне, что он, конечно, будет смотреть на мое

* Считаю своим долгом отметить, что генерал Старынкевич в среде тогдашней российской бюрократии составлял редкое исключение. Он придерживался того взгляда, что самым полезным администратором в России при тогдашних обстоятельствах будет тот, кто не будет проявлять никакой активной власти и будет предоставлять полный простор земскому и городскому самоуправлению. Когда министр внутр. дел потребовал от губернаторов стеснения деятельности земских учреждений, Старынкевич предпочел выйти в отставку и баллотироваться в секретари киевской городской думы. Впоследствии он был назначен президентом г. Варшавы и старался всячески привлекать общественных деятелей в управление городом, организовав нечто в роде совещательного при нем органа.

«преподавание» сквозь пальцы («вы не думайте, что я полицейский крючок, — боже меня избави!»). При этом он «покорнейше» просил меня ставить его всегда своевременно в известность, где, у кого и что я преподаю, дабы он, в случае доноса со стороны учебной администрации, имел возможность и право, при первом же запросе, представить объяснение, что он исполняет-де свои обязанности по своему долгу. Блестительно за мною надзирает, прекрасно знает, что и где я преподаю, и в преподавательской моей деятельности до сих пор ничего предосудительного не находил. Признаться, мне немалого труда стоило, чтобы не расхохотаться от столь оригинального выхода Гриневица из его затруднительного положения. Я дал ему просимое слово, и мы дружески распростились...

По прошествии некоторого времени, когда обязанности губернатора временно исправлял вице-губернатор камер-юнкер Карн[ови]ч, я был приглашен к последнему. Человек крайне ограниченного ума, широко живший исключительно на средства своей жены, урожденной М...вой, Карн[ови]ч почти исключительно занимался флиртом, «ухаживая» напропалую за местными «дамами» и «барышнями» и посвящая все остальное «свободное» время своей охоте, доставлявшей ему особенное удовольствие, так как она сопряжена была с хорошими винами и закусками и приключениями с «этими простыми здоровыми русскими бабами». В интересах флирта Карн[ови]ч принимал самое деятельное и неизменное участие во всех любительских спектаклях и придумывал всевозможные увеселения: пикники, танцевальные вечера, живые картины и т. п. «Службой» он любил заниматься лишь изредка, когда губернатор отлучался по делам службы в Петербург или производил ревизию по губернии: тогда наш камер-юнкер вступал в роль «хозяина губернии», становился серьезным «государственным мужем», на время прекращал всякое участие в любительских спектаклях и даже до крайних пределов сокращал свой любимый флирт. Этими краткими моментами Карн[ови]ч пользовался, чтобы по возможности ярче пофрондировать и проявить свой «либеральный» государственный ум и показать, какого «губернатора» имела бы в нем Россия, если бы ее правительство умело ценить людей и надоумилось призвать его на этот «пост», который ему, увы, никак не давался...

И вот в один из таких моментов, когда Карн[ови]ч священнодействовал в роли «хозяина губернии», он через Гриневица пригласил меня к себе. В напыщенной речи, блиставшей всеми красотами увековеченного Щедриным помпадурского либерализма, он высказал свое просвещенное сочувствие моему положению, которое хотя и является плодом «заблуждения», но заблуждения благородного и бескорыстного, свойственного юности (о, он сам был юн и понимает юность!) и потому вполне извинительного. Входя в мое положение, полагая, что в задаче разумной администрации, сознающей свой долг перед отече-

ством, не входит раздражать молодежь, впадую в ошибку, а ей, наоборот, следует способствовать молодежи вернуться на путь истины, и зная, что, невзирая на ходатайство губернатора, мне генерал-губернатором преподавание воспрещено, он, Карн[ови]ч, просит указать, чем он мог бы быть мне полезен. Выслушав терпеливо до конца довольно длинную, эффектно-либеральную речь Карн[ови]ча, я объяснил ему, что единственное, чем он может быть мне полезен при настоящих условиях, это распорядиться о выдаче мне полагаемого (в 1869 г.) «поднадзорным» казенного пособия в размере шести рублей в месяц. Такого скромного заявления с моей стороны Карн[ови]ч, очевидно, не ожидал: «Помилуйте, — возразил он мне патетически взволнованным голосом, — что значит для интеллигентного человека 6 руб. в месяц?» Развивая затем дальше эту мысль, он постепенно стал готовить меня к неожиданному, заранее, повидимому, подготовленному эффекту и, в конце-концов, предложил мне поступить на службу в канцелярию губернатора, где найдется должное применение моим способностям и идеальным стремлениям...

Долго говорил камер-юнкер на эту тему и был крайне поражен и огорчен, когда, поблагодарив его за доброжелательное ко мне отношение, я отклонил его предложение и вернулся к ходатайству о казенном пособии.

На этом мы расстались. Я в канцелярию не поступил, а Карн[ови]ч, считая шестирублевое пособие слишком ничтожным, скоро совсем позабыл и о нем и обо мне.

3

Херсонское «общество» в 1869 г. было типично провинциальное общество второй половины прошлого столетия: совершенное отсутствие высших интересов, низкий уровень идейности, мелочность, дразги, взаимные пересуды и сплетни. Мало здесь кто что читал, да и никакой библиотеки для чтения во всем городе не было, — это в губернском городе с 40.000-ым населением! На весь город существовал один книжный магазин Ш[а]ха, да и тот снабжал город и окрестности исключительно учебниками; книги общего характера для «общего» чтения выписывались магазином в самом ограниченном количестве экземпляров, да и то лишь по специальным заказам. Обязательно существовало, конечно, «благородное собрание», в котором «собирались» исключительно дворяне, и то раз, два раза в год во время «выборов»; в остальное время помещение это сдавалось под «концерты», «благотворительные вечера» и разные «юбилейные» торжества. Недалеко от «благородного собрания», против «Потемкинского бульвара», находился обширный ветхий сарай, давным-давно уже переделанный в театр, в который от времени до времени наезжали провинциальные труппы (часто даже недурные). Незадолго перед этим в Херсоне устроен был «клуб», который должен был («в то время, когда...»), так сказать, объединять все слои

общества; но и здесь центр тяжести лежал в танцевальных вечерах, картах и разных развлечениях. Клуб выписывал, впрочем, некоторые журналы и газеты, а также книги — преимущественно беллетристического характера. Это и была чуть ли не первая «библиотека», которою пользовались сравнительно немногие члены клуба.

Прибытие в такой город двух «исключенных студентов», состоящих «под надзором полиции», не могло не произвести в среде херсонских обывателей большой сенсации. «Мамаши» решили прежде всего воспользоваться нами, как «буками»: собрав торжественно своих домочадцев (в особенности гимназистов), они усиленно разъясняли им, что прибывшие «сосланные» должны служить для них предостережением, что такая судьба неизбежно ждет и их в случае непослушания и неповиновения «старшим»; не следует, убеждали они, вмешиваться не в свое дело: студенты должны учиться, чиновники должны служить, купцы — торговать, но (не приведи бог!) не заниматься «политикой», — это грозит потерей карьеры и разбитой навсегда жизнью. Книгопродавец Ш[а]х, искренно считавший себя самым умным человеком в Херсоне, в интимном кругу своих «более уважаемых клиентов», шопотом объяснял, что Карвацкий и Чудновский сосланы из Петербурга в Херсон потому, что им «не понравился» Александр II и им хотелось самим «сесть на его место». Агенты же «тайной полиции» — жандармы, — а также «будочники» конфиденциально сообщали базарным торговкам и мелким лавочникам, что К. и Ч. сосланы в Херсон потому, что они бунтовали против царя, и что водить с ними знакомство немного опасно.

Таково было то общее настроение, которое вызвало наше необычное прибытие в город. Были, конечно, исключения, но это само собой разумеется. Полное же исключение составляла молодежь, отношение которой к «пострадавшим» было диаметрально противоположное. Страхи «мамаш» и политико-философские речи Ш[а]ха и его знакомых возбуждали в учащих только сочувствие и интерес к «поднадзорным» студентам, и они (в особенности гимназисты старших классов) пренебрегали предостережениями и мамаш и гимназического начальства и всячески старались свести с нами знакомство. У меня, окончившего Херсонскую гимназию лишь год тому назад, сохранились еще связи с ней в лице некоторых учеников старших классов, и знакомства со мной завязывались главным образом через их посредство.

Я весь еще был под свежим впечатлением кружков и «сходок» петербургской «радикальной» молодежи. Непосредственное столкновение с действительностью во время студенческих «беспорядков», грубое вмешательство полиции в чисто академический инцидент, жестокое и деспотическое насилие, учиненное над участниками в «беспорядках» заставили меня глубоко и серьезно вдуматься в царящий в России порядок вещей. Т е п е р ь я

сделался уже убежденным и непримиримым врагом последнего; я пришел к определенно сформулированному заключению, что всякий сознательный и искренно мыслящий русский гражданин обязан объявить беспощадную войну подобному порядку вещей и бороться с ним непрерывно и повсюду всеми доступными в данный момент средствами, помня твердо, что всякая (хотя и самая малейшая) крупица сознательности имеет в общем ходе вещей свое несомненное значение.

При тех условиях, в каких я находился в Херсоне, я считал наиболее целесообразным и почти единственным доступным для меня делом способствовать всеми мерами пробуждению политической мысли и общественного сознания в учащейся молодежи обоого пола. Преследуя эту цель, я организовал при посредстве некоторых гимназистов и гимназисток несколько кружков для самообразования, которые комплектовались из учеников и учениц старших классов мужской и женской гимназий и очень немногих посторонних лиц. В двух-трех кружках я участвовал непосредственно, в другие я считал более целесообразным лично не являться, а быть связанным с ними через посредство друзей-гимназистов. Некоторые из участников этих кружков через 5—6 лет очутились (например, Ланганс, Лукашевич и др.) в центре нашего революционного движения, некоторые, не примыкая к активному политическому движению, немалую лепту внесли в сознание нашей передовой части общества...

Кружки собирались более или менее регулярно в определенные дни. На собраниях читались выдающиеся статьи новых книжек, журналов; читались и статьи Писарева, Добролюбова и Белинского. Особенным же успехом пользовались на этих собраниях старые книжки «Современника» со статьями Чернышевского и только что выпешенные отдельным изданием «Исторические письма» Миртова (Лаврова), долго печатавшиеся в «Неделе». Чтения сопровождались обменом мнений, продолжительными прениями и горячими, юношески увлекательными спорами, нередко затягивавшимися глубоко за полночь...

Я не могу не остановиться здесь на одном юноше, с которым судьба меня особенно сблизила в этот период моей жизни в Херсоне и сделала меня, так сказать, восприимчивым первых шагов его сознательной жизни, столь рано и, увы, столь трагически прекратившейся: я имею в виду Андрея Афанасьевича Франжоли или попросту Андриюшу, как его любовно называли все близко его знавшие.

В конце 60-х годов в Херсоне самой популярной аптекой была аптека герра Миллера. В этой аптеке находились на службе в качестве аптекарских помощников И. Н. Болотников и А. А. Франжоли. Эти-то «аптекарские помощники» были, можно сказать, более всех заинтригованы водворенными в Херсоне «поднадзорными» студентами. Оба они очень тяготились своей профессией, ничего не дававшей их уму и сердцу. Но пер-

вый — Болотников — был человек по преимуществу реально-практического направления, никогда из-за идеальных стремлений и потребностей не терявший из виду реально-практической почвы; последний же — Франжоли — был идеалист до мозга костей, человек в высшей степени увлекающийся, энтузиаст, чуждый всяких практически-реальных соображений, один из тех, о которых принято говорить, что они «не от мира сего». В тиши своей аптекарской каморки он взрастил в своем уме и сердце строго демократические принципы и убеждения, которым он был предан до фанатической нетерпимости ко всем тем, кто их не разделял, причем он не щадил даже самых близких и любимых им людей. Разница эта обуславливается до некоторой степени национальным темпераментом обоих юношей: Болотников был коренной русский человек (если не ошибаюсь, уроженец Екатеринославской губернии); Франжоли же и по отцу и по матери был итальянец, родом из подвластной Австрии Италии, и не только его отец, но и сам Андрей оставались (что весьма огорчало последнего) австрийскими подданными, хотя Андрей и душой и телом был самым преданным сыном России, до самозабвения любившим ее, болевшим всеми ее скорбями и печальми.

Эти «фармацевты» одни из первых свели со мной знакомство. Мы очень коротко сошлись, и между нами очень скоро завязалась тесная и сердечная дружба. Комнатка, отведенная им при аптеке, была наиболее любимым местом моего времяпровождения. Здесь я был весьма желанным гостем во всякое время — днем и ночью. Оба «фармацевта» готовы были делиться со мною последним куском. Частенько приходилось мне у них и ночевать, так как увлекающийся Андрей по целым часам распрашивал о жизни-бытье в Питере, о вопросах, волнующих молодежь, о видах на будущее, надеждах и чаяниях и т. п. Не прошло и месяца после нашего знакомства, как оба друга объявили мне о своем категорическом решении похерить аптеку и фармацевтическую деятельность и поступить в Технологический институт, предложив мне при этом давать им уроки по математике. У Франжоли такое решение созрело после упорной внутренней борьбы. Дело в том, что семья его была крайне бедная и за смертью отца (мать, две сестры и два брата) существовала почти исключительно на его скудный заработок. К семье этой он был очень привязан, и судьба ее его очень заботила. Но тут с одной стороны явилась на помощь старшая сестра, Евгения Афанасьевна, получившая место народной учительницы; с другой стороны — твердая вера в собственные силы и уверенность, что в Технологическом институте ему удастся «уроками» поддерживать семью. К тому же Андрей принадлежал к тем людям, которые готовы всем пожертвовать ради достижения идеальной цели, раз таковая вошла в их плоть и кровь.

Закипела у приятелей-фармацевтов работа. Я просто диву давался при виде трудоспособности этих двух юношей, в особен-

ности Франколи. Выполняя почти круглый день кропотливую, тяжелую и неприятную работу, зачастую работая по необходимости и ночью, выскакивая полуодетым при каждом звонке ночных посетителей, они умудрялись удивительно много работать и над предметами гимназического курса, экзамен по которым обязателен был для поступления в Технологический институт. По прошествии года они оставили аптеку и отправились в Петербург. С дальнейшей судьбой Франколи читатели могут познакомиться в напечатанном в мартовской книжке «Былого» за 1907 г. очерке Николая Морозова. В 1879 г. я получил от него последнее письмо из Сольвычегодска, письмо по обыкновению восторженное и жизнерадостное, хотя он страдал уже и тогда неизлечимой болезнью. Несколько лет спустя я, уже в Енисейске, узнал о его смерти. Что касается Болотникова, с которым мне пришлось вновь столкнуться через много лет, по возвращении уже из ссылки (незадолго до его смерти), то он всецело отдал себя своей новой специальности, много работал в Технологическом институте, а по окончании курса посвятил себя педагогической деятельности в качестве полезного и честного преподавателя, а затем и директора Полтавского земского ремесленного училища. Женатый на любимой сестре Франколи (Евгении Афанасьевне), он навсегда сохранил дружеские связи с последним; жизненные пути их разошлись, как и можно было ожидать, хотя Болотников до самой смерти сохранил чуткость ко всему благородному и возвышенному.

4

Уж из первой главы моих воспоминаний читатель знает, что в конце шестидесятых годов в России в разгаре был «женский вопрос», одним из первых провозвестников которого был Михайлов¹⁵. В Петербурге и Москве девушки проникали на лекции и на практические занятия на медицинском и естественном факультетах. Официально, однако, доступ женщинам в высшие учебные заведения был еще (в 1869—1870 гг.) закрыт, и русские женщины стремились в заграничные университеты, в особенности швейцарские — Цюрихский и Бернский.

Провинция в этом отношении, как и во многих других, шла в хвосте столичного движения, но все же последнее не было ей чуждо. В Херсоне мне пришлось познакомиться с интеллигентной и симпатичной семьей вдовы Герценштейн; старшая дочь Аннета Марковна сразу обращала на себя внимание, как чрезвычайно способная, серьезная и талайтливая девушка. В этой глуши А. М. первая поставила себе цель поступить в Цюрихский университет и увлекла за собой свою подругу Берлинерблау.

В провинции это составляло тогда целое событие. Понятно, что я с величайшим сочувствием отнесся к решению этих девушек и предложил им свои услуги, чтобы помочь им подготовиться по

математике, которая в то время в женских гимназиях преподавалась в слишком скромных дозах. Это были первые две пионерки в нашей провинциальной глуши (и чуть ли не вообще в провинции), которые в 1870 г., после упорной борьбы с родными (особенно упорную борьбу пришлось выдержать Берлинерблау), отправились в Цюрих.

Для херсонского юношества, в особенности для той части, которая группировалась по кружкам самообразования, это был истинный праздник. Я живо помню, как к отходу парохода (в Одессу) вся набережная наполнилась молодежью. Я мысленно вижу, с какими почтительными поклонами последняя встретила прибывших на пароход двух девушек (большинству из них лично совершенно незнакомых) и как в момент отхода парохода все провожавшие юноши, как один человек, почтительно обнажили головы и простояли в торжественном молчании несколько минут, пока пароход был виден.

Девушки отправились в Цюрих, где и поступили после успешно выдержанного экзамена на медицинский факультет. А. М. Герценштейн сделалась скоро жертвой черной оспы, и ей, талантливой и многообещающей, не суждено было больше увидеть Россию, а Берлинерблау, успешно окончивши медицинский факультет и не найдя приложения своим профессиональным занятиям в России, переселилась в Америку, где и устроилась при одной из бостонских больниц, в которой пребывает, кажется, и ныне¹⁶.

5

К этому же периоду пребывания моего в Херсоне относится и основание (хотя и зародышевое) нынешней общественной херсонской библиотеки занимающей видное место между провинциальными общественными библиотеками.

В конце шестидесятых годов, как мною выше упомянуто, в Херсоне не существовало ни одной библиотеки для чтения. В книгах для чтения чувствовалась большая нужда, новые журналы добывались с большим трудом. И вот несколько человек из херсонской молодежи, к которым примкнул и я, решили выписывать в складчину два-три журнала; группа быстро разрасталась, вместе с тем возрастало и число выписываемых журналов, а с течением времени стали выписывать и новые книги по общественным вопросам. Юноши очень усердно занимались своей «библиотечкой», в особенности много времени уделяли ей Рябков и Ланганс. По прошествии нескольких лет составилось уже действительно нечто в роде маленькой библиотеки, постепенно и быстро расширявшейся. Я был уже далеко-далеко от своей родины, когда узнал, что учреждение, возникшее в столь скромных размерах единичными усилиями отдельных немногочисленных лиц, превратилось в общественную библиотеку, пользующуюся ежегодным пособием городского общественного управле-

ния, являясь до некоторой степени гордостью немногочисленной херсонской интеллигенции. Этот факт личной инициативы в провинциальной глуши заслуживает того, чтобы быть отмеченным.

6

Поднадзорное положение мое в Херсоне продолжалось около двух лет. Я все время существовал «уроками» в домах местных видных обывателей, которые я давал совершенно открыто, не скрываясь, что было бы, впрочем, и бесцельно, так как даже учебная администрация в своем ревностном сыске не решилась бы на конфликт, например, с генералом Слезкиным (братом известного в то время начальника московского жандармского управления), с младшими сыновьями которого я занимался, или с членом окружного суда Давиденко и бригадным генералом (в домах которых давал уроки товарищ мой Корвацкий). Обеспеченный в своем материальном существовании, я почти все свои вечера проводил в кружках самообразования местной молодежи, посильно помогая ей разбираться в интересовавших ее вопросах жизни.

Хотя я и не оставался в Херсоне совершенно бесполезным и продолжал неизменно пользоваться симпатиями молодежи, тем не менее этот глухой провинциальный уголок с почти полным отсутствием внутренней самостоятельной общественной жизни стал сильно меня тяготить, и я принялся хлопотать о разрешении переехать на жительство в Одессу. Благодаря содействию губернатора Старынкевича и генерала Слезкина ходатайство мое было уважено, и в марте 1871 г. (после почти двухлетнего поднадзорного пребывания в Херсоне) я получил разрешение переехать в Одессу, под тот же гласный надзор полиции.

Я не могу не отметить здесь следующего обстоятельства.

Вскоре после моего прибытия в Херсон моя мать, скорбя о прерванной «карьере» моей, по совету «мамаш», обратилась с прошением на высочайшее имя о разрешении мне поступить в университет для окончания курса — в виду моего несовершеннолетия и т. п. К крайнему ее огорчению, она на прошение свое получила категорический отказ, мотивированный тем, что появление в здании университета подобных мне субъектов неизбежно отразится вредно на учащейся молодежи и этим парализована будет та цель, к которой стремились при моем исключении.

ГЛАВА III

1

Одесский (правильнее, «Новороссийский») университет, как таковой, в момент прибытия моего из Херсона в Одессу существовал всего около шести лет: лишь в мае 1865 года бывший Ришельевский лицей преобразован был в университет с тремя, на первых порах, факультетами: юридическим, физико-математическим и историко-филологическим.

В памяти одесситов свеж был еще тогда «героический период» студенчества лицея, отмеченный в его летописях всевозможными удалыми скандалами и всякого рода «молодечеством». Современники и очевидцы (кто с пафосом, кто иронически-юмористически) передавали о легендарных подвигах студента К...ва, появившегося перед изумленной публикой, расхажившей из «дворянского собрания» по окончании концерта, верхом на жандарме, переносившем его за соблазнительное вознаграждение на спине через грязную улицу возле подъезда собрания, или умудрявшегося размещаться в одном нижнем белье на подоконнике 4-го этажа, чтобы этим путем быть выдворенным из квартиры без уплаты квартирных денег, и т. д.

Этот «героический» период миновал, но он еще не был заменен каким-либо иным, реально-прогрессивным академическим или общественным течением. Новороссийский университет вообще на первых порах своего существования в весьма слабой степени влиял на культурно-духовную жизнь Одессы, которая окрашена была в весьма яркий мещанско-буржуазный торгово-коммерческий цвет. Ни профессора, ни студенты тогда почти ничего не вносили в умственную и нравственную атмосферу средних обывательских кругов. Со стороны получалось такое впечатление, что университет существует *für und an sich* и старательно выполняет свою специальную миссию: готовит для учебных заведений учителей-чиновников и адвокатов, но совершенно игнорирует человека в том высоком и благородном смысле, каковой вкладывал в это слово еще недавно вынужденно оставивший свою административно-педагогическую деятельность в Одессе, а затем и в Киевском учебном округе наш знаменитый ученый Н. И. Пирогов, имя которого многие еще произносили с глубоким

уважением и даже благоговением и умилением. А между тем в числе профессоров Новороссийского университета я застал такие крупные и выдающиеся научные и умственные силы, как Сеченов, Мечников, Ценковский, Соколов, Головкинский, на лекции которых (в особенности Сеченова и Мечникова) стекались студенты всех факультетов, а устраиваемые ими публичные курсы усердно и жадно посещались лицами обоего пола всех слоев и классов общества; в особенности привлекали к себе необыкновенно талантливые лекции Мечникова и Сеченова, пользовавшихся в Одессе обширной популярностью, причем, например, на знаменитые лекции по эмбриологии восходившего лишь тогда светила — Мечникова — стекалось столько народа, что всех желающих не вмещала самая обширная университетская аудитория.

2

В начале 70-х годов прошлого столетия число слушателей в Новороссийском университете не только сравнительно с теперешним, но даже сравнительно с тогдашним их количеством в других университетах было крайне ограничено. На всех трех факультетах оно не превышало 450 человек, причем около трехсот студентов приходилось на юридический факультет.

Когда я приехал в Одессу, в среде одесского студенчества известен был один лишь организованный кружок, во главе которого стоял окончивший уже незадолго перед этим историко-филологический факультет Г. Е. Афанасьев, оставленный при университете в качестве магистранта по кафедре всеобщей истории. Это был человек с сильным характером, большого ума и солидной эрудиции; благодаря его выдающемуся ораторскому таланту и умению прекрасно управлять прениями и формулировать последние, его неизменно выбирали председателем на всех студенческих сходках и на всякого рода собраниях.

К кружку этому примыкали преимущественно юноши (главным образом студенты), из которых некоторые сыграли впоследствии заметную роль в нашей общественной и государственной жизни, а также на поприще науки, журналистики и публицистики; таковы, например: С. Н. Южаков, И. В. Карвацкий, Л... ва, Р...н и др.

В состав кружка входили, впрочем, и некоторые более пожилые люди, как, например, Авдеев и Гернет, игравшие видную роль в самоуправлении г. Одессы.

Кружок этот преследовал в то время почти исключительно культурно-просветительные задачи как в сфере студенческой жизни, так и в соприкасавшейся с нею общественной среде.

Из него вышли инициаторы некоторых кооперативных учреждений: потребительного общества, общества взаимного кредита и др. Из членов этого кружка впоследствии главным образом

формировалось ядро деятелей народного образования, воскресных школ, народных аудиторий, лекционного комитета и т. п.

Центральным пунктом, в котором сталкивались все интересовавшиеся в начале 70-х годов минувшего столетия студенческими делами, являлась специально студенческая кухмистерская, которая существовала хотя и не вполне легально, но совершенно открыто. В этой-то кухмистерской, помещавшейся, насколько припомню, на Гулевой улице, возле собора, я вскоре по прибытии в Одессу столкнулся с названными лицами и некоторыми другими, из которых впоследствии одни заметно повернули вправо, другие — влево и лишь немногие остались совершенно в стороне от всякой эволюции.

Стремясь к сближению с молодежью и преимущественно университетскою, я сделался завсегдатаем этой кухмистерской, а вскоре и одним из ее распорядителей. «Гласный полицейский надзор» в Одессе в то время был совершенно номинальным и ограничивался (по отношению ко мне, например) лишь тем, что, по прибытии из Херсона в Одессу, я предъявил в полицейском управлении свое проходное свидетельство, взамен которого мне выдан был вид на жительство; до поры до времени на этом собственно и кончились все отношения мои к полиции, во главе которой скоро стали быстро прославившиеся по всей России своим лихоимством знаменитый полковник Антонов (автор «Одесских катакомб»¹⁷) и секретарь его Волотов, разыскивавшийся (за разные «художества») по России и, в качестве секретаря полиции, лично отписывавшийся (как меня уверяли) о «ненахождении в Одессе» такового: этим господам в сущности наплевать было и на государство, и на политику, и на «поднадзорных»; и на обывателей вообще, — все их внимание сосредоточено было на... публичных домах, превращенных ими в источник столь крупных и беззастенчивых доходов, что они в конце-концов очутились на скамье подсудимых.

Итак, полицейский надзор меня на первых порах в Одессе совершенно не стеснял и в течение некоторого времени ничем не связывал меня и моего образа жизни.

На первых порах интеллигентски-культурный кружок отнесся ко мне не совсем благосклонно, усматривая (хотя и не совсем основательно) во мне противника его задачам и стремлениям. Кто-то пустил даже слух, что я примыкаю к нечаевской организации, намерен организовать в Одессе кружки по типу и характеру нечаевских и т. д. А надо сказать, что тогда только что закончился процесс по нечаевскому делу, который довольно подробно печатался в газетах. Процесс этот, не в пример будущим политическим процессам, произвел на провинциальную молодежь крайне неблагоприятное впечатление. Выяснившееся из печатавшегося (в газетах) процесса совершенно беспричинное убийство Иванова и грубо генеральское отношение Нечаева к другим участникам его «организации» вызвали в тот момент крайне отри-

цательное и чрезвычайно подозрительное отношение ко всякого рода конспиративной деятельности...

Итак, пущенный кем-то слух (никакой реальной почвы под ним не было) предрасположил против меня культурно-просветительный кружок, что обнаружилось на первых же порах в следующем факте. В числе негласных студенческих учреждений существовала тогда в Одессе и «студенческая библиотека», которой пользовались не исключительно одни студенты, но и другие лица, принятые в ее состав закрытой баллотировкой по большинству голосов. Библиотека эта ценилась не столько сама по себе, как таковая, а как один из объединяющих центров. Кто-то предложил избрать меня членом этой библиотеки (предложение сделано было без моего ведома). И вот как-то во время обеда в кухмистерской один из моих знакомых сообщил мне, что я избран в члены библиотеки. Присутствовавший при этом Афанасьев к сообщению этому присовокупил: «Вы избраны почти единогласно, за вас подан был лишь один черный шар, и я считаю долгом объяснить вам, что черный шар положил я, и положил я его вам потому, что во мне сложилось убеждение, что мы с вами преследуем различные политические цели...» Такая честная прямота привлекла мои симпатии к Афанасьеву и обусловила навсегда чувства искреннего уважения и расположения к этому человеку, отношения к которому спустя много лет стали почти дружеские: открытый и честный противник, ведь далеко не заурядное явление в нашей жизни*.

3

Но тогда же в той же одесской студенческой среде и даже в той же студенческой кухмистерской формировался и другой кружок, который не удовлетворялся одними мирно-культурно-просветительными целями и задачами.

Во главе этого кружка стояли филолог Ш[естаков]ский, юристы Г[ардецкий], В...ский и... Андрей Иванович Желябов, тогда большой друг и приятель Ш[естаков]ского, с которым они (как часто бывает в жизни) скоро разошлись в разные стороны. Группа эта жила в самой кухмистерской, занимая в ней две-три свободные комнаты.

Когда я пишу эти строки, в памяти моей ярко воскресают прекрасные тонкие черты лица Желябова в первый момент первой встречи моей с ним. Я явился одним из первых в комнату, в которой должна была состояться (не припомню уже, по какому поводу) сходка. Вскоре сюда стала собираться публика, вошли

* Г. Е. Афанасьев при встрече со мною после появления этой главы в журнале «Былое» уверял меня, что в этом пункте мне немного изменила память: «студенческой библиотеки» тогда в Одессе не существовало, а изложенный инцидент имел место при выборах меня в члены комитета по заведыванию студенческой кухмистерской...

Ш[естаков]ский с приятелями, в числе которых бросался в глаза в высшей степени симпатичный юноша в накинутом на плечи пледе, один из тех далеко не часто встречающихся людей, которые невольно обращают на себя самое серьезное внимание, как люди, как бы судьбой отмеченные и ею предназначенные для чего-то весьма важного и крупного.

Выше среднего роста, изящной и красивой наружности, с розовыми щеками, большими, чрезвычайно выразительными, весело смеющимися глазами, черными волнистыми волосами, Желябов сразу привлек к себе мое внимание, как только он появился на сходку, на которой по обыкновению председательствовал Афанасьев. Я немало был удивлен, когда узнал, что этот изящный юноша с тонкими аристократическими чертами лица — сын заправского (а не «выпешного в люди») крестьянина, который и в тот момент и впоследствии до конца дней своих таковым и остался.

Не помню, по какому поводу собралась эта сходка и о чем на ней трактовалось; если не ошибаюсь, на ней обсуждались чисто хозяйственные вопросы, касавшиеся кухмистерской. В прениях принимал участие и Желябов, который и при этом ординарном случае проявил уже недюжинный ораторский талант, живое остроумие и находчивость. Его логическая, живая, умно построенная, не лишенная юмора и сарказма речь-импровизация выдвинула его, как оратора, на самое видное место. На этой заурядной сходке уже бросалась в глаза способность Андрея Ивановича увлекать за собою толпу, электризовать ее и незаметно господствовать над нею... В отличие от кружка Афанасьева, явно сторонившегося тогда от меня, как от человека с радикальными и даже революционными (по его мнению) стремлениями, кружок Ш[естаковского], в особенности Желябов, в этом самом предположении усматривал, наоборот, повод к сближению со мною. Организовав бюро для доставления уроков и других занятий нуждающейся учащейся молодежи симпатичного для них направления, члены этой группы по собственной инициативе помогли мне добыть для себя работу — сначала переписку, а потом и уроки.

4

На пасхе этого 1871 года мне пришлось пережить (и быть очевидцем) первого на моих глазах еврейского погрома в Одессе.

Старший брат мой Л[eon] Л[азаревич] с семьей отправился на праздники в Херсон, а я по его просьбе остался на его квартире, помещавшейся (если память мне не изменяет) на Еврейской улице, на которую выходили окна некоторых комнат.

С разрешения директора химической лаборатории Новороссийского университета профессора Соколова я занимался в последней практической химией, работая там в свободное время под руководством тогда еще доцента неорганической химии А. Ве-

риго и лаборанта Клименко. В праздничные же дни я занимался обыкновенно дома теорией химии и изучал с увлечением классический учебник Менделеева. И вот, приблизительно через месяц после прибытия моего в Одессу, в первый день пасхи (она началась 28 марта) я с утра расположился в кабинете брата и внимательно штудировал какую-то главу учебника Менделеева, увлекшись прекрасным, строго научным изложением. Вдруг послышался какой-то грохот и шум; я сначала не обратил на это внимания и продолжал свои занятия; но через несколько минут посыпались осколки разбитых стекол, и я почувствовал острую боль в правой ноге. Я вскочил и осмотрелся. Оказалось, что в ногу мою ударился брошенный в окно большой булыжник; почти все стекла в окнах этой комнаты были уже разбиты, и в окна комнат квартиры, помещавшейся во втором этаже, с Еврейской улицы сыпались градом камни всевозможных величин. Выскочив моментально в соседнюю комнату, выходящую во двор, я забаррикадировал дверь в кабинет, переждал там минут 15—20, пока поблизости все стихло. Выйдя из-за своей баррикады, я поражен был представившейся моим глазам картиной полного разрушения! Комнаты, выходящие окнами на улицу, наполнены были обломками и осколками всевозможных величин; во всех семи окнах стекла разбиты были вдребезги, повреждены были все столы и стулья. Бушующая толпа, повидимому, уже закончила с этим кварталом и умчалась дальше. Я запер ставни, оделся и пошел бродить по городу в качестве наблюдателя и зерцателя, чтобы впервые в свою жизнь увидеть в действии и реальности ту стихийную и бессознательно разрушающую толпу, о которой приходилось многое читать и о которой у меня составилось довольно идиллическое представление.

Ни о какой «самообороне» тогда еще и в помине не было*; о «политике» в еврейской массе и о мести со стороны «истинно-русских» людей евреям за их «революционное настроение» не могло быть и речи; самой «русской революции» еще слыхом не слыхать было; гг. Плеве, Богдановичи, Нейдгардты, Курловы и им подобные на горизонте нашем еще не появлялись, да и «истинно-русских» людей тогда еще не было, как не было таких фигур, как Дубровин, Б. Никольский, Булацель, Торопов, Коновницын, Пуришкевич и им подобные.

Из рассказов толпы я на улице узнал, что дело началось возле ограды греческой церкви. По какому-то поводу возникла там ссора между греками и евреями, ссора перешла в драку, — к ограде нахлынула толпа подростков и подвыпивших рабо-

чих. Явились казаки и принялись оттеснять от ограды толпу, которая тогда рассеялась по ближайшим улицам и приступила, под влиянием некоторых «вожаков», к расправе над евреями. Начался «погром»...

Повторяю, «истинно-русская» эпоха была далеко еще впереди; однако погром был полный. Он не отличался свирепой жестокостью и диким изуверством грядущих погромов. До повальных убийств, до вколачивания гвоздей в череп, до насилования дочерей в присутствии их матерей, до распарывания животов беременных женщин и сбрасывания с четвертых этажей грудных детей тогда еще не доходили, но, безотносительно говоря, картина погрома для меня, впервые присутствовавшего при подобных сценах, была ужасна и потрясающа. Толпа в несколько сот человек, в которой преобладали подростки и молодые парни-рабочие, сильно подгулявшие на счет дарового спирта из питейных домов, спокойно двигалась по улицам, вооруженная ломами, молотками, листами жести и железными палками. Подходя к какому-нибудь еврейскому дому, она принималась громить его, разбивала окна и двери, забиралась в комнаты и магазины, срывала вывески с лавок и магазинов, выбрасывала в окна на улицу все, что попадалось под руку: столы, стулья, зеркала, подушки, перины, всякого рода товары и т. д. Из некоторых домов умудрялись выбрасывать с верхних этажей рояли и пианино, которые разбивались вдребезги. Пух от перин и подушек белой пеленой покрывал массу улиц, по которым проходила дикая орда. Не церемонились также с еврейской святыней — синагогами и молитвенными домами: разрывали, топтали ногами и оскверняли священную тору (свитки), разбивали кивоты, уничтожали драгоценную утварь.

Питейные дома (казенной монополии тогда еще не было) предавались полному истреблению. Встречных евреев если не убивали, то жестоко избивали, бросая на улице раненых, которых впоследствии подбирали (кадет скорой помощи еще не было)...

Оргия эта длилась три-четыре дня. В первые дни полиция совершенно бездействовала. На моих глазах городовые христосовались с громилами, получали от них часть награбленной ими добычи и поощряли их, приговаривая, добродушно ухмыляясь: «бей, брат, жидов!», как будто бы речь шла о зайцах или собаках... От времени до времени появлялся военный (пеший или конный) патруль и разгонял громил, которые преспокойно переходили на другую сторону улицы и продолжали свое разрушительное дело. Несколько раз на моих глазах подъезжал к бушующей толпе окруженный блестящей свитой и эскортом конных жандармов и городских тогдашний новороссийский генерал-губернатор генерал-адъютант П. Е. Коцебу, предъявлял ей грозное требование: «расходись!» и мчался дальше, сопровождаемый улюлюканиями толпы и возгласами: «куций Коцеба, куций

* Однако уже и тогда, в 1871 г., еврейская масса не представляла сплошного стада, безропотно подставляющего свою шею под удары гнусных хулиганов. Например, около еврейских резниц на Старом базаре небольшая кучка евреев храбро и с полным успехом отразила нападение громил, трусливо ретировавшихся при малейшем серьезном отпоре.

Коцеба»!*, причем громилы преспокойно продолжали свое жестокое дело... Христиане, а также некоторые напуганные укасами еврей выставляли в окнах иконы, кресты и пасхи, и это в значительном большинстве случаев достигало своей цели: громилы проходили мимо, направляясь к другим домам.

Итак, три дня я бродил по улицам, на которых бушевала толпа, стараясь уловить хоть какой-либо сознательный мотив к буйству, в роде негодования на «жидовскую эксплуатацию» и т. п., но ничего подобного не уловил. Я расхаживал в компании с одним из представителей тогдашнего «украинофильского» студенчества Г...м, который неумоимо развивал свою излюбленную тему о еврейской эксплуатации и т. п., но доводы его и вся его логика не могли не разбиваться о такие, например, сцены. Идем по Новому базару; здесь ютятся десятки бедных, жалких и несчастных лавченков. Вдруг баба (отнюдь не свирепого вида), заручившись где-то горящей лучиной, подносит ее к одной лавченке и поджигает ее, — поднимается зарево, и жалкое грошевое достояние десятков несчастных становится добычей огня. Мы подходим к бабе, и я спрашиваю ее, за что же она губит таких же бедняков, как и она сама; баба в сильном смущении отвечает, что вышел-де такой приказ начальства: велено три дня громить и бить «жидов»; затем, как бы подбодрившись своим объяснением, навешанным ей, очевидно, извне, из авторитетного для нее источника, она спрашивает меня: «Нешто вы думаете, что мы могли бы громить жидов целых три дня, кабы на то не была воля начальства?» На это убеждение, что избивают ни в чем неповинных людей с разрешения начальства, приходилось наталкиваться очень часто, и бороться с ним, в виду очевидности, было почти невозможно!..

На третий день буйная толпа громила окончательно разошлась. К ней присоединилось много наехавших из ближайших деревень, явившихся с возами, чтобы поживиться «жидовским» добром. Коцебу, совершенно бездействовавший в первые дни и этим самым поддерживавший внушенное кем-то толпе убеждение в безнаказанности разгромления «жидов», получив, в виду энергических представлений по телеграфу представителей местного еврейства, строгое предписание из Петербурга о прекращении беспорядков, принял сечью народ розгами: из бующей толпы выхватывали громилы целыми десятками, препровождали их за ограду греческой церкви, и там солдаты из специально для этого отряженного наряда секли их розгами без всякой пощады. При этом (как всегда бывает в таких случаях) хватили немало и таких, которые никакого участия в погроме не принимали, а находились в толпе лишь случайно, как зрители; экзекуции подверглась даже на моих глазах одна довольно нарядная дама,

* Коцебу был маленького роста, что вызывало к нему презрение со стороны толпы.

ни в чем решительно неповинная; наиболее свирепые «вожаки» совершенно ускользали от полиции и ловко затесывались в толпу при всяком ее появлении.

На 4-й день праздников, когда уже стало все стихать, на улицах расклеено было воззвание к населению от тогдашнего одесского градоначальника Бухарина, предупреждавшего, что войскам от дано приказание действовать без послаблений в случае продолжения беспорядков; в город прибыли войска, а на Николаевском бульваре расставлены были четыре орудия.

Насколько я негодовал на толпу за ее зверскую расправу с евреями*, а еще более на тех, кто оправдывал эти безобразия «эксплуатацией», настолько же меня возмущали безобразные сцены огульного сечения народа — варварский произвол высшей администрации, подарившей России «сеченую Одессу» (так прозвали ее тогда в столичных газетах). Желябов и большинство его кружка разделяли и мое негодование и мой общий взгляд на это трагическое событие; они, как и я, были убеждены в том, что никоим образом нельзя взвалить вину на темную стихийную толпу громил или на пресловутую «жидовскую эксплуатацию», а корень зла надо искать в общем бесправном гражданском положении еврейского населения, составлявшем частный факт общерусского бесправия и являвшемся лишь на общем фоне бесправия линией наименьшего сопротивления, по которой направлялось общее недовольство существующим политическим и экономическим порядком вещей**.

Таким образом, это печальное событие сыграло свою роль в более тесном сближении моем с кружком Ш[естаков]ского***.

5

Еще более сблизила меня с Желябовым и его кружком разывавшаяся в октябре 1871 г. в Новороссийском университете «студенческая история», известная под названием «богишичевской истории»****.

В числе профессоров юридического факультета по кафедре истории славянского законодательства Новороссийского уни-

* Но что значат эти расправы сравнительно с позднейшими погромами! За 4 дня оказалось два десятка раненых, в том числе несколько тяжело раненых, убитых же, кажется, вовсе не было!..

** Даже «Одесский Вестник» того времени, редактор которого Н. Сокольский далеко не симпатизировал евреям, полагал, что для устранения на будущее время столь печальных «беспорядков» желательно «прежде всего распространить право евреев на жительство по всей России», а затем «было бы желательно и полезно, чтобы евреям, оканчивающим с успехом в университетах курс наук, предоставлены были права государственной службы».

*** Должен оговориться, что и кружок Афанасьева, в большинстве своем, отнесся совершенно отрицательно к погромам.

**** Чрезвычайно характерно, что в историческом очерке первого 25-летия Новороссийского университета (1865—90 гг.) ни единым словом об этой истории не упоминается.

верситета находился тогда (с 1870 г.) Бальтазар Власевич Богишич, уроженец Далмации, окончивший Венский университет. Он пользовался репутацией солидного ученого, и, по предложению проф. Леонтовича, факультет и совет возвели его (в 1869 г.) в звание почетного доктора государственного права (иначе он не мог бы занять в Новороссийском университете кафедры) и пригласили его в ординарные профессора.

Лектором он оказался очень плохим, так как плохо владел русским языком (говорили, что ему писали его лекции по-русски латинскими буквами). К тому же он был очень педантичен на экзаменах и груб в обращении со студентами, которых он третирует совершенно как школьников. Все это, конечно, не могло располагать к нему студентов, весьма неохотно посещавших его лекции.

В конце сентября или в начале октября 1871 г. Богишич на одной из своих лекций позволил себе крайне грубую, бестактно дерзкую выходку по отношению к студенту Бэру¹⁹. Товарищи вознегодовали и решили потребовать удаления Богишича.

Сам по себе Бэр принадлежал к самым заурядным средним студентам; ничем, кроме лекций, он не интересовался и даже слабо реагировал на нанесенное ему Богишичем оскорбление. Но студенчество и главным образом кружок Ш[естаковско]го (и прежде всего и больше всего Желябов) решили, что следует воспользоваться этим фактом для привлечения общественного внимания к его корпоративным интересам. Желябов полагал, что историей этой следует воспользоваться для «крещения новороссийского студенчества» и приобщения его к духу и интересам студенчества других университетов, — и, в этих видах, он полагал, что следует ценою чего бы то ни было добиться удовлетворения со стороны Богишича.

При всей своей надменности и при всем своем высокомерно-пренебрежительном отношении к русскому студенчеству (не способному-де оценить его глубокую ученость), Богишич, как мне говорили, склонялся было (отчасти под влиянием убеждений некоторых профессоров) к подаче в отставку, чтобы этим путем успокоить студентов; но высшая администрация полагала, что подобный благоразумный поступок вызвал бы умаление «престижа власти», и потребовала от Богишича продолжать чтение лекций. Результатом было то, чего и можно было ожидать: пошла сходка за сходкой как в помещениях университета, так и за его стенами. Волнение с каждым днем росло. Разыгралась «студенческая история». Просветительно-культурный кружок отнесся к «истории» отрицательно и в этот момент совершенно ступешался. Заправилами движения стали члены кружка Ш[естаковско]го, а главным, почти бесценным оратором на всех сборищах явился Желябов, агитаторская натура которого впервые тогда нашла себе более или менее широкий простор. На сходках по делу Богишича Желябов положительно электри-

зовал студентов своим пламенным и страстным красноречием...

Богишича освистали и заставили-таки прекратить лекции*. Университет был закрыт, и начался суд над «зачинщиками» и «главарями» беспорядков. В числе таковых прежде всего попал, конечно, Желябов и вместе с ним еще студент Белкин. Их исключили из университета, а администрация, забрав, по принятому обычаю, их бумаги из канцелярии, решила выслать их «на родину».

В памяти моей с полной яркостью (как будто это было лишь вчера) воскресает сцена проводов этих двух «зачинщиков» на пристань. Толпа юношей в несколько сот человек хлынула туда и, снабжая уезжающих деньгами и вещами, сердечно, братски прощалась с ними под напев наиболее популярных в то время песен. Но поднялась буря, отход парохода был отложен до следующего дня. Полиция хотела препроводить Желябова и Белкина на ночь в участок, но провожавшая толпа запротестовала и потребовала выдачи ей обоих товарищей на поруки — под общее честное слово, что оба на другой день рано утром явятся на пароход. Полиция уступила, и устроилась импровизированная сходка — вечеринка. Сходка тянулась всю ночь. Желябов, стоя на столе, произносил речь за речью, сменяясь изредка другими ораторами, в числе которых был, кажется, и Тригони²⁰. Тут же шла прощальная студенческая пирушка. На рассвете я заснул, и, когда проснулся, в комнате не было уже ни Желябова ни Белкина: строго соблюдая честное слово товарищей, они рано утром отправились на пароход, куда вскоре прибыли и все участники последней прощальной сходки. Прощание было трогательно-братское. Богишичевская история сыграла для новороссийского студенчества роль «крещения»... Раздался третий свисток, пароход отчалил, а с ним и козлы отпущения за наши общероссийские настроения²¹.

С Желябовым я встретился вновь года через два...

6

В той же кухмистерской судьба свела меня с другой личностью, впоследствии сыгравшую выдающуюся роль в русском революционном движении, в летописях которого имя этой личности отмечено, как имя одного из родоначальников нового направления в русской революционной тактике.

Я имею в виду И. М. Ковальского.

В один прекрасный день, явившись, как один из распорядителей, еще задолго до обеда в кухмистерскую, я застал там совершенно новое для меня лицо. На диване в первой комнате сидел плотный юноша — широкий в плечах, бедно одетый, в

* Он уехал временно из Одессы (22 октября), но в следующем году вернулся и преспокойно продолжал лекции, пока выслужил пенсию.

просторном — мешковатом — длиннополом сюртуке, с чрезвычайно угловатыми манерами. Около него на полу лежала связка книг и небольшой узелок с вещами. Я разговорился с ним. Оказалось, что он — не окончивший курса духовной семинарии (кажется, каменец-подольской) и только накануне прибыл в Одессу, крайне неудовлетворенный семинарией и ощущая большую потребность пожить в обществе студентов, сблизиться с ними и заняться своим самообразованием. Так как средства его были крайне ограничены, — правильнее говоря, так как у него таковых совсем не было, — то он решил поселиться в кухмистерской, т. е. спать здесь на свободном диване и тут же кормиться в минимальных размерах, располагая для этого 5—6 рублями в месяц. Все же имущество его заключалось в лежавшей около него связке книг и узелке.

С тех пор Ковальский (это был именно он) в продолжение почти всего моего пребывания в Одессе (с небольшим перерывом) не расставался с кухмистерской; ему скоро поручили кассу, предоставив за это бесплатно помещение и содержание. Он безотлучно находился в кухмистерской, участвовал во всех сходках и собраниях, принимал деятельное участие во всех спорах и прениях. В этот период знакомства моего с ним он мало еще чем выдавался из среды окружающих его и отнюдь не производил впечатления человека выдающегося ума и таланта.

Ковальский немного заикался, говорил далеко не гладко, — меньше всего его можно было назвать оратором. Но он был человек начитанный, досконально знал сочинения Белинского, Добролюбова, Писарева и чрезвычайно интересовался социальными и экономическими вопросами. Это был убежденный социалист и, если можно так выразиться, прирожденный демократ с головы до ног. Все «буржуазное», «барское», «чиновничье» возмущало его и вызывало с его стороны негодующе-презрительное отношение. Прямой, искренний, откровенный и до крайности прямолинейный, Ковальский вечно спорил и воевал со всеми «белоподкладочниками» (тогда они не составляли еще заурядного явления), издеваясь и насмехаясь над их предрассудками и привычками. К культурно-просветительному кружку он относился отрицательно, не совсем также сходилась с кружком Ш[естаковско]го. Когда я и близко сошедший со мною студент Ж[елтонов]ский (впоследствии променявший свой радикализм на прокурорский мундир) устроили нечто вроде коммунального общежития, один из первых присоединился к нам Ковальский, который чрезвычайно строго в очередь исполнял все свои обязанности (мыл полы, приготавливал чай, убирал и т. д.) и зло подтрунивал надо мной и девушкой С[упрун]енко, так как нам отправление обязанностей по хозяйству не особенно легко давалось и в дни нашего дежурства хозяйство нашей «коммуны» довольно-таки хромало. Когда мы затеяли устройство кружка, который путем рефератов по социальным и экономиче-

ским вопросам изучал бы социальное движение, Ковальский один из первых на это откликнулся, сделался усердным членом этого кружка и принимал самое деятельное участие как в составлении рефератов, так и в их обсуждении²².

Словом, Ковальский был человек цельный, чуждый рефлексий и резонерства, враг компромиссов и сделок с совестью, но (по крайней мере, в годы 1871—73, когда я его знал) без ясного и строго продуманного миросозерцания, без определенного плана и программы, каковые, впрочем, в то время составляли удел очень и очень немногих, если не считать умеренно-либеральных кругов, к услугам которых были готовы программы западно-европейских партий...

ГЛАВА IV

1

В точности не припомню, в конце ли 1871 года или в начале 1872 года, в студенческую кухмистерскую (в Одессе) как-то раз вошло новое лицо, обратившее на себя всеобщее внимание всем своим оригинальным обликом, резко обличавшим в нем типичного заправского украинца.

Получив при входе от одного из посетителей указание о моей личности, лицо это направилось прямо ко мне и отрекомендовало себя Волховским, Феликсом Вадимовичем.²³

Передо мною стоял почти совершенно седой человек, но с чертами лица отнюдь не старика. С первых же слов я инстинктивно как-то почувствовал, что судьба сталкивает меня с далеко недюжинным человеком, во мне явилось предчувствие, что передо мною стоит тот, кто умеет подчинять себе окружающих и знает цену себе и другим.

В памяти моей свеж был еще нечаевский процесс, так как я весьма основательно его проштудировал, — и я тотчас вспомнил, что в первой группе по этому процессу фигурировал на суде в числе подсудимых «приказчик» магазина Черкесова Волховский, которому прокурор приписывал серьезную роль в организации и который, вследствие благоприятно сложившихся для него обстоятельств, по суду был оправдан. Припомнилось мне также, что это именно лицо я встретил зимою 1868—69 г. на одной или двух из многочисленных и многолюдных сходов студентов «радикалов» и что лицо это на сходках выступало оратором, произведшим на меня впечатление своим самостоятельным отношением к обсуждавшимся на них вопросам и оригинальной, умелой и толковой защитой своих аргументов, что выгодно отличало его от многих других неопытных и плохих ораторов.

Мы разговорились.

Волховский подтвердил, что он фигурировал в нечаевском процессе, хотя он совершенно не разделял и не разделяет ни тактики, ни программы Нечаева, к организации которого он действительно не принадлежал, что во время «студенческой истории» 1869 года он, как вольнослушатель Московского

университета, приезжал, действительно, в Петербург делегатом и принимал там деятельное участие на некоторых сходках «радикального» студенчества.

Продолжительное одиночное заключение в Петропавловской крепости по нечаевскому делу * сильно отразилось на всем организме Волховского. Несмотря на свой (еще неполный) тридцатилетний возраст, он в крепости поседел, совершенно расстроил там свою нервную систему, нажил тяжелый катар желудка, наполовину оглох и т. д. Если бы не беспримерный уход нежно любившей его матери, он вряд ли вышел бы живым из крепости. Когда его оправдали, он вынужден был уехать на юг — в Крым — поправиться, пробыл там некоторое время и теперь, значительно поправив свое здоровье, приехал в Одессу, где он намерен поселиться, приискав себе какие-либо занятия. А так как вместе с тем он человек общественный, интересуется общественной жизнью и желает познакомиться с местной молодежью и местными интеллигентными группами, то он и решил познакомиться со мной: от общих знакомых ему пришлось слышать обо мне, и он думает, что между нами должно быть много точек соприкосновения, в силу которых нам возможно будет совместно работать на поприще прогрессивно-практической деятельности.

Нужно заметить, что в Петербурге формировался уже в то время около кандидата естественных наук Чайковского кружок, члены которого впоследствии известны были под общим именем «чайковцев». На первых порах кружок этот, в состав которого входили, кроме основателя — Чайковского, сестры Л. И. и А. И. Корниловы, Сидорацкая, С. Перовская, А. Д. Кувшинская, М. А. Натансон, С. С. Синегуб, Н. А. Чарушин, П. А. Кропоткин, Мокиевский-Зубок, М. Куприянов, Л. А. Тихомиров, Д. А. Клеменс, Л. Шипко, Стаховский и др., — уделял значительную часть своих средств, своего труда и своего времени на распространение собственно легальных изданий — книг, будящих мысль и направляющих ее на серьезный социально-экономический путь: он приобретал целыми изданиями или значительными партиями сочинения Добролюбова, Лассаля (том I), Маркса (I том «Капитала») и других и распространял их при содействии разных агентов по провинции. Помимо того, кружком распространялись сочинения Чернышевского (в заграничном издании), Герцена, Бакунина и других. Этот же кружок издавал и распространял некоторые книжки, составленные по его инициативе специально для народа, например: «Дедушка Егор», «Митюха», «История французского крестьянина», «О мученике

* Впоследствии я узнал, что это был не первый арест Волховского. За год или за два перед этим он привлекался вместе с Г. А. Лопатиным и некоторыми другими еще по делу просветительного общества «Копейка» и уже тогда высидел несколько месяцев за решеткой.²⁴

Николае» и др. Так как в числе инициаторов этого кружка был Марк Натансон, который был знаком со мною еще в Медицинской академии, то по его просьбе я и явился одним из агентов по этой части в Одессе, что известно было и Волховскому, выразившему желание активно участвовать в этом деле.

На другой же день я посетил Волховского на его скромной, более чем бедно обставленной квартире, помещавшейся, кажется, на Большой Арнаутской улице.

Не скрою, что с первого же посещения я очарован был этим крупным и выдающимся человеком, производившим впечатление глубоко убежденного и беззаветного революционера, совершенно порвавшего с «ветхим человеком» и со старым миром — миром буржуазной эксплуатации и бюрократически самодержавного насилия — и предоставившего все свои силы, весь свой ум и все свои выдающиеся способности борьбе за мир новый — грядущий, еле намечающийся еще в самых общих, довольно неопределенных очертаниях...

С первого же знакомства к Волховскому невольно привлекала оригинальность его блестящего ума и отсутствие всякой шаблонности, всяких банальных и громких фраз. Игривое, временами блестящее остроумие, тонкий юмор, мастерская, можно сказать, артистическая передача манер лиц разных положений и рангов, их выражений, жестов, тона, нежное, почти любовное отношение к друзьям и товарищам, в особенности к тем из них, которые пострадали за свои убеждения и удостоились тернового венца, — все эти редкие и ценные качества были отличительной чертой Феликса Вадимовича, которая весьма выгодно выделяла его из среды окружавших его лиц обычного среднего уровня.

Волховский был женат. По окончании нечаевского процесса он женился на Марье Осиповне Антоновой, игравшей видную роль в московских студенческих кружках во второй половине шестидесятых годов. Как и Феликс Вадимович, она привлечена была к нечаевскому делу, но после трех-или четырехмесячного заключения при одном из московских полицейских участков она освобождена была совершенно и от суда, и от следствия. Однако и этого сравнительно непродолжительного заключения в отвратительном сыром помещении было вполне достаточно для того, чтобы нажить серьезнейший ревматизм и порок сердца, от которого она спустя несколько лет скончалась за границей в больших мучениях. Полечившись вместе с Волховским некоторое время в Крыму, она немного поправила свое здоровье, но почти не владела ногами и была прикована к своей комнате, которую она редко оставляла. Ее выдающийся ум, твердый и решительный характер, ясное и определенное мирозерцание сразу бросались в глаза. В Феликсе Вадимовиче и Марье Осиповне я в самое короткое время приобрел двух надежных друзей... Волховскому предстояло во что бы то ни стало «устроиться».

Необходимо это было прежде всего потому, что нужно было существовать, а никаких средств ни у него, ни у жены его не было, и при этом он был слишком щекотлив и щепетилен, чтобы прибегать к материальной помощи других, хотя бы и самых близких людей, для себя лично. А между тем, как люди с сильно подорванным здоровьем, Волховские нуждались и в сносной обстановке, и в здоровой питательной пище, а зачастую — и во врачебной помощи. Помимо этого, для Волховского, как для человека «отмеченного», бывшего «нечаевца», хотя и «оправданного», был очень важен «определенный род занятий», чтобы не быть постоянно «на-чеку» у «недреманного ока», бдительность которого только и могла бы в слабой степени быть парализованной «служебным положением».

В этом отношении для Ф. В. оказался весьма полезным тогдашний одесский городской голова Н. А. Новосельский, к которому у Волховского были рекомендательные письма...

Н. А. Новосельский был, бесспорно, одним из самых выдающихся и талантливых городских голов Одессы, — человек без обычных шаблонов, с солидными практическими знаниями и широким кругозором. Он хорошо знаком был с городским самоуправлением за границей и гордился званием «лорд-мера» третьего русского города — «маленького Парижа». К сожалению, в нем преобладала жилка проектера и безбрежный размах «широкой русской натуры».

Новосельский умел сам работать и умел находить способность эту и в других. С первой же встречи он оценил Волховского и понял, что он в нем может приобрести серьезного и полезного сотрудника. Сначала он предложил ему временную у себя работу — приведение в порядок его обширной и чрезвычайно ценной библиотеки. Но вскоре несколько остроумно-едких и деловитых фельетонов, появившихся в «Новороссийском Телеграфе» (под редакцией Серебряникова) и посвященных думским заседаниям²⁵, показали Новосельскому, что Волховский может принести большую пользу при серьезной разработке многих вопросов муниципальной жизни, всецело поглощавшей тогда внимание Новосельского, мечтавшего о покрытии Одессы мостовыми и тротуарами, об устройстве водопровода и канализации, о введении газового освещения и т. п., — и Волховский назначен был частным секретарем при одесском городском голове.

Феликс Вадимович вздохнул тогда свободнее. У него развязались немного руки. Теперь он мог отдаться более спокойно широкой общественной деятельности, к которой он так стремился. Создалась и более благоприятная для этого внешняя обстановка.

Мы почти ежедневно виделись, расширяли наши общие знакомства как в среде студенчества, так и в других интеллигентных кругах; с каждым днем мы все более и более сближались на общей работе²⁶.

Пророчество Желябова сбылось. «Богитишевская история» сослужила, действительно, службу «крещения» новороссийскому студенчеству. Оно стало более компактным, более корпоративным. Лучшим показателем в этом отношении могла служить студенческая кухмистерская, контингент посетителей которой постоянно рос и ширился.

К сожалению, сфера интересов одесского студенчества была еще очень тесна и узка, они не выходили почти за пределы чисто студенческих дел. Большинство одесских студентов относилось почти совершенно индифферентно к окружающей политической и общественной жизни. В области экономических и социальных вопросов студенты, за весьма немногими исключениями, были почти полные профаны; область эта почти никого из них вовсе не интересовала или интересовала очень мало. Студенты — юристы довольствовались экономическими истинами, изрекавшимися с кафедры тогдашним профессором политической экономии и статистики Вольским, относившимся совершенно отрицательно и к Марксу, и к Лассалю, и вообще ко всей новейшей политической экономии, на которой он к тому же очень мало и весьма бегло останавливался. Присутствуя часто при беседах на общественные темы, мы иногда просто поражались легковесностью багажа студентов (даже последних курсов) в политико-экономической области.

Желая хоть сколько-нибудь бороться с политически-общественным индифферентизмом одесского студенчества и пробудить в нем хоть слабый интерес к общественной и государственной жизни, мы с Волховским решили издавать подпольно рукописный еженедельный журналчик «Вперед» при постоянном сотрудничестве Волховского, Ж[елтонов]ского и моем. Я должен был взять на себя разработку общественных и экономических вопросов, Волховский принял на себя составление руководящих статей по политическим вопросам и заведывание отделом поэзии, а Ж[елтонов]ский взял на себя руководство феллетонным отделом. Редакторами были Волховский и я, причем на меня возложена была обязанность «составления» номера и наблюдение за аккуратным и своевременным «выпуском» его в свет, т. е. наблюдение за обязательным появлением номера каждое воскресенье около полудня на столе студенческой кухмистерской.

Необходим был интеллигентный переписчик с красивым и четким почерком, который, идейно преданный делу, отдавал бы бескорыстно журналчику субботний день и субботнюю ночь и который, вместе с тем, был бы настолько скромнее, чтобы на молчание его можно было вполне положиться. Такого я нашел в лице своего земляка М...на, с которым я сблизился еще в Херсоне в одном из кружков самообразования. Затем необходимо

было лицо, которое само в кухмистерской совсем не бывает и студентам мало знакомо и которое являлось бы туда лишь в воскресенье утром и вручало бы номер журналчика жившему в кухмистерской Ковальскому, на скромность которого также можно было безусловно положиться; эту роль, по просьбе Ж[елтонов]ского, приняла на себя ныне уже покойная Л. С. Маркевич, жена учителя гимназии А. И. Маркевича (впоследствии профессора Новороссийского университета).

У меня, к сожалению, не сохранилось ни одного номера этого журналчика; сомневаюсь, чтобы его можно было теперь где-либо найти. Выпускали мы его в двух экземплярах, которые лежали оба до поры до времени в кухмистерской, а затем исчезали; человека два-три переписывали его для себя. Если бы таковой (хоть в нескольких номерах) у кого-либо сохранился, было бы очень желательно, чтобы его предоставили в распоряжение какого-нибудь исторического журнала. Не думаю, конечно, чтобы он мог представить теперь интерес современности, но было бы желательно сохранение его как маленького исторического памятника того времени.

«Вперед» (случайный предтеча другого — крупного, печатного — «Вперед») выходил, кажется, в течение четырех или пяти месяцев. С пунктуальностью часового механизма он появлялся каждое воскресенье на столе кухмистерской. Публика относилась к нему с большой симпатией и с нетерпением ожидала его выхода, причем в воскресные дни специально для него являлись в кухмистерскую и многие такие, которые там не столовались. Читали его сначала совместно — громко, а затем, в остальные дни, отдельно.

Дело велось очень конспиративно. Авторы статей оставались (а некоторые и до сих пор остаются) для всех (кроме редакции) неизвестными, — кое-кто догадывался лишь об авторе той или другой статьи, но дальше догадок дело не шло. Об участии Л. С. Маркевич и М...на решительно никто, кажется, кроме редакторов журналчика и до нынешнего дня не знал, и если я сообщаю это теперь, то потому, что идет уже четвертая давность; Л. С. уже покойная, и я счел долгом своим отметить здесь эту услугу ее передовому движению, которая в семидесятых годах осталась далеко не единственной.

В серьезном отделе журналчика освещались самым популярным образом разные отделы политической экономии: труд, капитал, законы спроса и предложения, ценность, цена, рабочая плата, прибавочная стоимость, — эти и другие вопросы излагались со всевозможных точек зрения: в освещении Ад. Смита, Рикардо, Дж. Стюарта Милля, Рошера, Бастиа, Чернышевского, Маркса, Лассалья и других. В этом же отделе популяризовались, насколько припоминаю теперь, теории Сен-Симона, Фурье, Оуэна, Прудона и др. Передовые статьи посвящались вопросам дня — как внутренней, так и иностранной жизни.

Фельетон, под общим заголовком «Магазин редкостей», носил сатирически-юмористический характер; в нем зло осмеивались все пошлые проявления окружающей мещанской жизни — преимущественно сцены и эпизоды из мира профессорского и студенческого. Самый обильный материал для фельетона доставлял студент, весьма популярный тогда, как и впоследствии, под именем «Жак»²⁷, прославившийся спустя много лет, по какому-то странному недоразумению, как «известный русский социолог»: субъект этот производил необычайную сенсацию тем, что его ежедневно аккуратно привозил на все лекции француз-гувернер, остававшийся при нем до конца лекций и затем аккуратно отвозивший его домой²⁷. Отдел поэзии на девять десятых наполнялся самим Волховским и пользовался большими симпатиями читателей.

Редактором журнальчика в строгом смысле был, собственно, один Волховский, который проявил в этом отношении много умения, такта и кропотливого труда. Количество сотрудников «Вперед» постоянно росло. Замечалось ревностное желание всячески поддерживать «свой» журнальчик. Разные авторы вручали рукописи свои Ковальскому, который через посредство Л. С. Маркевич передавал их неизвестной и ему редакции. Автором значительной части рукописей являлся сам Ковальский, который был большим поклонником «Вперед» и усиленно его рекламировал, неоднократно намекая мне, что он догадывается, что я и Волховский — главные работники в журнале.

Чрезвычайно сожалею, что за дальностью лет и ослаблением памяти я не в состоянии воспроизвести теперь на память хоть некоторые статьи из этого журнальчика. Специфические условия русской жизни не позволяли хранить рукописи. Журнальчик «Вперед», если не ошибаюсь, просуществовал до самого отъезда моего за границу...

3

Репутация моя, как «педагога», твердо упрочилась в Одессе, и уже на 2-й год моего пребывания здесь «уроки» материально меня вполне обеспечивали. Тогда частные уроки в Одессе хорошо оплачивались, и я, посвящая им 5—6 часов в день, зарабатывал 120—150 р. в месяц. Но частная «педагогическая» деятельность мало меня удовлетворяла. Я чувствовал потребность в более широкой общественной деятельности и сознавал, что для той среды, в которой я мог бы работать, мне, в интересах плодотворности самой работы, важно занять определенное социальное положение. Во мне созрел план держать при Новороссийском университете экзамен на кандидата прав. При этом я полагал, что смогу подготовиться к этим экзаменам в 4—5 месяцев, подвергаясь испытаниям по некоторым предметам весною (вместе со студентами), а по другим — после каникул.

Предстояло получить прежде всего п р а в о быть допущенным к экзаменам. Для этого необходимым условием было — представить ректору свидетельство о политической благонадежности. Для лица, состоявшего под «гласным надзором» полиции, это была задача довольно мудреная. Но тогда, в первой половине семидесятых годов, мы не ушли еще так далеко, как теперь, в своей «политической зрелости», и задача эта выполнена была вполне удовлетворительно: одесское полицейское управление выдало мне без всяких затруднений удостоверение в том, что я, такой-то, «с о с т о я щ и й п о д г л а с н ы м н а д з о р о м п о л и ц и и», ни в чем политически неблагонадежном замечаем не был! Когда удостоверение это представлено было мною ректору, последний с сочувственной улыбкой заявил, что теперь с его стороны никаких препятствий не встречается и я могу приступить к экзаменам.

Однако я плохо рассчитал. Осилить всю премудрость юридического факультета в столь короткое время оказалось все-таки трудным. Самое же главное было то, что я неудачно подразделил предметы для экзаменов, и к числу тех предметов, которые мною отложены были на осень, я отнес и римское право, о котором я и понятия не имел. И должно же было па-грех случиться так, что как раз на первом же экзамене по немецкому языку попался мне критический разбор одного произведения римского права, пестревший специальными терминами и цитатами! Я, естественно, споткнулся, — большую часть терминов оставлял без перевода. Деканом юридического факультета был тогда сподвижник Сперанского профессор Куницын, 90-летний старик; он потребовал от меня перевода на русский язык терминов и цитат, поясняя, что «юрист не может» не знать их. Между нами начались пререкания. Напрасно я объяснял Куницыну, что в данный момент происходит экзамен по немецкому языку и проверяется лишь знание последнего и что о знаниях по римскому праву речь может быть лишь потом — на экзамене по этому предмету, — Куницын язвительно возражал, отпуская на мой счет колкости. Пошли между нами пререкания, слово-за-словом, я вспылил и попросил у декана обратно свои бумаги. На этом экзамены мои окончились, хотя коллеги убеждали меня вступить в переговоры с Куницыным, который, в конце-концов, уступит.

После этой неудачи я стал мечтать о «загранице» и о заграничном паспорте.

Такие паспорта выдавали тогда из канцелярии градоначальника по представлению надлежащего удостоверения из полицейского управления о неимении к тому препятствий со стороны последнего. Странно было, конечно, думать, что подобное удостоверение может быть выдано тем самым полицейским управлением, под гласным надзором которого я состоял, но люди опытные уверяли, что «в Одессе все возможно» и что надо попытаться. Я набрался решимости, — написал соответствующее

прошение, наклеил на него гербовые марки, явился к заведующему паспортным столом и вручил ему оное. Мне предложено было явиться на другой день.

Являюсь. Чиновник тычет мне прошение обратно и внушительно говорит: «Гербовых марок нет». На наивное возражение мое: «марки наклеены», — чиновник еще более внушительно говорит: «Говорю вам, нет марок, — принесите, а за справкой дело не станет».

Обращаюсь в недоумении к «сведущему» человеку. Тот расхохотался над моей «наивностью» и наставительно говорит мне: «Поймите же — этот столоначальник по штатам не существует, никакого жалования он не получает, а у него еще два помощника, которым ему приходится платить «из своих средств». Это факт общеизвестный, как общеизвестно и то, что при подаче прошения о «справке» необходимо приложить два-три рубля и, в самом крайнем случае, один рубль, — и тогда справка выдается безотлагательно».

Просветившись, являюсь на другой день вновь в полицейское управление к заведующему паспортным столом, вложив предварительно в свое прошение две рублевые бумажки, и, вручая столоначальнику свое прошение, отчеканиваю: «Марки вложены в прошение». Чиновник своей опытной рукой ощупал бумажки, заявил, что теперь все «в порядке», и велел притти на другой день за справкой.

Действительно, я на другой день получил справку и представил ее при прошении в канцелярию градоначальника о выдаче мне заграничного паспорта, приложив тогдашнюю его стоимость — десять рублей. Но тут по какой-то непредвиденной случайности дело сорвалось. Меня водили около недели; наконец, пригласили в кабинет градоначальника Бухарина, который в суровых выражениях указал мне, что лица, состоящие под надзором полиции, не имеют права отлучаться за границу, — чего я не мог не знать и, стало быть, я хотел его обойти, — и что в наказание за это следует отнять у меня все представленные документы. Я возразил, что раз я обратился в полицейское управление за справкой о неимении препятствий к выезду, то я, очевидно, в полицейском надзоре препятствия в этом не усматривал, да и само полицейское управление, выдав мне справку, смотрело, очевидно, на дело так же, как и я. Поняв всю неловкость своего положения, Бухарин принялся объяснять мне, что справки полицейского управления относятся-де лишь к долговым обязательствам и, раз на просителе таковых нет, справка ему выдается, но это не имеет никакого отношения к полицейской поднадзорности. Затем, смягчившись, он приказал возвратить мне мои документы и посоветовал ходатайствовать у жандармских властей о снятии полицейского надзора, и тогда-де к выезду за границу препятствий уже не встретится.

В то время начальником одесского жандармского управления

состоял полковник Кноп, который до 1874 года по части политического сыска никакого рвения не проявлял, не имея к этому никаких побудительных мотивов. Его даже очень мало знали в Одессе. Когда-то он был студентом Дерптского университета и званием этим чрезвычайно гордился.

После инцидента с заграничным паспортом я обратился к Кнопу с просьбой посодействовать снятию с меня полицейского надзора.

Кноп принял меня утонченно вежливо и повел со мною длинную беседу на политические темы. Говорил он очень плавно, с нотками убежденности в голосе. Он объяснял мне, что на жандармскую службу он, бывший студент Дерптского университета, пошел не ради карьеры, а «по принципу» и в силу убеждения, что на этом именно посту можно быть полезным: правительство наше настроено-де безусловно либерально, и либералы, к каковому он себя причисляет, должны помогать ему в осуществлении его благих намерений.

— Ведь вот, — патетически восклицал Кноп, — правительство даровало России городское и земское самоуправление, — разве общество наше оказалось созревшим для этого? Всюду безобразия, злоупотребления, хищения. Будьте уверены, — продолжал Кноп с пафосом, — что если бы правительство убедилось, что общество созрело для конституции, оно даровало бы ее ему без всяких колебаний, так как оно воодушевлено лишь одним стремлением к благу народа...

Долго говорил на эту тему Кноп, не встречая почти никаких реплик с моей стороны. Наконец, он перешел к предмету моего ходатайства.

— Видите ли, — заметил он, — я очень хорошо осведомлен о вашей жизни в Одессе. Известно мне ваше участие во всех студенческих делах, знаю я и о вашем участии в «богипичевской истории», об участии вашем в проводах Желябова и Белкина и т. д. Но я всему этому не придаю серьезного значения. И вот вам доказательство. Сегодня же я войду с представлением в третье отделение (это знаменитое «отделение» тогда еще было в апогее своей славы) о снятии с вас полицейского надзора. Ради соблюдения формальности вы сегодня же подайте об этом коротенькое прошение генерал-губернатору, хотя он в сущности никакого значения не имеет и представление его не успеет даже еще дойти до Петербурга, как третье отделение снимет с вас полицейский надзор.

Действительно, по прошествии трех-четырех недель я был приглашен в жандармское управление и Кноп объявил мне о снятии с меня полицейского надзора, о чем я официально извещен был канцелярией генерал-губернатора лишь спустя месяц или полтора²⁸.

И вот четырехлетний полицейский надзор за участие в «студенческой истории» окончился. Я мог уже свободно располагать собою.

Я стал собираться в заграничный путь. Как ни убеждали меня Волховские и другие приятели остаться в России, но я твердо решил поехать за границу, посмотреть свет божий, посмотреть, как живут люди за пределами нашей родины, немного поучиться.

Теперь заграничный паспорт выдан был мне без всяких затруднений, и в конце 1872 года я выехал за границу, в Вену.

4

«Свободный» Венский университет оказался далеко не таким «свободным», каким я рисовал себе заграничные университеты, а отношения университетского начальства к студенчеству весьма-таки далеки от идеальных.

Декан медицинского факультета поразил даже меня своим небрежно-надменным тоном, какого наше российское университетское начальство и в то даже время не позволяло себе по отношению к студентам. Он начал употреблять по отношению ко мне местоимение «Er», а получив от меня в ответ замечание, что здесь нет «Er», а «Sie», он переменял тон, избегая вовсе в дальнейшем каких-либо местоимений. Он потребовал от меня свидетельство об окончании полного курса гимназии с официально засвидетельствованным в посольстве немецким переводом этого свидетельства. Дело могло бы затянуться в долгий ящик, так как я не запасся свидетельством. Выручил меня профессор Бенедикт, с которым я познакомился по приезду в Вену: он представил через меня декану свое письменное ручательство в том, что требуемое свидетельство будет представлено ²⁹.

Я был зачислен в студенты Венского университета по медицинскому факультету и стал посещать лекции знаменитого анатома Гиртля (учителя нашего Грубера), лекции по ботанике, химии и некоторым другим предметам, уделяя больше всего времени химии, работая в лаборатории у профессора Шнейдера ежедневно каждое утро.

Венские студенты—немцы—при ближайшем с ними знакомстве поражали меня почти полным индифферентизмом своим к экономическим и социальным вопросам. Как ни невысок был средний уровень развития тогдашнего студенчества Новороссийского университета, но и тот был неизмеримо выше среднего уровня развития венских студентов, из которых многие не имели никакого представления ни о Марксе, ни о Лассале и имели даже самое смутное представление о широком социальном движении, совершавшемся у них, так сказать, под самым носом и всецело захватившем меня с первых же дней пребывания моего в Вене.

Венская рабочая партия незадолго лишь перед этим зародилась и делала очень быстрые успехи в своем развитии. Лидерами ее были тогда Обервиндер и рабочий Андреас Шай, между которыми возник тогда конфликт, вызвавший бесчисленный ряд

«народных собраний», о которых чуть ли не ежедневно оповещалось в тысячах обширных плакатов, вывешивавшихся на всех улицах, и в местных партийных органах — «Volkswille» и «Gleichheit».

После почти тюремной жизни обывателя в России, где всякие собрания строжайше запрещались, где за сборище в двенадцать человек для обсуждения самых невинных вопросов грозила тюрьма и каторга, где за раздачу рабочим двух-трех книжек в сущности невинного экономического содержания грозили суровые кары и всякие скорпионы, — венские «народные собрания», на которых присутствовали сотни и тысячи народа и на которых в самой популярной форме трактовались наиболее острые вопросы социально-экономического характера, с первых же дней всецело увлекли меня, и я стал их неизменным посетителем. «Собрания» эти были далеки от совершенно свободных собраний: на них обязательно присутствовал полицейский комиссар, которому, по конституции, предоставлялось право после трехкратного предостережения закрывать собрания и который нередко правом этим фактически пользовался, временами даже злоупотребляя им, закрывая собрания по самому пустому поводу. На самый факт возможности (не в силу разрешения, а в силу простого зазвучания) подобных многолюдных собраний, самый факт возможности подвергать публично широкому анализу экономические и социальные основы современного общества, — уже один этот факт не мог не подействовать на меня самым возбуждающим образом.

Помимо общих «народных» собраний, в Вене ежедневно устраивались во многих пунктах собрания отдельных профессиональных Vereiнов, на которых обсуждались профессиональные дела и читались рефераты по самым серьезным экономическим и социальным вопросам. В громадном большинстве случаев рефераты читались рабочими же, которые поражали меня детальным изучением трактующего вопроса, тонкостью анализа и необыкновенно популярным изложением. Не говоря уже о Шае, представлявшем собою тип истинного мощного народного трибуна и большого знатока великого творения Карла Маркса, многие средние рабочие удивляли своим природным красноречием, для проявления которого необходимы специфические условия, и литературностью своего изложения.

Я коротко познакомился с Шаем, Вернером и некоторыми другими вожаками рабочей партии. С жадностью набросился я на периодические органы последней, присутствовал на всех народных собраниях и на многих профессиональных. На собрания эти я усиленно приглашал русских молодых ученых, рабочих, которых тогда в кабинетах венских корифеев-профессоров, из числа коих для меня особенно памятли остались приват-доцент Киевского университета М. Е. Мандельштам и магистр Московского университета по кафедре государственного права Ро-

Рогович. Они оба более отчетливо запечатлены в моей памяти, как представители двух резко противоположных направлений ума и чувства: первый был человек с широким прогрессивно-общественным кругозором, просвещенный гуманист и «лассальянец» по своим социальным воззрениям; он много и весьма продуктивно работал в кабинете профессора-окулиста, но это не мешало ему интересоваться и волноваться общественными задачами своего поколения как в России, так и за границей. Рогович, наоборот, поражал и русских, и немцев своей чиновничьей сухостью, формально бюрократическим строем мыслей, филистерски ограниченным кругозором и полным индифферентизмом к широкой жизни, кипевшей и волновавшейся вокруг него, так сказать, у самого его носа.

Рогович был большой поклонник Каткова и не пропускал ни одного удобного случая, чтобы убеждать нас в том, что он из нас наиболее демократичный по душевному строю: по личным своим убеждениям он-де даже республиканец, но так как русский народ безусловно монархический, то он, Рогович, как истинный демократ, считает своим долгом стоять за монархию и неограниченную самодержавную власть*. Из всех русских это был единственный, которого я никогда на собрания не приглашал, что не мало его обижало...

Русских студентов на медицинском факультете в Вене тогда, кажется, не было; но акушерство при знаменитом венском Allgemeines Krankenhaus изучали некоторые русские девушки, с которыми я близко сошелся; они, как и я, усердно посещали народные собрания и пользовались на них общими симпатиями рабочих.

Главарь тогдашней венской социал-демократической партии проявляли вообще очень большой интерес к русской жизни и русским делам.

В «русских нигилистах» (это было тогда за границей нарицательное имя для русской радикальной молодежи) они видели грядущую крупную силу, которой суждено сыграть громадную роль в переустройстве европейского общества на новых социально-экономических началах. Они чрезмерно преувеличивали силу и значение русских «нигилистов» и зачастую имели самое фантастическое о них представление, — благодаря тому, что наша русская печать тогда еще в гораздо большей степени, чем теперь, задыхалась под тяжестью всевозможных «усмотрений» и обречена была на гробовое молчание обо всем, что не носило на себе печати шаблонности и мещанской обыденности и что могло заинтересовать живых людей...

* М. Е. Мандельштам впоследствии много лет оставался очень популярным профессором Киевского университета и серьезным общественным деятелем, занявшим выдающееся место в сионистской организации. Рогович же был вполне вознагражден за свой «истинный демократизм»: он стал столпом «союза русского народа», служа ему верой и правдой на высоких административных постах⁸⁰.

Так как рабочие собрания затягивались нередко далеко за полночь, когда прекращалось уже всякое сообщение в общественных экипажах, и мне приходилось возвращаться пешком в Josephstadt из разных предместий и отдаленных частей города, которого я не знал, то на первых порах меня с любезной обязательностью провожали некоторые участники собрания — рабочие, жившие поблизости к Josephstadt'у. И вот провожатые мои по дороге постоянно расспрашивали меня о разных фактах из русской жизни. Так, неоднократно задавали мне они вопросы о Каракозове, — правда ли, что он принадлежал к рабочей партии, правда ли, что после своего ареста он откусил себе язык, опасаясь возможности под пыткой проговориться и выдать кого-нибудь, и т. д. Особенно интересовались в то время в Вене Нечаевым и его организацией, ибо как раз тогда в московском окружном суде разбиралось дело по обвинению его в убийстве студента Иванова. Известно, что швейцарское правительство выдало Нечаева русскому правительству под условием судить его в общеуголовном порядке, за простое убийство. Формально условие это было соблюдено, но это, однако, несколько не помешало вместо каторжных работ, к которым Нечаев приговорен был, заключить его в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, в которой после многих лет жестокого и бесчеловечного заключения он нашел свою смерть...

5

В числе русских, с которыми я познакомился в Вене, был артиллерийский капитан Лобов, бывший ученик (по Артиллерийской академии) П. Л. Лаврова, большим поклонником которого он неизменно оставался, состоя в постоянной с ним переписке. Лобов пользовался продолжительным отпуском и лечился в Вене.

В виду его болезни я почти ежедневно посещал его, и он посвящал меня в интимную сторону жизни русских за границей.

От него я узнал, что петербургскими революционно-социалистическими кружками и главным образом кружком чайковцев окончательно решено издавать за границей, и именно в Цюрихе, периодический русский орган под названием «Вперед» под редакцией П. Л. Лаврова и при постоянном сотрудничестве Смирнова, Подолинского и других, — по программе, тщательно разработанной и многократно пересмотренной и переработанной, экземпляр которой я от него получил.

Как-то Лобов передал П. Л. Лаврову сообщенные мною ему (со слов Волховского) факты из последнего периода жизни Г. А. Лопатина, которым Лавров чрезвычайно интересовался, считая его одним из самых видных и крупных революционных деятелей того времени. Лавров просил Лобова передать мне свою признательность за дорогое для него сообщение и вместе с тем просьбу его, если я буду в Белграде, раздобыть там подходящего корреспондента из Сербии для журнала «Вперед».

В Белград же я собирался, чтобы навестить старшего своего брата М[ихайла] Л[азаревича], доставившего мне возможность поехать за границу и поступить в Венский университет. Он жил за границей с конца 50-х годов и состоял в Белграде сотрудником местных полуофициальных изданий.

Миссия П. Л. Лаврова облегчалась для меня тем обстоятельством, что я был знаком с некоторыми студентами сербами, воспитывавшимися в Венском университете и Политехникуме, большими патриотами и друзьями русских. Как раз вскоре после моего приезда в Вену оттуда возвращался на родину учившийся за границей инженер Пашич *, пользовавшийся большой популярностью в среде сербской колонии в Вене: его чествовали пирушкой, на которую и я был приглашен в качестве русского студента. Когда пошел тост за тостом со всевозможными сердечными пожеланиями Пашичу на предстоящем ему служении родине (сербская молодежь — студенты и рабочие — возлагала тогда на него очень большие надежды) и предложен был также в моем лице тост за русскую передовую молодежь, мне пришлось ответить тостом же в честь сербской молодежи и Пашича. Вот на этой пирушке я познакомился с некоторыми белградскими сербами, которые и снабдили меня, когда собрался в Белград, соответствующими указаниями, которые пригодились мне при исполнении поручения Лаврова.

Отправился я из Вены по железной дороге на Будапешт. Этот крупный и оригинальный европейский город очаровал меня своим чудным местоположением и великолепной панорамой, представляемой им по обеим сторонам величественно протекающего здесь Дуная. Так как я тогда увлечен был до самозабвения рабочим движением, то я не преминул заручиться в Вене рекомендацией к одному пеншскому портному, принадлежавшему к формировавшейся тогда и в Венгрии социал-демократической партии. Во время посещения этого портного в его крайне бедной квартирке, ютившейся в окраинной части города, я был поражен, когда в числе очень немногих фотографических карточек, развешенных на почти голой стенке единственной комнаты, вдруг оказалась очень хорошей работы карточка Бакунина, о котором портный отзывался с благоговейным уважением и глубочайшим почтением, зная подробно биографию этого «саксонского короля». С большим интересом собеседник мой расспрашивал меня о русских и России, а вечером повел меня на одно народное собрание.

На другой день я отправился на пароходе Австро-Дунайской компании в Белград. Пароход остановился в пограничном австрийском городке — крепости Землине, откуда я на маленьком пароходе переехал в Белград.

* Этот будущий премьер-министр обращал тогда на себя внимание лишь оригинальной плотной фигурой с длинной черной бородой. Говорил он плохо по-русски и не лучше по-немецки. Его антагонисты утверждали, что он плохо говорит и по-сербски...

На белградской пристани я очутился перед родной картиной: суровый таможенный чиновник принялся тщательно осматривать мой багаж, а другой чин потребовал у меня паспорт и, не возвращая его мне обратно, объяснил, что паспорт будет передан в русское генеральное консульство, из которого я и смогу получить его, когда буду уезжать из Белграда.

Когда таможенный досмотр был окончен, носильщик взвалил на свои мускулистые полуобнаженные плечи мой чемодан и, поднявшись на гору, двинулся со мною к квартире моего брата.

Столица сербского княжества поразила меня своими мизерными размерами и весьма скромными постройками. Не говорю уже о наших губернских городах; но даже и такие уездные города наши, как Елизаветград, Кременчуг и т. п. могли бы заткнуть ее за пояс (говорю, конечно, о первой половине семидесятых годов): по сведениям за 1895 год в Белграде числилось едва 59.000 жителей, а в 1873 году население его, я думаю, не превышало 40.000 человек. Постройки были крайне мизерные. Исключение составляли «конак» князя и здание Великой школы. Почти все дома были одноэтажные (очень немногие — двухэтажные), деревянные, весьма незатейливой архитектуры. На главных улицах попадались еще, хоть и очень немногие, здания европейского облика. На второстепенных же, и в особенности на окраинных, пестрели почти исключительно глинобитные мазанки с деревянными и даже соломенными кровлями и глинобитным полом. Улицы все были узкие и немощеные (кроме двух-трех). Одна или две небольшие гостиницы, несколько кафе, в которых можно было получить за 5 пиастров чашечку чудного ароматного турецкого кофе, — вот и весь город. Незадолго перед этим, правда, в Белграде отстроен был очень миленький театр, на сцене которого подвизалась очень недурная драматическая труппа.

Мне бросилась в глаза крайняя патриархальность нравов «столицы». Возле некоторых жилищ наружные двери открыты были настежь и подпирались опрокинутыми стульями: оказалось, что, по принятому обычаю, этим предупреждается, что никого дома нет, и чтобы гости понапрасну не трудились заходить туда! Шел я как-то с братом по улице; останавливает его полуоборванный субъект и дает ему прочесть какую-то бумагу: оказалось, что он приговорен одним судьей внутри княжества к годичному тюремному заключению; его снабдили «бумагой», и он разыскивает тюрьму, чтобы отбыть в ней свое наказание...

В общем население производило приятное впечатление: рослые, широкоплечие, пропорционально сложенные, с темными волосами и длинными усами, сербы в большинстве своем отличались воинственной и горделивой осанкой.

Помимо правительственной консервативной партии, в Сербии существовала тогда еще партия радикальная («Омладина») и напредняцкая — «прогрессивная», а также (хотя и в самом зачаточном состоянии) социалистическая.

Я полагал, что для журнала «Вперед», в виду его задач, целесообразно заручиться сотрудниками-корреспондентами из представителей обеих последних партий — социалистов и радикалов. Я познакомился с недавно перед этим окончившим цюрихский политехникум молодым инженером Велимировичем, который примыкал к социалистической группе. Он произвел на меня очень хорошее впечатление своей простотой, искренностью и во всем сквозившей глубокой любовью к своей родине. Долгое пребывание за границей превратило его в совершенного европейца по манерам, привычкам и обращению. Благодаря же тому, что он в Цюрихе в течение нескольких лет вращался в среде русских учащихся, с которыми он был очень близок, ему не чужды были русские интересы, и он говорил по-русски совершенно свободно и даже литературно. В Цюрихе он женился на швейцарке, с которой незадолго перед этим вернулся в Белград, и поступил здесь на службу.

Велимирович посвятил меня во внутреннюю политику княжества. На княжеском престоле сидел тогда еще очень юный Милан IV (впоследствии король Милан I). Лишь 10 августа 1872 г. последний объявлен был совершеннолетним и формально вышел из-под опеки регентов: Ристича, Блазнаваца и Гавриловича, которыми он был окружен в качестве правителей, когда он, внучатный племянник князя Милоша Обреновича, после убийства последнего (в 1868 г.) вызван был из Парижа, где он воспитывался в лицее Людовика Великого. Фактически регенты (главным образом Ристич) продолжали еще править княжеством, но Милан IV уже показывал свои когти и давал себя чувствовать населению ясным стремлением своим к абсолютизму и нарушению конституции, притеснением печати и преследованием всех свободных проявлений жизни. Уже тогда, с первых же шагов, началась непопулярность Милана, и тогдашний молодой секретарь русского генерального консульства в Белграде (кажется, князь Ц[еретеле]в), когда я явился к нему за паспортом, очень зло и жестко отзывался о Милане, как об ограниченном, тупом, злом и самовластном самодуре...

Я узнал от Велимировича, что на обратном пути из Белграда я встречу на пароходе из Землина с самым выдающимся в то время молодым сербским писателем Марковичем³¹. Его правительство зло преследовало; он приезжал в Землин, чтобы отдаться в Белграде «в руки правосудия», но узнав, что ему грозит годичное тюремное заключение, которое для него — в виду совершенно расстроенного его здоровья и отвратительных условий режима в белградской тюрьме — было бы смертельно, он изменил свое решение и решил вернуться в Венгрию — в Новый сад, где он временно проживал.

Велимирович охотно принял на себя обязанности корреспондента из Сербии в журнал «Вперед» и условился со мною насчет псевдонима. Он же порекомендовал мне с этой целью одного из

видных «омладинцев», который также мог бы быть полезным в качестве сотрудника для «Вперед». За дальностью лет, я, к сожалению, забыл фамилию этого «омладинца», который произвел на меня впечатление затравленного волка. Он подвергался бесчисленным преследованиям за свой безграничный и пламенный патриотизм и незадолго лишь перед этим вернулся из изгнания. Со скорбью и в довольно резких выражениях он рассказывал мне о возникающей в Сербии социалистической партии; он находил ее по меньшей мере несвоевременной и не соответствующей условиям тогдашней сербской жизни*, — даже вредной, так как она раздробляет оппозиционные силы, объединение которых очень важно для успешной борьбы с правительством и его произволом. «Омладинец» этот принял также на себя обязанности корреспондента для «Вперед».

Через несколько дней я оставил Белград.

Как только пароход Австро-Дунайский компании отчалил из Землина, из нижней каюты** поднялся на палубу довольно молодой еще человек, весьма интеллигентной наружности и заметно изможденного вида. От приятелей, приехавших к нему в Землин из Белграда, он уже знал обо мне, да и я, в свою очередь, узнал его по подробному описанию Велимировича: это был Маркович, с которым мы познакомимся и пробеседовали до самого Нового сада. Он воспитывался в Московском университете, где вращался во всевозможных студенческих кружках и близко познакомился с М. О. Антоновой (Волховской), от которой я о нем многое слышал и от которой я имел даже к нему некоторое поручение на случай, если б я с ним встретился. От М. О. я знал уже, что Маркович является некоторым образом отцом сербского социализма, который он усердно насаждал в княжестве. Его прозвали даже «сербским Чернышевским», так как он ревностно проводил в Сербии идеи Чернышевского, перевел на сербский язык его примечания к политической экономии

* Спустя слишком двадцать три года, в 1896 году, из общего населения Сербии в 2.312.484 чел. века в городах проживало всего 308.673 человека (13,3%), и образующая при этом масса находилась в самом зачаточном состоянии: 10 паровых заводов, 105 паровых мельниц, 1 небольшая суконная фабрика, 4 кирпичных завода, 3 кожевенных завода, 2 фабрики галунсов и позументов, 1 химическая лаборатория, 2 фабрики металлических изделий и 1 заведение искусственных минеральных вод, — вот к чему сводилась вся фабрично-заводская промышленность сербского королевства даже во второй половине девятых годов!..

** Предосторожность эта была далеко не лишняя. Незадолго перед этим (в марте 1872 года) на австрийский пароход, перед самым отходом его из австрийского Землина, в присутствии пассажиров, в числе которых был и землинский комендант генерал Криз, явился агент белградской тайной полиции в сопровождении сербского жандарма в полном вооружении и с револьвером. Они накинулись на одного из пассажиров, схватили его, свели на пристань, перевели на другой пароход и перевезли для расправы в Белград...

Дж. Ст. Милля, также некоторые другие его статьи и, кажется, даже роман «Что делать». Мне говорили, что он был тогда занят переводом на сербский язык «Исторических писем» Миртова.

Маркович чрезвычайно обрадовался встрече с близким приятелем его старинного друга — Антоновой (Волховской), о которой он сохранил самое светлое воспоминание. Россию он считал своей второй родиной, которую он очень любил и высоко ценил ее молодое поколение, умиляясь в особенности русскими девушками. Расспросив меня подробно о русской жизни, он, в свою очередь, посвятил меня в печальные подробности жизни нежно, страстно и безгранично любимой им Сербии, в жестокости режима регентов, всецело овладевших волею недалекого, злого и развратного молодого Милана IV, грубо-пренебрежительно относившегося к своему народу.

В Новом саде мы расстались. Маркович жил тогда там, принимал близкое участие в издававшемся тогда там (если память мне не изменяет, Милетичем) сербском радикальном органе.

В Пеште я пробыл сутки, сообщил оттуда П. Л. Лаврову о завербованных для его «Вперед» сотрудниках и их псевдонимах и вернулся в Вену.

6

В 1873 году устроена была в Вене пятая всемирная выставка. Она открылась в мае и привлекала массу посетителей, направлявшихся в Вену со всех государств Старого и Нового света.

Наплыв был необычайный *. Не мало приезжало сюда и русских, которых можно было тогда встретить почти на всех улицах, а в особенности на Graben'e (здесь на витринах красовались «запрещенные русские издания»), на Ringstrasse, в Пратере и в русском отделе выставки.

Так как на эту выставку собирались особы русской царской фамилии, то Вена заблаговременно стала наводняться шпионами, преимущественно польскими из Галиции. Особенным искусством не отличались в то, так сказать, дореволюционное время и русские шпионы, галицийско-польские же поражали совершенно своей неловкостью и полной неопытностью и выдавали себя на каждом шагу. Они учредили неусыпный «негласный» надзор не только за всеми проживавшими тогда в Вене русскими подданными, всюду преследуя их своим неловким наблюдением, но и за галицийскими русинами.

В один прекрасный день многие русские (в том числе и я) получили от полицейских комиссаров своих участков приглашение пожаловать к ним с своими паспортами **. Я являюсь к своему

* На этой выставке перебивало около 6.700.000 посетителей; экспонентов было 39.500.

** У меня остановился проживавший в Женеве эмигрант Гольденберг³², работавший в русской типографии в Женеве. Он приехал для свидания с родными, приехавшими на выставку, с пас-

комиссару, предъявляю ему паспорт и прошу объяснить, в чем дело. Конфузаясь и краснея, комиссар завел длинную канитель, стал задавать мне всевозможные вопросы, по которым нетрудно было заключить, что венская полиция посвящена русским III отделением в биографии всех проживавших в Вене русских. Оказалось, например, что комиссару (от времени до времени заглядывавшему в лежавшую перед ним заметку) известно, что я окончил Херсонскую гимназию, состоял студентом Медицинской академии, исключен был из последней за участие в беспорядках, состоял затем под надзором полиции и т. д. Словом, было ясно, что попечительное III отделение не забывает своих клиентов и за пределами отечества и что, бесспорно, суще твует международный союз... полиций!.. Наконец, комиссар, проницательно смотря на меня, поставил вопрос: известно ли мне, что русский царь собирается посетить Венскую всемирную выставку? Я отвечал, что я газеты читаю и, стало быть, все в них сообщаемое для меня не секрет. Тогда комиссар, густо покрасневши от непривычной роли и не отводя от меня глаз, с ударением спросил меня: «А русская колония и вы сами намерены встретить своего государя?» Я резко ему заметил, что вопрос его кажется мне чрезвычайно странным и, по меньшей мере, неуместным: он не русский, и что намерена делать русская колония вся в целом и каждый в отдельности, его совершенно не касается. Сам я об этом даже еще и не думал, и, во всяком случае, не немецкой полиции я буду отдавать отчет в своих планах и намерениях. На этом «беседа» наша с господином комиссаром окончилась; я получил обратно свой паспорт и отправился домой, погруженный в невеселые думы об интернационализме полиции и о крупном прогрессе русской «государственности»...

Чрезвычайно любопытно было то, что в числе приглашенных к полицейскому комиссару оказался и Рогович — этот правый катковист и «принципиальный» поклонник монархического самодержавия. Допрос комиссара крайне удручающим образом действовал на этого «патриота». Он не мог даже понять, как это и он мог попасть под подозрение вкупе бог знает с каким «сбродом». Опасаясь, чтобы как-нибудь случайно «не влопаться» в какую-либо «историю», а главное — опасаясь, как бы не потерять казенную стипендию и не потерпеть ущерб в будущей своей «ученой карьере», он в тот же день быстро уложил свои пожитки и покинул Вену...

За несколько дней перед ожидавшимся прибытием на выставку особ нашей царской фамилии закрыт был для публики всегда и во всякое время доступный для нее сад при дворце, предназна-

портом познанского поляка. Приглашение меня к комиссару побудило его в тот же вечер оставить Вену, что было вполне своевременным. На другой день несколько любопытных явились ко мне за справками о Гольденберге, которого австрийское правительство несколько не церемонилось бы выдать русскому правительству...

ченном для пребывания особ. Обстоятельство это до-нельзя оскорбило мирных и лояльно настроенных венцев. В некоторых демократических (не социалистических) органах появились по этому поводу статьи, далеко не лестные для русского «патриотического чувства». Одна из них, помнится мне, передав этот факт, продолжала приблизительно так: «Венцы недоумевают. Они не могут понять, за что и почему их лишили возможности пользоваться этим садом... Неужели это случилось только потому, что там будет проживать русская царская семья? Неужели же власти сомневаются в присущем венцам чувстве гостеприимства и в умении и готовности их позаботиться о безопасности и удобствах их гостей»... и т. д. Подозрительность и бестактность русских охранных властей дошла даже до того, что из одного отдела выставки под благовидным предлогом на время пребывания в Вене русских особ удален был заведывающий им галицийский поляк. Вообще наделана была масса бестактностей и неловкостей, отнюдь не способствовавших поднятию престижа нашего режима и вызывавших скорбь и осуждение даже со стороны убежденных и правозверных монархистов. На европейскую публику это действовало тем более неблагоприятно, что на эту же всемирную выставку являлись высокопоставленные особы и других государств без всякого подобия российских «предосторожностей». Мне самому пришлось встретиться на выставке бельгийского короля Леопольда, который, скромно одетый в простую черную пару и в цилиндре, переходил с очень маленькой свитой из отделения в отделение, не обращая на себя внимания и никого не стесняя.

7

В 1873 году в России среди молодежи (в особенности учащейся) началось серьезное движение. После некоторого затишья студенчество наше вновь зашевелилось. Подготавливалось быстро расцветшее знаменитое в наших летописях «хождение в народ». Издание журнала «Вперед» было обеспечено, и со дня на день ожидался выход первого его номера. Появился ряд новых брошюр и листов.

Русская эмиграция сконцентрировалась больше всего в Швейцарии, и главным образом в Цюрихе, где разыгрался прискорбный и печальный по содержанию и еще более по форме конфликт между «лавристами» и «бакунистами», завершившийся наделавшею в свое время немало шума осадой «Бремершлюсселя» — резиденции «бакунистов»³³. А тут, как снег на голову, свалилось знаменитое распоряжение русского правительства о немедленном возвращении на родину из-за границы всех учившихся тогда там русских под угрозой лишения их в противном случае права вернуться впоследствии в Россию. Распоряжение это подлило масла в огонь, вызвало всеобщее негодование и настроило резко оппозиционно даже ту значительную часть русской молодежи,

которая, живя за границей, занималась исключительно наукой, старательно сторонясь от всякой политики. Свое возмутительное распоряжение правительство мотивировало вредным влиянием на молодежь со стороны русских эмигрантов. П. Л. Лавров обратился тогда с воззванием к «русским женщинам»: разбирая это удивительное распоряжение, П. Л. обращал, между прочим (насколько припоминаю), внимание на то, что эмигранты на расстоянии и должны влиять гораздо сильнее, чем вблизи, когда с ними сталкиваются ежедневно и не могут игнорировать их обыденные общечеловеческие недостатки и слабости.

Проживая, так сказать, на перепутьи между Россией и Швейцарией, я невольно сталкивался в Вене со многими направлявшимися из России за границу и оттуда возвращавшимися обратно. Меня посвящали во все подробности текущих событий русской жизни и убеждали хоть временно вернуться в Россию и специально в Одессу, просили взять на себя организацию доставки из-за границы нелегальной литературы и главным образом журнала «Вперед». Некоторое время я колебался. Меня лично привлекала к себе сравнительно свободная жизнь в Европе и возможность многому здесь поучиться и научиться. Но я сознавал, что наступил момент, когда каждый претендующий на звание гражданина и сына своей родины обязан быть на своем посту, не считаясь с вопросами личного благополучия и личных удобств. Сознание долга взяло верх. Я решил оставить Вену и в последних числах августа отправился в Россию на Львов вместе с одним юношей, прибывшим в Вену главным образом с целью склонить меня вернуться в Россию. Я считаю своим священным долгом посвятить хоть немного строк этому чудному (увы, уже покойному!) юноше, с которым судьба столкнула меня на весьма короткое время.

Проживал я в Вене в районе венского медицинского студенчества — Josephstadt'e, по Lammgasse, в четвертом этаже. Возвращаясь однажды к вечеру из университета на свою квартиру, я, открыв дверь своей комнаты, поражен был следующей сценой. На моей постели лежал полураздетый юноша без сапог; направив на меня свои чудные, глубокие, можно сказать бездонные глаза, он молча улыбался во весь рот. Его открытое, бесконечно ясное лицо сразу, с первого мгновения, всецело расположило меня к нему. Не подымаясь и продолжая улыбаться во весь рот, юноша заявил мне, что хотя я его не знаю, но он заочно меня очень хорошо знает по рассказам наших общих друзей, которые его направили в Вену, и специально ко мне, чтобы сообщая со мною исполнить поручение, возложенное на него кружком чайковцев. Он назвал при этом и себя, и наших общих друзей, и между нами сразу установились чрезвычайно близкие и дружеские отношения, — те отношения, которые встречались лишь в конце шестидесятых и начале семидесятых годов, когда разные политические «кружки» («партий» в то

время еще не существовало) формировались из людей, близких друг другу не только идейно, но и умственно, и нравственно...

Юноша этот был Михаил Куприянов. Кружок возложил на него поручение приобрести на венской выставке недорогую, но более усовершенствованную типографскую машину, но так как он не говорил и не понимал ни одного слова по-немецки, то его и направили ко мне, как к бывшему члену одесского кружка, состоявшего в союзнических отношениях к кружку чайковцев...

Занимал я очень небольшую комнатку, и мне трудно было приютить у себя Куприянова, да это и неудобно было по некоторым другим причинам, в особенности же потому, что, благодаря выставке, на которую ожидался приезд особ царской фамилии, Вена кипела тогда русскими шпионами. Мы решили, что Куприянов поселится в небольшой гостинице, тут же в Josephstadt'e, тем более, что он не без комической важности объяснил мне, что он пропишется к н а з е м Кр...м, документами которого он запаса...

Чрезвычайно любознательный, Куприянов принялся посещать ежедневно выставку, изучением которой он усердно занялся. Запасшись узелком провизии (хлеба и колбасы), он с утра отправлялся на выставку, на которой проводил целые дни в течение 2—3 недель. На час, на два наведывался и я туда; мы совместно осматривали машинный отдел и облюбовали одну небольшую типографскую машину (стоимостью, кажется, в 1.200 гульденов). Теперь предстояла нам задача: перевезти последнюю осторожно и незаметно в такое место, которое не особенно бросалось бы в глаза шпиравшей тогда по Вене массе русско-польских шпионов, разобрать ее там так, чтобы отделить части, характеризующие специальность машины, от других, безразличных в этом отношении частей, с тем, чтобы последние переправить в Россию обычным путем, а первые—контрабандой...

Один из моих венских друзей, видный член тогдашней австрийской социал-демократической партии, А. Шай, нашел для меня подходящее помещение во дворе одного своего приятеля. Машина была оплачена и, по соблюдении некоторых формальностей, вывезена со всевозможными предосторожностями из выставочного помещения на новое место, и Куприянов лично с увлечением и поразительным умением занялся там разборкой машины. Это продлилось несколько дней. Припоминается мне следующая высоко-комическая картина. В начале 1-го часа являюсь я во двор, в котором работал Куприянов. Рядом с ним стоит гигантского роста Шай и отчаянно жестикулирует обеими руками. Куприянов, улыбаясь во весь рот, умильно поглядывает на сильно волнующегося Шая. Прислушиваюсь. Оказывается, что Шай приглашает К. обедать, К. же ни слова не понимает и лишь улыбается, продолжая работать. Шай пустил в ход мимику и всевозможные жесты, даже русское слово «шеловик» («шеловик muss essen»), но дело ни на йоту не подвигается. Я расхохотался,

объяснил Куприянову, в чем дело; он моментально скинул блузу и по-приятельски отправился с Шаем обедать...

По поручению общих друзей, К. убедил меня вернуться в Россию, где тогда только что началось народническое движение и ощущалась большая нужда в работниках. Отослав нейтральные части машины по железной дороге в Петербург, Куприянов уложил специальные части в небольшой железный ящик и захватил его с собой во Львов, куда мы вместе с ним отправились. Через посредство некоторых галицийских знакомых я принялся устраивать на подволочиской границе специальный путь для перевозки журнала «Вперед», причем этим же путем должен был воспользоваться и Куприянов для перевозки своего ящика. Это отняло у нас около двух недель, которые мы и провели совместно с Куприяновым в общем номере одной из скромных львовских гостиниц. Нам приходилось проводить в беседах целые часы, и Куприянов буквально поражал меня необычайной мощью своего ума. Он занимался и читал (правильнее, изучал) одни лишь капитальные труды по политической экономии и социальным наукам, решительно и абсолютно не интересуясь беллетристикой и искусством и останавливаясь в периодических журналах исключительно на наиболее серьезных и капитальных статьях. 17—18-летний юноша (я думаю, ему больше не было), он знал (и как знал!) гигантское творение К. Маркса чуть не наизусть. По целым часам он развивал передо мной разные положения теории Маркса, положительно поражая необыкновенной тонкостью анализа и поразительной логичностью своих выводов. Припоминаю такой случай. Однажды в послеобеденное время лежали мы в ожидании прибытия нужных вещей. Куприянов развивал некоторые наиболее интересовавшие его положения теории ценности Маркса. Вдруг он замолк и остановился, можно сказать, на полуслове. Я подумал, что он уснул. Проходит приблизительно около получаса времени,— и вдруг Куприянов заговорил опять с той самой запятой, на какой он остановился, продолжая свои положения, как будто никакого перерыва в его изложении не было: так сильна и, можно сказать, мощна была сила его умственных процессов...

Он, как и я, был скоро арестован. Бесконечно долгое предварительное одиночное заключение оказалось для него смертельным, и он незадолго до суда (по делу 193-х) скончался после тяжелой болезни в Петропавловской крепости...

Когда я временами вспоминаю этого удивительного юношу, я весь переполняюсь умилением к этой симпатичной личности, чудным метеором пронесшейся по нашей грешной земле; я проникаюсь к его светлой памяти чувством, граничащим с благоговением. Но в то же время мое стареющее сердце сжимается жгучей болью при мучительной мысли: какую колоссальную умственную силу потеряла в этом юноше наша многострадальная родина!..

Уже в 1-ой главе я указал, что я познакомился с Пильщиковым еще гимназистом 6-го класса, когда он перевелся в Херсон преподавателем истории из Полтавы, в кадетском корпусе которой он воспитал не мало полезных граждан для Украины. Склад моего мышления не располагал меня примкнуть к украинофильству, но я с наслаждением проводил у Пильщикова несколько вечеров в неделю, жадно прислушиваясь к его богатым по содержанию и весьма красивым по форме рассказам из истории Украины и увлекательным призывам к юношеству. Когда я после «студенческой истории» 1869 г. вернулся в Херсон под надзор полиции, Дмитрий Павлович был единственным из моих бывших гимназических учителей *, который встретил меня крайне тепло и сердечно, обласкал и почти ежедневно приглашал к себе для продолжительных бесед за кружкой пива; он же одним из первых предоставил мне у себя урок — предложил готовить в гимназию по латинскому языку его единственного, страстно любимого им сына — Колю**...

Этого выдающегося украинца я и нашел во Львове. Я ощущал поистине громадное удовольствие, видя, каким глубоким уважением и каким высоким почетом он пользовался в этом центре свободной части Украины. К нему являлись, как бы на поклон, все лучшие представители львовской украинской интеллигенции — профессора, приват-доценты, адвокаты, деятели «Прогресу» и др. Пильщиков пользовался здесь весьма широкой и громкой известностью, так как в юности еще он был близок к кружку Костомарова и Шевченко и с тех пор продолжал неизменно служить пропаганде задач и идей этого кружка. Если в России, благодаря постоянному наморднику на печать, Пильщикова тогда знали лишь немногие, близко с ним соприкасавшиеся, то в Галиции, а в особенности во Львове, имя его пользовалось большой и завидной популярностью. В данный момент он был во Львове особенно желанным гостем, так как привез значительные денежные средства, предоставленные в его распоряжение М...ми для основания общества и «друкарни» им. Шевченко.

Радужно встретившись со мною, Пильщиков перезнакомил меня почти со всеми активными политическими деятелями галицийской Украины, жившими во Львове. Это была группа прекрасных людей, посвятивших себя развитию и просвещению своего

* Другой учитель, товарищески относившийся к ученикам, Горяев, влиял исключительно на их литературно-идейное развитие, — его я уже в Херсоне не нашел. Он переведен был на Кавказ, кажется, в Тифлисскую гимназию.

** Н. Д. Пильщиков занимал кафедру по физике в Харьковском и Новороссийском университетах. Впоследствии он покончил самоубийством...

народа. Они всем сердцем сочувствовали возникшему в России движению и не отказали мне в своей помощи при устройстве пути для перевозки в Россию заграничной литературы, взяв лишь с меня слово, что путь этот, в случае надобности, будет служить и для перевозки заграничной украинской литературы.

Устроив все во Львове и получив рекомендательные письма в пограничный Подволочиск, откуда «литература» и должна была непосредственно перевозиться в Россию, я распрощался с милыми галичанами и чудным, прекрасным стариком Пильщиковым, который горячо расцеловал меня и напутствовал меня следующими пророческими словами: «Вы идете не моей дорогой, вам не миновать Сибири, а пожалуй, и каторги. Но благословляю вас, ступайте своей дорогой!»...

В Подволочиске я пробыл лишь один день, так как железнодорожный служащий, к которому меня направили, был уже достаточно подготовлен и очень охотно принял на себя все дальнейшие хлопоты по устройству пути.

На другой день я вернулся в Одессу после девятимесячной отлучки.

ГЛАВА V

1

В Одессе я, по возвращении, нашел заметную перемену в настроении местной интеллигентной молодежи. Резко бросались в глаза бодрый подъем духа и большое оживление, являвшиеся отражением наступившего тогда по всей России всеобщего бодрого настроения.

Старые одесские друзья, и в особенности Волховские, встретили меня очень тепло и сердечно. Они радовались моему возвращению, потому что они преисполнены были радужными надеждами на ближайшее будущее и чувствовали большую потребность в идейных работниках.

Кружок, который только в начале 1872 года стал формироваться около Волховского и меня, значительно расширился и окреп за сравнительно небольшой 9-месячный промежуток времени. В этом сказались главным образом выдающиеся организаторский талант Волховского и умение его привлекать к себе симпатии лучшей части молодежи.

Я вновь формально принят был в кружок и с чувством глубокого удовлетворения мог убедиться в серьезном характере и искренней преданности делу всех его участников.

Кроме прежних членов, я нашел в составе кружка молодого, чрезвычайно симпатичного студента-математика (кажется, IV курса) Виктора Федоровича Костюрина, тогда еще еле оперившегося, но уже заметно выдвигавшегося оригинальностью мышления и самостоятельным, критически отчетливым отношением к окружающему, и нервно подвижного, болезненно впечатлительного бессарабца Леонида Аполлоновича Дическулло. Кружок находился еще в первой, так сказать, стадии своей организации и не носил еще строго определенной физиономии, хотя явно отстранялся от анархических идеалов.

Помимо тесного кружка, Волховский успел значительно расширить свои связи в разных слоях местного «общества», которые могли оказывать нам в нужных случаях разные существенные услуги. Ему удалось сойтись кое с кем из культурно-просветительного кружка, заручиться содействием служащих разных учреждений и расположить к себе некоторых видных об-

щественных деятелей, услуги которых, при известных условиях, могли бы быть очень полезны для кружка.

Общественное и служебное положение самого Волховского за это время упрочилось и значительно улучшилось. Он состоял уже делопроизводителем строительного отделения городской управы, которым заведывал тогда занимавший видное положение в одесском обществе крупный сахарозаводчик А. М. Бродский, щеголявший своим «прогрессивным» образом мыслей и «независимостью» и фрондой по отношению к администрации. Бродскому, бесспорно, дельному и толковому члену управской коллегии, очень льстило то обстоятельство, что ближайшим его сотрудником (и подчиненным) является такой выдающийся по уму и деловитости человек, как Волховский, успевший приобрести в Одессе большую популярность и продолжавший пользоваться неизменным расположением и уважением городского головы Н. А. Новосельского и всей городской управы.

Возвращение мое в Одессу совпало с подготовительными работами в городской управе к назначенной на 5 сентября (1873 года) однодневной переписи городского населения. Я, как и некоторые другие члены нашего кружка, не преминули примкнуть к числу «счетчиков» и вообще деятельных работников по переписи, так как это давало нам возможность, с одной стороны, стать в более близкие отношения к широким слоям населения, а с другой стороны — сойтись теснее также со студенчеством, из среды которого меценатом учащихся, Новосельским, комплектовалось главное ядро «счетчиков», которые уже по самому характеру своей деятельности не могли не приходить в постоянное между собой соприкосновение. Обстоятельство это имело очень существенное значение для нашего кружка, так как в задачи его входила параллельная работа в среде учащейся молодежи и в среде рабочих и ремесленников, преимущественно в среде существовавших тогда в Одессе рабочих «артелей» — каменщиков, плотников, столяров, штукатуров и др., а участие в переписи, несомненно, давало возможность ближе сойтись с этими элементами.

2

Физиономия нашего кружка с каждым днем принимала все более и более определенную окраску и дифференцировку. Программа его принимала постепенно яркий «народнический» характер, которым явно выделялся окончательно уже к тому времени сформировавшийся в Петербурге кружок чайковцев, вступивший в тесный союз с нашим кружком и состоявший в постоянной переписке с ним по различным практическим вопросам, пользуясь для переписки специальным, временно обусловленным шифром.

Связи между чайковцами и нашим кружком, как и некоторыми другими провинциальными кружками (харьковским, киев-

ским, самарским и др.) поддерживались и укреплялись не одной лишь перепиской, но и личными наездами «чайковцев». За короткое время (4—5 месяцев), которое мне суждено было пробить на работе кружка до моего «изъятия» из его среды, в Одессе, например, перебивали как сам основатель кружка, Николай Васильевич Чайковский, так и специальный, так сказать, «ревизор» — Николай Аполлонович Чарушин.

И Чайковский и Чарушин произвели на меня и на моих товарищей глубокое впечатление удивительной цельностью своей личности, своей яркой индивидуальностью, глубоко продуманной принципиальностью и убежденностью и беззаветной преданностью тому делу, на служение которому они бесповоротно отдали свои крупные силы и свои недюжинные способности.

Огличительной чертой этих двух видных чайковцев, чертой, приятно бросавшейся в глаза с первого же момента знакомства с ними, была необычайная их простота, скромность, естественность и отсутствие всякой рисовки, отсутствие самонадеянности, оттенка «генеральства», которое в то время присуще было, к сожалению, многим юным «деятелям», в особенности из среды «бакунистов», порывивших красиво попозировать в роли Лео, а то и Робеспьера, и быстро стушевывавшихся и поворачивавших круто направо, как только являлась малейшая опасность для их ближайшей карьеры. Для меня черта эта в видных пионерах нашей революционной деятельности была особенно ценна еще и потому, что мне пришлось достаточно насмотреться и за границей на это стремление к генеральству и страсть к рисовке со стороны даже второстепенных деятелей.

Н. В. Чайковский прибыл к нам в Одессу не на совсем, кажется, легальном положении, так как он уже на первых порах своей деятельности взят был охранными властями «на замечание». Он оставался у нас самое короткое время, имея целью лишь личное ознакомление с членами кружка. Сопровождение его с нами длилось много часов подряд, в течение которых Н. В. ставил *profession de foi* чайковцев, знакомил нас с их ближайшими задачами и целями и характером их работы, интересуясь взаимно и нашим взглядом на положение вещей, и нашей работой, и нашими чаяниями и надеждами.

Более продолжительно было пребывание в Одессе Н. А. Чарушина, выработавшего, так сказать, договорные пункты наших союзнических отношений, способы наших взаимных сношений, районы деятельности, способы доставки «литературы» и т. д.

Чарушин, как помнится, приехал к нам из Крыма уже после продолжительного странствования по России, так что его рассказы и сообщения, основанные на личных наблюдениях и личных знакомствах, имели для нас большое и поучительное значение. Он положительно очаровал всех своей задушевностью и

безграничной искренностью. Результаты и выводы его поездки действовали на нас ободряющим образом, так как они наглядно убеждали нас в том, что мы далеко не так одиноки, как мы раньше думали, и в том, что оппозиционно-революционная работа делает в России быстрые успехи и проникает в самые отдаленные и глухие ее углы.

При первом знакомстве Чарушин поражен был резким различием в его и моих основных политических воззрениях. В то время как его симпатии тогда были, кажется, целиком на стороне анархизма и анархистов, я категорически заявил себя «государственником» — человеком, не признающим возможности дальнейшего прогресса человечества, как такового, иначе, как в форме того или иного государственного строя. Склоняясь всеми своими душевными и сердечными симпатиями к социализму, резко враждебно относясь к существовавшему у нас в России политическому и социально-экономическому строю, я, тем не менее, не находил возможным отрешиться от государственности вообще и всяких государственных форм. Я полагал (и при этом убеждении я остался навсегда), что то человечество, которое я знаю и с которым я имею дело, не может, пока оно останется тем, что оно есть, развиваться и прогрессировать иначе, как в определенных государственных формах, обуславливающих общую дисциплину и законно-уполномоченную власть. Н. А. Чарушин, как и многие другие, как и некоторые члены нашего одесского кружка (хотя отнюдь не большинство его), признавали тогда такой взгляд ересью и просто поражались им. Но, к счастью для общего дела, это несколько не мешало, однако, нашему взаимному уважению и сближению. Я, как и все члены нашего кружка, расстался с Чарушиным в самых дружеских отношениях, и дружба эта впоследствии, как во время процесса 193-х, так и в Сибири, когда взгляды наши значительно сблизились, еще более окрепла, оставаясь таковой и поныне³⁴.

Лично я примкнул к «народническому» кружку потому, что для меня ясно было, что русская жизнь не может подвинуться ни на йоту вперед, пока в России сохраняется ее самодержавно-неограниченный политический строй, одинаково угнетающий и личность, и общество. Коренное же изменение политического строя и ниспровержение самодержавия я считал немыслимым без участия в этой работе самого «народа» в самом широком смысле этого слова.

Тогда (в 1873 г.), правда, не царил уже, как года два-три назад, в кружках молодежи (в особенности студенческой) односторонний и пагубный взгляд, что политические формы сами по себе не имеют и не должны иметь для истинных друзей народа существенного значения и что монархически-самодержавный на демократической основе строй предпочтительнее де республиканского образа правления, опирающегося на буржуазию и

плутократию *. Но, тем не менее, в кружках радикальной молодежи еще и тогда замечалось довольно равнодушное и почти безразличное, а то даже и иронически-пренебрежительное отношение к вопросам политического характера, с чем мое реально-практически настроенное мировоззрение не могло мириться.

3

Находясь в прямых и непосредственных сношениях с петербургским кружком чайковцев, мы, одесситы, немало интересовались и другими кружками, в особенности ближайшим к нам киевским, с которым у нас очень скоро завязались постоянные сношения, а также московским, между членами которого было немало личных друзей и знакомых Волховского. Одним из них, Наталией Армфельд, я имел возможность также познакомиться в 1873 году.

Не припомню, приехала ли она в Одессу со специальной целью познакомиться с нашим кружком, или она остановилась у нас случайно — проездом в Крым. Пробыла она у нас около недели, остановившись в одной из фешенебельных гостиниц со своим саванным братом (если не ошибаюсь, губернатором одной из остзейских губерний).

Первое мое знакомство с нею произошло на улице, когда я встретил ее с одним из членов нашего кружка. Уже издали она невольно привлекла мое внимание своим гигантским ростом и крупной своей фигурой, которые тем резче выделялись, что ее спутник был ниже среднего роста. С первых же слов я не удержался от встреченного хохотом замечания, что фигура ее и рост совершенно непригодны к конспиративной деятельности...

Наталия Армфельд была одна из тех первых русских женщин, которые решительно и бесповоротно после серьезной борьбы и внутренней ломки порвали со всем своим прошлым — со всеми привычками, унаследованными ими от барской среды, в которой они выросли и получили свое воспитание — и беззаветно, без рефлексий, всецело отдали себя на великое служение делу освобождения своей родины. В ее лице мы имели перед собой глубоко убежденного человека, целиком воспринявшего (как и весь московский кружок, к которому она принадлежала) всю программу и все *profession de foi* чайковцев. Мы воспользовались ее пребыванием в Одессе, чтобы войти в более тесные и непосредственные сношения с московским кружком, условившись на счет адресов, шифра и т. п.

* В Петербурге в 1868—69 гг. на собраниях некоторых «радикальных» студенческих кружков ставился даже на баллотировку вопрос: что предпочтительнее — самодержавие и демократическое правительство (sic!) или республика при буржуазном правительстве? Значительным большинством голосов вопрос решался обыкновенно в пользу первого...

Помимо чайковцев и членов других кружков, состоявших с нашим кружком в союзнических отношениях, осенью и зимой 1873 г. наезжали в Одессу и представители разных других групп, программа и деятельность которых значительно отличались от наших. Некоторые из них бросали, подобно мне, заграничные университеты и возвращались на родину, чтобы принять непосредственное посильное участие в поднимавшемся общем освободительном движении. Одни из них зачислялись в студенты Новороссийского университета, вербуя здесь для себя adeptов; другие старались завязывать сношения с рабочими; третьи наезжали лишь на самое короткое время, чтобы заводить знакомства с местными общественными силами, популяризировать свою программу и привлекать на свою сторону местные организованные группы. Так, вскоре после возвращения моего в Одессу я встретился здесь с Владимиром Дебагорио-Мокриевичем, представителем «бакунизма» на юге России, Сергеем Филипповичем Коваликом, братьями Жебуневыми и некоторыми другими.

В то время как наш одесский кружок почти всецело примыкал к пропагандистскому (лавристскому) отделу народничества и в основу своего мировоззрения клал принцип, что серьезный государственный переворот мыслим и прочем лишь при условии широкой, систематической и неустанной пропаганды, многие из являвшихся к нам на ястроли проявляли склонность к бунтарскому течению народничества: «бунтари» или «вспышкоступатели», как называли более крайних из них, полагали, что недостаточна одна устная или печатная пропаганда, которая сама по себе мало-де может подвинуть вперед революционное дело, и что, в интересах большей интенсивности последнего, следует приступить безотлагательно к бунтам, следует вызывать «вспышки» всюду, где только представляется благоприятный к этому случай, так как только этим путем, думали они, народная масса будет непосредственно сталкиваться с правительством и эксплуатирющей ее буржуазией, только этим путем эта масса должна будет убеждаться на фактах в полной враждебности к ней и правительства и буржуазии и таким образом будет-де получать надлежащее революционное воспитание, без которого серьезный переворот немислим.

Единственная и весьма непродолжительная беседа моя с Дебагорио-Мокриевичем убедила и меня, и его в том, что между нами нет ничего общего. Дебагорио-Мокриевич в то время представлял собою чистейший тип «бакуниста», до мозга костей пропитанного теориями и взглядами Бакунина, развитыми последним в его известной книге «Государственность и анархия». Он был несказанно удивлен и поражен, когда узнал от меня, что я «государственник». — «Как! Неужели же вы государственник!» — воскликнул Мокриевич с удивлением, и в его во-

просе - восклицании явственно слышались нотки глубокого изумления, смешанного с пренебрежением. Повидимому, для Дебагорио-Мокриевича в то время с этим словом связывалось представление о чем-то крайне непозволительном и самом мерзком, что только можно себе представить со стороны оппозиционно-настроенного молодого человека. Для меня ясно было, что по Дебагорио-Мокриевичу (т о г о в р е м е н и) для человечества не было спасения вне анархии и анархических идеалов и что всякий не признававший универсальной целебности «вольного союза общин, организованного снизу вверх», являлся тогда в его глазах чем-то весьма близким к реакционеру.

С С. Ф. Коваликом, главным представителем (совместно с Ф. Н. Лермонтовым) Бакунина в Петербурге и вообще на севере, я столкнулся лишь раз случайно на квартире нашей общей приятельницы—Ольги Разумовской-Романовской. Он, повидимому, уже ознакомлен был со слов последней с моим мировоззрением и с общим настроением нашего кружка, к которому принадлежала и Разумовская, так что, при всей его слабости к прениям, он счел даже излишним вступить в какой-либо диспут с нами. Ковалик, если я не ошибаюсь, сочувствовал «вспышкوپускателям» (по крайней мере, более умеренным из них); он довольно пессимистически относился к пропагандистской деятельности, полагая, что воздействие на народную массу возможно лишь путем р е а л ь н ы х фактов—бунтов, а не путем словесных бесед или распространения «хороших книжек», которым он, в смысле возбуждения активной революционности, почти никакого значения не придавал и совершенно их игнорировал.

Братья Жебуневы, в особенности старший из них, Николай Александрович (ставший, увы! скоро ренегатом), и младший, Сергей Александрович, производили на меня чрезвычайно сильное и глубокое впечатление своей л и ч н о с т ь ю. Сыновья очень богатого помещика Екатеринославской губернии (отец их, отставной штаб-ротмистр, имел в Екатеринославском и Павлоградском уездах до 7.000 десятин земли), они сумели совершенно отрешиться от всех привычек своего класса и жили в обстановке безусловно демократической и даже бедной. Из обихода их совершенно изгнана была «прислуга», как и всякий самонаименьший намек на барство и зажиточность. Поразителен в особенности в этом отношении был Сергей (или «Сережа», как любовно называли его все близкие), который принципиально не позволял себе ничего из того, что недоступно самому бедному рабочему. При встрече с Сергеем никто бы не подумал, что он имеет дело с сыном богатейшего помещика, с человеком, выросшим в довольстве и холе, получавшим вполне достаточные средства не только для безбедной, но даже и зажиточной жизни. Тратил он на себя лишь ничтожную долю тех денег, которые ему высылали: одевался бедно, даже нищенски, кормился

плохо, хуже многих рабочих, жил в убогой конуре. Львиную долю своих средств он расходовал на нужды партии, на помощь недостаточным товарищам.

Таковым я знал Сергея Жебунева в Одессе, таковым он остался на всю жизнь, таковым он был и в тюрьме, и в ссылке, где мне приходилось мыкать с ним немало общего горя.

Пуритански строгий к самому себе, Сергей, однако, был всегда терпим к слабостям других и, принципиально отрешившись от всякой личной жизни, отказывал себе во многом существенном и необходимом, разрешая себе лишь крайний минимум того, что нужно для поддержания сносного существования. Сергей широко помогал всем его окружающим, признавая для них дозволенным то, в чем отказывал себе лично. Это был редкий экземпляр «кающегося дворянина», претворивший все верования, чаяния и теории последнего в плоть и кровь и оставшийся навсегда им щепетильно верным и последовательным. Его поистине апостольский образ жизни и личный пример безукоризненно чистой и честной жизни служили для многих ободрением и поддержкой в трудную минуту жизни. Такие цельные и непосредственные натуры мне больше в жизни не попадались, я встречал их лишь в таких романах, как «Знамение времени» Мордовцева и ему подобных... С такими людьми можно во многом не соглашаться, можно, пожалуй, не признавать их пригодными для той или другой сложной общественно-государственной функции, но нельзя перед ними не преклоняться всюду и везде и, мысленно вспоминая о них, нельзя не воскликнуть благоговейно: «э т о — ч е л о в е к!»...

Братья Жебуневы осели временно в Одессе. Это были чистые лавристы-пропагандисты; они не сочувствовали бунтарям и вспышкوپускателям и отрицательно относились к анархии и анархистам. Старший брат, Николай Александрович, завел, кажется, собственную кузницу, в которой работал он сам и Сергей (а впоследствии Трудницкий, предавший потом и их, и других), ведя успешно пропаганду между рабочими. Хотя они и сталкивались с членами нашего кружка, но держались особняком, не вступая ни в какие союзнические с нами отношения. Когда приехал в Одессу наиболее сильный из них по эрудиции и научно-теоретическому обоснованию их мировоззрения — Владимир Александрович с женой Марией Александровной (урожденной Блиновой), сношения «сеи-жебунистов» (так почему-то окрестили их «власти», а за ними и авторы мемуаров³⁵) с другими одесскими группами усилились, и их можно было чаще встречать в кружках местной интеллигенции, так как и Владимир и жена его были люди общительные и охотно принимали участие в теоретических спорах.

Между членами нашего кружка естественным путем совершался процесс «разделения труда» и распределялись соответствующие функции.

Костюрин, Дическулло, Ж[елтонов]ский и некоторые другие приняли на себя пропаганду непосредственно «в народе», т. е. на первых порах, пока я оставался еще «на свободе» (а я говорю пока лишь об этом кратком периоде), в среде одесских ремесленников и рабочих. Они разными путями завязывали сношения с отдельными членами различных артелей и через их посредство сближались потом и с другими, обучая их грамоте и элементарной арифметике, читая им разные книжки и ведя популярные беседы на злобы дня. Я принял на себя письменные сношения с петербургским и другими иногородними кружками и заботы об устройстве путей для получения из-за границы «литературы». Не считая себя способным на непосредственную работу «в народе», я все-таки считал себя обязанным сделать хоть слабую попытку в этом роде: раза три или четыре я нагружал себя разными народными брошюрами (в роде «Митюха», «Дедушка Егор», «Юровая», «Французский крестьянин» Шатриана и т. п.) и отправлялся с ними по наиболее посещаемым рабочими трактирам, примащивался к тому или другому столику, за которым рабочие распивали чай, заводил с ними беседу, раскладывал перед ними свой «товар» (самые дешевые «книжечки», ценою в одну-две-три копейки) и соблазнял их приобретать эти «книжечки», посвящая их вкратце в содержание последних. Удавалось мне, правда, сбывать десяток-другой «хороших» книжек, да мало толку от этого выходило, и я нашел возможным освободить себя от этой добровольно принятой на себя роли.

Ф. В. Волховский, пользуясь многочисленными заведенными им знакомствами, добывал «адреса» для разных надобностей, приобретал «квартиры» для явок и хранения «литературы», запасал на случай надобности паспорта, собирал деньги, завязывал сношения в бюрократических сферах и т. п. Кроме того, он принял на себя, совместно со мною, вербовку союзников и членов кружка в среде интеллигентной молодежи.

В Одессу вернулся — кажется, почти одновременно с моим возвращением — из административной высылки и Андрей Иванович Желябов, который во время подневольного пребывания своего вне Одессы коротко сблизился с семьей видного одесского общественного деятеля — гласного городской думы и члена городской управы Яхненко-Семиренко. Желябов жил в доме последнего при сахарном заводе (в Городищенском уезде Киевской губернии), давая уроки его дочерям, со старшей из которых, Ольгой Семеновной, он близко сошелся и впоследствии на ней женился.

Благодаря близким отношениям к Яхненко, Желябов получил возможность устроить своего близкого приятеля Зотова директором одесского городского сиротского дома, который тогда помещался в конце Преображенской улицы (кажется, на этом месте находится теперь Коммерческое училище), и сформировал для последнего штат дельных, идеально настроенных учителей, в состав которых входили он сам, Франколи, Желтоновский и некоторые другие, родственные им по духу.

Находясь в глуши, сталкиваясь почти исключительно с культурными деятелями и культурно-просветительной деятельностью, Желябов и сам увлекся земской деятельностью и в Одессу вернулся с верой в то, что на этом поприще можно приносить существенную пользу тому крестьянству, интересам которого он, как истый крестьянин, предан был всецело.

Я познакомил Желябова с Волховским, и мы решили во что бы то ни стало привлечь Желябова к деятельности нашего кружка, не без основания рассчитывая, что, при его выдающемся ораторском таланте и при его способности увлекать за собою молодежь, Желябов будет очень полезным пропагандистом и вербовщиком в среде последних. Кружок мой вполне с нами согласился, и на меня возложены были переговоры с Желябовым о присоединении его к нашему кружку.

В памяти моей живо воскресает — как будто это было только вчера — состоявшееся по этому поводу почти тридцать пять лет тому назад на моей квартире (я нанимал тогда комнату в квартире популярного еврейского писателя, присяжного поверенного М. Г. М[оргули]са) объяснение между мною и покойным Андреем Ивановичем. Я изобразил перед Желябовым тяжелый гнет переживаемой нами реакции; я указал на все преграды, какие систематически ставятся правительством по пути мирной культурной работы, перечислил все те гонения, которые предприняты против земских учреждений и земских деятелей, и отметил начавшееся резкое повальное бегство, благодаря этому, лучших людей из среды последних, потерявших всякую надежду на сколько-нибудь продуктивную работу на этом поприще. Затем, очертив перед Желябовым в общих чертах характер и задачи нашего кружка, я предложил ему войти в состав последнего и своей энергией и выдающимися своими способностями послужить делу освобождения народа от тяготеющих над ним гнета и эксплуатации.

Я внимательно следил за чрезвычайно подвижной физиономией Желябова, и от меня не могло ускользнуть то необычайное волнение, которое охватывало его все сильнее и сильнее, по мере развития мною сделанного ему предложения. Когда я кончил, Желябов поставил мне категорический вопрос: как я бы поступил, если бы на моих руках находилась нежно любимая семья: отец, мать, братья и сестры, благосостояние которых всецело зависело бы от меня, и мне, при этих условиях, было бы предло-

жено примкнуть к такой организации, принадлежность к которой сопряжена была бы с серьезным риском и могла бы, во всяком случае, лишить меня возможности быть полезным любимой семье?

Мне шел тогда 23-й год. Весь и всецело я был поглощен тогда идеей долга перед родиной и народом. Естественно вполне, что я решительно и без колебаний ответил Желябову приблизительно следующее: конечно, чувства любви к родителям и родным — святые и дорогие чувства; конечно, каждый из нас безусловно обязан заботиться о своих близких, обязан помогать им по мере сил и возможности. Но есть чувства и долг более повелительные, чем эти: это — чувство любви к родине, это — долг по отношению к этой родине и к своему народу, — и если бы мне пришлось выбирать между долгом к семье и долгом к родине, я, конечно (как бы это мучительно для моих личных чувств ни было), выбрал бы последний, — тем более, прибавил я, что пока мы еще переживаем такое время, когда конфликт между этими двумя долгами не неизбежен и возможно еще вполне совместить один с другим.

Желябов в глубоком волнении с четверть часа энергически прошагал по моей комнате. Затем, обратившись ко мне, он заявил мне, что берет себе на размышление три дня, и распростился со мною.

Через три дня Желябов, заметно осунувшийся, явился ко мне и каким-то проникновенным голосом объявил мне, что Рубикон им перейден, корабли сожжены и он окончательно и бесповоротно решил примкнуть к нашему кружку. Я ознакомил тогда его с составом кружка и предложил ему принять на себя пропаганду в среде интеллигентного общества. Желябов очень охотно принял на себя эту миссию, заявив, что он предоставляет себя всецело в распоряжение кружка.

С этого момента народническое движение обогатилось крупной выдающейся личностью, которой суждено было впоследствии сыграть первостепенную историческую роль. Это было приблизительно в ноябре или декабре 1873 года, за два или три месяца до моего ареста...

Еще одну выдающуюся по энергии и способностям личность удалось мне в том же году присоединить к нашему кружку — Анну Макаревич, урожденную Розенштейн, впоследствии известную под фамилией популярного итальянского социалиста Коста, за которого она вышла замуж за границей³⁶.

Молодая 16-летняя девушка, уроженка г. Симферополя, дочь богатых родителей и воспитанница Симферопольской гимназии, Анна Розенштейн, по окончании курса последней, увлеченная общим движением, за год или два перед этим отправилась в Цюрих, где после блестяще выдержанного конкурсного экзамена чуть ли не одной из первых женщин поступила в политехникум, доступ в который был далеко не легкий. Как ни

манила ее к себе на первых порах наука, но, при ее чрезвычайно впечатлительной и увлекающейся натуре, она не могла оставаться пассивной зрительницей происходившего тогда около нее интенсивного общественного движения в среде многочисленной цюрихской колонии русских учащихся. Со свойственной ей экспансивностью, она, как мне рассказывали, уничтожила свой аттестат и свой студенческий билет, окунулась с головой в окружающую живую действительность и примкнула к кружку лиц, собиравшихся в Россию для активного участия в борьбе с русским правительством и поддерживаемым им социально-экономическим порядком вещей. В Цюрихе же она близко сошлась и вышла замуж за одессита Петра Маркеловича Макаревича, стоявшего на целую голову ниже ее и по уму, и по развитию, да и в нравственном отношении, и, вернувшись вместе с ним в Россию, поселилась в Одессе.

Не припомню, по какому случаю Макаревичи поселились в квартире того же М[оргули]са в соседней с моей комнате. Это дало мне возможность близко с ними познакомиться и, уже за несколько недель перед моим арестом, присоединить их обоих к нашему кружку.

ГЛАВА VI

1

Завязав и упрочив регулярные сношения с другими кружками, устроив «квартиру» для хранения «литературы», мы должны были позаботиться об окончательной организации «пути» для доставки из-за границы журнала «Вперед» и других изданий. Это был весьма существенный и важный пункт деятельности нашего кружка, тем более, что и чайковцы и москвичи возлагали надежды на наш южный «путь».

Хотя я перед возвращением в Одессу и наладил пересылку «литературы» через Подволочиск, но я сам сознавал, что путь этот не совсем надежный, так как, во-первых, австрийская граница тогда уже слишком тщательно охранялась жандармами и пограничные австрийские власти преисполнены были готовности оказывать всяческие услуги русскому правительству, а во-вторых, главный посредник при пересылке через эту границу книжной контрабанды, служащий австрийской пограничной железнодорожной станции (Подволочиск) К[адай]ский, производил на меня впечатление слишком неопытного человека, мало приспособленного к конспиративным сношениям. Поэтому я осенью 1873 года отправился из Одессы на границу Румынии, поблизости которой — в доме молдавского помещика, мирового судьи — учительствовал тогда один из моих и Желябова знакомых, бывший студент Новороссийского университета В-ский. Имение, в котором последний проживал, находилось всего в нескольких верстах от границы, и нам казалось, что было бы очень удобно организовать здесь пункт для перевозки из-за границы «литературы». У В-ского я пробыл несколько дней, съездил с ним на самую границу и заручился его обещанием сделать все возможное и нужное в этом отношении.

Так как до сведения нашего дошло, что осенью того же 1873 г. произошло несколько провалов на подволочиской границе, и носились слухи, что неудачные попытки некоторых «бакунистов» воспользоваться устроенными другими на австрийской границе «путями»³⁷ для перевозки нелегальщины «провалили» последние, то я вынужден был отправиться для проверки этих

слухов на австрийскую границу. Взять в установленном порядке заграничный паспорт было по многим соображениям неудобно, и я решил добыть в Волочиске какой-нибудь паспорт у контрабандистов. Хозяин квартиры, на которую я заехал в Волочиске по рекомендации «сведущих лиц», снабдил меня «настоящим» паспортом турецкого подданного за 40 рублей, и с этим паспортом я явился на другой день на Волочискский вокзал и предъявил его жандармам для отметки. Тут произошел совершенно непредвиденный казус, который мог бы преждевременно повлечь за собою весьма прискорбные для меня последствия. Хотя я хорошо затвердил имя и фамилию владельца моего паспорта и память моя в то время была редко хорошая, так что я мог вполне на нее положиться, я, тем не менее, после передачи паспорта жандарму вдруг, по какому-то странному капризу памяти, забыл и имя, и фамилию свою по паспорту. Как быть? Я моментально решился на отчаянный и единственный выход из такого положения. Выждав, пока из комнаты жандармского офицера не вышел последний пассажир с своим документом, я стремглав ворвался к жандарму, визировавшему паспорта, и накинулся на него с напускными резкими упреками за то, что он задерживает меня, а поезд-де сейчас же уходит в Подволочиск. Офицер смутился и, растерявшись, протянул руку к единственному оставшемуся на столе паспорту и, спросив: «Это ваш паспорт?», вручил его мне. Я бросился в свой вагон, и поезд умчал меня в Подволочиск.

Железнодорожный чиновник, русин К[адай]ский, наш посредник по переправе «литературы» через австрийскую границу, самым положительным образом уверил меня, что контрабандисты, с которыми он состоит в сношениях, целы и невредимы, заслуживают полного доверия и будут исправно переправлять через границу все, что будет доставляться для меня в Подволочиск. Успокоившись на этот счет, я отправился для дополнительных переговоров во Львов и Вену, где пробыл несколько дней, повидавшись с Шаем, с Вернером и некоторыми русскими, проживавшими в Вене. Возвращаясь с тем же турецким паспортом обратно, я из Подволочиска переслал с контрабандистом через границу в Волочиск чемоданчик с разными русскими и иностранными изданиями. Чемоданчик осторожно передан был мне в Волочиск на станции после того уже, как вещи мои были «досмотрены»; я забрал его в вагон и благополучно привез его с собой в Одессу.

2

Вскоре после моего возвращения в Одессу вновь начали циркулировать по городу тревожные слухи о «провалах» на австрийской границе, о произведенных там арестах, о захвате большого транспорта с книгами и о розысках какого-то Иванова, которому-де принадлежит захваченный транспорт.

Надо сказать, что «Иванов» был условленный мною с подвoločиским нашим сотрудником К[адайски]м псевдоним, под которым я должен был являться в Одессе на квартиру некоего З[ейликови]ча, компаньона пограничного контрабандиста, непосредственно с которым вел дело К[адай]ский. Я по возвращении раза два являлся на эту квартиру, но хозяин последней, старик еврей З[ейликови]ч, встречал меня с большою осторожностью, заявлял мне, что товар еще не прибыл. Прошло некоторое время. В виду усилившихся тревожных слухов о розысках некоего Иванова, я прекратил посещение квартиры З[ейликови]ча, решив, с согласия кружка, некоторое время выждать.

Вдруг в один прекрасный день я узнал от близкого товарища своего по гимназии (в то время уже студента Новороссийского университета Г[енриха] П[опи]ча, что к нему являлся какой-то странный субъект—еврей ветхозаветного покроя—с письмом из Подвoločиска и от имени подвoločиского железнодорожного чиновника К[адайско]го расспрашивал его об адресе якобы его, П[опи]ча, знакомого—Иванова. Это обстоятельство внесло в дело неожиданное и серьезное осложнение. Дело в том, что я условился с К[адайски]м, что в экстренных случаях он может направлять «верных» людей к П[опи]чу (адрес которого я ему сообщил) с просьбой свести их с Ивановым. Так как, в виду моей короткой близости к П[опи]чу, я у него бывал очень часто, то подобная явка к нему не могла бы оставаться для меня секретом.

И вот возник очень серьезный вопрос: как поступить? Тот факт, что «подозрительному» субъекту сообщен был адрес П[опи]ча, наводил естественно на мысль, что субъект этот отнюдь не на подозрении у К[адайско]го и что «путь» наш, повидимому, не провалился, хотя слух о розысках именно «Иванова» и внушал сам по себе подозрение. С другой же стороны, если допустить, что контрабандист нас предал и устраивает ловушку, то избавиться от последней было бы уже чересчур трудно, раз уже есть нити — знакомство «Иванова» с П[опи]чем, мои близкие отношения к П[опи]чу и частые посещения его квартиры, знакомство одесского компаньона контрабандиста З[ейликови]ча с моей физиономией и т. д. Если бы я, утвердившись в мысли о предательстве, решил скрыться (что было бы нетрудно), то я уже этим наверняка и бесспорно подводил бы П[опи]ча и некоторых других лиц, близко стоявших к П[опи]чу и совершенно ни к нашему кружку, ни к нашей деятельности не причастных. К тому же, признаться, было крайне жалко, при не безусловной уверенности в предательстве, бросить на произвол судьбы громадный транспорт «литературы» (одного лишь первого номера «Вперед» было около 2.000 экземпляров, да, кроме него, целая масса всевозможных очень интересных брошюр и книг на разных языках), причем это было бы равносильно окончательной потере «пути», с таким трудом налаженного.

После продолжительного обсуждения в полном составе кружка создавшегося положения вещей единогласно решено было предоставить мне полную свободу действий. Я же, взвесив все вышеизложенные соображения, после продолжительных колебаний решил рискнуть: устроить так или иначе свидание с разыскивающим меня лицом и принять от него транспорт, если приду к заключению, что подозрение недостаточно основательно.

Желябов и М[акареви]ч по собственной инициативе вызвались принять участие в моей попытке, соображаясь с обстоятельствами дела, и так как их предложение (в особенности со стороны Желябова) было весьма настойчиво и категорично, то пришлось его принять при всем моем нежелании приобщить к рискованному шагу кого-либо кроме, меня.

В один из ближайших вечеров я нагрянул неожиданно на квартиру З[ейликови]ча, чтобы справиться у него об ожидаемом товаре. З[ейликови]ч сообщил мне, что товар давно уже получен, находился некоторое время на его квартире, но так как я долго за ним не являлся, то его пограничный компаньон свез товар в другое, более безопасное, место, где и смогу его получить, если явлюсь туда с его компаньоном.

Я поручил З[ейликови]чу передать его компаньону, что буду ждать его на другой день вечером в одном (точно мною указанном) винном погребе на Почтовой улице, чтобы переговорить там с ним насчет товара. Затем я отправился к Желябову; мы пригласили М[акареви]ча и остановились на следующем выработанном мною плане.

Я загримируюсь и в условленный час явлюсь в этом виде в погребок, где я должен был встретиться с одним из столиков с контрабандистом. Желябов и М[акареви]ч должны были около этого времени устроить на улице возле погреба тщательную рекогносцировку и при удовлетворительном результате зайти в тот же погребок и примоститься, как совершенно незнакомые мне лица, к ближайшему ко мне столику. Если бы они заметили что-либо подозрительное, что ускользнуло бы от моего внимания, они должны были подать мне условленный сигнал и незаметно удалиться, а вслед за ними исчез бы и я под каким-либо благовидным предлогом. Если же ни они, ни я ничего подозрительного не заметили бы, я должен был отправиться с контрабандистом за получением товара, а Желябов и М[акареви]ч должны были на некотором расстоянии следовать за мною на извозчике. Если бы они по дороге уже заметили, что я попал в ловушку, они должны были исчезнуть, предоставив меня всецело моей судьбе. Если бы я, в свою очередь, заметил что-либо внушающее серьезное подозрение, я должен был подать им сигнал, и они должны были моментально удрать. Наконец, если бы мне удалось заполучить транспорт, я должен был безотлагательно передать его им, и они должны были умчаться с книгами вперед в безопасное место, я же должен был и обратно возвращаться один, и, таким

образом, в случае решения жандармов забрать меня дома с полициным, им удалось бы осуществить свое решение лишь наполовину.

Точно во всем условившись, мы разошлись.

3

В слишком памятный мне вечер 27 января 1874 года около 6 часов я зашел в одну из парикмахерских на Рихельевской улице, коротко обстригся и предложил загримировать меня к предстоящему-де в этот вечер «маскараду».

Мне наклеили черные пушистые усы и большую окладистую черную бороду, а также увеличили наклейкой размеры и без того не маленького моего носа. Грим настолько изменил мою физиономию, что я сам себя не узнал в зеркале. Значение грима состояло в том, что если бы я попал в ловушку и мне все-таки удалось бы скрыться, то участвовавшие в моем изловлении не узнали бы меня.

Около 7 часов вечера я был уже в винном погребе на Почтовой улице и за одним столиком, по описанным мне З[ейликови]-чем приметам, узнал того еврея-контрабандиста, который меня разыскивал. Я подошел к нему; он назвал себя («Симха»), я отрекомендовался ему «Ивановым» и потребовал вина.

Почти вслед за мной спустились в погребок Желябов и М[акареви]ч и расположились поблизости за отдельным столиком, не обращая наружно никакого внимания на мой столик.

Симха не проявил ни малейшего волнения. Спокойно и с полным самообладанием он стал жаловаться на то, что его ввели в излишние расходы, что он уже раз, месяца полтора-два тому назад, приезжал в Одессу и привез с собою товар, но никто на условленную квартиру З[ейликови]ча за получением товара не явился, так что он вынужден был вернуться в Подволочиск и убедить К[адайско]го дать ему письмо к кому-либо из моих (т. е. Иванова) знакомых. К[адайски]й таковых, оказалось, не знает и дал ему лишь на всякий случай письмо к своему знакомому П[опи]чу, надеясь, что при содействии последнего ему, Симхе, удастся найти Иванова; однако и П[опи]ч ничем не мог помочь ему в его затруднительном положении, и он собирался уже плюнуть на все это дело и уехать домой да разыскать с К[адайско]го убытки. Но, на счастье, как раз в этот момент к З[ейликови]чу от имени моего (т. е. Иванова) на его квартиру явился какой-то человек, который и поручил передать ему, Симхе, что сегодня Иванов явится в этот погребок.

Я пытливо вглядывался в глаза Симхе все время, пока он говорил, и ничего подозрительного не заметил. Я, в свою очередь, не отводя от него глаз, резко отчеканивая каждое слово, заметил Симхе, что мы имеем данные, что им устроена против меня ловушка, — мы знаем, что он собирается предать меня в руки жандармов. Я этого не боюсь и предупреждаю его, что

если предательство действительно состоится, то ему, Симхе, не удастся уехать из Одессы живым, так как на группу в 70 человек возложена обязанность убить его, если он окажется предателем. Щадя его и его семью, я советую ему, если он действительно замыслил что-либо подобное, одуматься, пока не поздно: никому, кроме нас двоих, происходящая между нами беседа неизвестна; пусть сознается, и я исчезну, заплатив даже ему условленную сумму за провоз транспорта, и ни одна душа о его злом умысле знать не будет.

Симха слушал меня совершенно спокойно. На лице его не дрогнул ни один мускул. С нотками оскорбленного человека он уверял меня, что все эти слухи совершенно вздорные, что на границе действительно перехвачен был большой транспорт с книгами, но это не мой транспорт. Он, Симха, покои веков занимается контрабандой, — перевозкой контрабанды занимался и отец его и даже дед. И в Волочиск, и в Проскурове его, Симху, все знают как честного человека; никогда и ни за какие деньги он не согласился бы на предательство, которое между контрабандистами считается таким тяжким преступлением, что никто из них на него не решится уже из одного опасения самой ужасной расправы, и т. д. Словом, Симха говорил так спокойно, так убедительно и так правдоподобно, что хотя подозрение мое и не вполне рассеялось, но я все-таки решился поехать с ним на квартиру его знакомого возле товарного вокзала, где, по его уверению, хранился транспорт с книгами, который будет мне передан немедленно по получении от меня условленной провозной платы.

Я расплатился за вино и вышел с Симхой из погребка. На улице я опять ничего подозрительного не заметил. Я кликнул извозчика и двинулся с Симхой в путь. Оглянувшись, я увидел, что из погребка вышли также Желябов и М[акареви]ч, сели на извозчика и направились вслед за мною, держась, как условлено было, на некотором от меня расстоянии.

Ночь была довольно темная, и когда мы выбрались из центральной части города на окраинные улицы, которые даже и теперь очень неважно освещаются, а тогда до-нельзя плохо освещались, — я потерял из вида следовавшего на некотором от меня расстоянии извозчика с Желябовым и М[акареви]чем. Как впоследствии я узнал, подозрительность последних росла по мере удаления из центра города, и они, лавируя, то приближались ко мне, то удалялись, замечая, что как будто бы еще один или два извозчика с седоками держат путь по направлению моего извозчика. Езда была тихая, медленная, так как дорога к Большому вокзалу тогда была наполовину немощеная и изобилвала ухабами и неровностями.

Наконец, мы подъехали к калитке небольшого невзрачного домика. Симха объявил, что мы приехали, и предложил извозчику подождать, пока мы вернемся с багажом. Он открыл ка-

литку и вошел во двор, вслед за ним вошел и я, — и ловушка сразу стала очевидна³⁸.

Как из-под земли, выросла крупная коренастая фигура, которая моментально и весьма энергично захлопнула за мною калитку...

Хотя я был почти уверен, что извозчик с Желябовым и М[акареви]чем отстал от нас за несколько кварталов от этого домика, но на всякий случай я крикнул, насколько мог громко, условленное: «К о н ч е н о!» и вошел вслед за Симхой в домик, где очутился в ярко освещенной комнате, в которой находились три жандармских унтер-офицера при полной парадной форме. На Симхе буквально лица не было, — он был бледнее полотна и дрожал, как осиновый лист. Он тотчас же исчез, а мне старший унтер-офицер предложил присесть, объявив, что я, по распоряжению начальства, арестован и должен дожидаться здесь прибытия властей.

До-нельзя взволнованный, но напрягая все усилия, чтобы сохранить самообладание, я сел и моментально, не отдавая себе даже отчета, что делаю, сорвал с себя грим, наклеенные бороду, нос и усы и бросил их на пол. Старший жандармский унтер-офицер от неожиданности совершенно остоленел, но затем быстро нагнулся, поднял мой грим и укоризненно спросил: «Что это такое?!» Я ответил: «Не знаю, это не мое!» Но тотчас же я расхохотался и попросил его не беспокоиться, заметив, что все будет потом в свое время разъяснено к общему удовольствию.

Я вдруг почувствовал страшный упадок сил. Это была вполне естественная реакция после двухдневного чрезмерного нервного напряжения. Хотя жандармы, с присущей им «любезностью» и «гуманностью», предложили мне выпить чаю и закусить, но я от всего отказался и томительно ждал прибытия начальства. А ждать пришлось около двух часов! Мозг усиленно работал, как бы помимо моего сознания, беспорядочно и хаотически.

Наконец, раздался стук подъехавшего экипажа и скрип калитки. Через минуту предо мною стоял хорошо уже знакомый мне жандармский полковник Кноп с каким-то коренастым человеком маленького роста в штатском платье.

Кноп отрекомендовался, представил мне своего спутника, который оказался товарищем прокурора одесской судебной палаты — А р и с т о в ы м. Я ответил им молчаливым поклоном и ждал. Тогда Кноп с утонченной вежливостью светского человека обратился ко мне с упреком: «Молодой человек! В обществе принято, что когда одна сторона представляется, другая отвечает тем же: мы называли себя, ждем от вас того же». Улыбаясь, я ответил, что соблюдение этой формальности в данном случае я считаю излишним, так как он, Кноп, меня и без того хорошо знает.

Пытливо всмотревшись в меня, Кноп взволнованным голосом воскликнул: «Вы — Чудновский?!» Я, улыбаясь, молча, утвердительно кивнул головой...

— Вот,—обратился тогда Кноп к Аристову с полным укоризны голосом,—подите же! В этом молодом человеке я принял горячее участие, хлопотал перед третьим отделением о снятии с него полицейского надзора по студенческой истории. Я хотел помочь ему, дать ему возможность продолжать свое образование, а он вот — не прошло и полутора лет — вздумал осчастливить Россию, переделать русское государство, перевернуть его вверх дном!..

Затем, обернувшись ко мне, он голосом, полным упрека и укоризны, с горечью заметил:

— А как вы думаете, молодой человек, мое положение будет теперь приятное перед третьим отделением? Не скажет ли оно мне с полным правом: «А позвольте узнать, полковник Кноп, какой это Чудновский занялся революцией, — не тот ли это самый Чудновский, за которого вы так усердно хлопотали и за благонадежность которого вы ручались!?»

Я попросил Кнопа прекратить эту неуместную беседу, так как обстоятельства, при которых произошел мой арест, еще совершенно не выяснились. Может быть, ход дознания будет таков; что ему — Кнопу — и не придется краснеть перед третьим отделением; может быть, дело окажется отнюдь уже не таким страшным, каким он его уже себе с слишком большой поспешностью рисует. Теперь же я слишком устал и расстроен и прошу оставить меня в покое до завтрашнего дня, когда я представлю свои подробные объяснения.

Переговорив в соседней комнате с Аристовым, Кноп объявил мне, что они принимают к сведению мое заявление, но считают своим долгом теперь же отправиться вместе со мною на мою квартиру для производства обыска.

Меня отправили вперед на извозчике под охраной двух жандармских унтер-офицеров, а вслед за мной отправился Кноп с Аристовым.

Трудно изобразить, хотя бы и приблизительно, то душевное настроение, в котором я находился по пути к моей квартире.

Воспоминания о прожитом за последние четыре-пять лет с молниеносной быстротой проносились в моей памяти, чередуясь одно с другим, перескакивая одно через другое, вызывая во мне самые разнообразные впечатления: то радостное умиление, восторг и восхищение, то упреки, угрызения, горькое сожаление. Все пережитое за это время проносилось в моем безбрежном тогда воображении в самых ярких образах и картинах, властно и всецело мною овладевших...

Больше всего мучило меня опасение, как бы вместе со мною не попали в ловушку и Желябов с М[акареви]чем и как бы арест мой не повлек за собой преследований и других товарищей по кружку.

Свежий морозный воздух немного освежил мою разболевшуюся голову. Нервы мои постепенно успокаивались, и я принял твердое решение энергически бороться и пустить в ход все средства, чтобы совершенно себя изолировать.

Переезд тянулся для меня бесконечно долго. Мне казалось, что прошла целая вечность. Наконец, мы добрались до Полицейской улицы — до дома Кумбари.

Открылись ворота. Я поднялся на лестницу во второй этаж в свою комнату с своими невольными спутниками, а вслед за мной явились туда Кноп и Аристов. Первый поставил мне вопрос: живу ли я «вместе» с М[оргули]сом. Я был настороже и категорически заявил, что живу не «вместе» с ним, а «у него», нанимая в его квартире комнату, как малоизвестный ему жилец.

[Надо заметить, что незадолго перед этим я совершенно случайно узнал, что жандармское управление учинило наблюдение за М[оргули]сом, подозревая его в революционности, хотя никаких к этому оснований не было, так как М[оргули]с всецело отдал себя мирной культурно-просветительной и благотворительной деятельности на пользу обездоленного еврейского народа. Он полагал, (я говорю о том времени — первой половине 70-х годов), что «еврейский вопрос» стоит совершенно особняком и что разрешать его приходится независимо от партий и направлений самим евреям, в особенности в России, где евреи, по его мнению, составляли «пятое сословие» с обособленными классовыми интересами. Между мною и М[оргули]сом происходили по этому поводу неоднократно очень горячие споры, и М[оргули]с весьма упорно отстаивал свою точку зрения...

Как бы то ни было, революционером М[оргули]с никогда не был и ни к каким нелегальным организациям он не принадлежал. В канцелярии одесского жандармского управления были очень плохо, повидимому, осведомлены на этот счет, и Кноп хотел, очевидно, воспользоваться «подходящим» случаем, чтобы, для очистки своей жандармской совести, произвести у него обыск. Однако в то время были еще очень далеки от нынешнего «конституционного режима» с его усиленными и чрезвычайными охранами и военной диктатурой, а жандармы и прокуроры кое-что еще помнили и о стыде, и о законе, и о корректности. В виду моего категорического заявления, Кноп распорядился о производстве обыска только в занимаемой мною комнате. «Закономерность» того «доконституционного» времени простиралась даже до того, что прежде чем приступить к обыску, Кноп заявил мне, что, строго говоря, по закону не полагается производить в ночное время обыски, так что, в случае моего несогласия, он должен

будет отложить обыск до следующего дня. Тогда я, в свою очередь, поставил ему вопрос: будет ли отложен и арест мой вместе с обыском до следующего дня? Кноп объяснил, что арестован я буду во всяком случае теперь же, а для производства обыска в моей комнате на другой день меня могут завтра под конвоем доставить сюда. При подобных условиях я, конечно, от отсрочки отказался, поступившись своим «правом», и жандармы приступили к делу.

Само собою разумеется, что «предосудительного» ничего у меня найдено не было, о чем был составлен протокол, в котором подробно изложены были все обстоятельства, сопутствовавшие моему аресту, и указано было, что я, в виду взволнованного состояния, от дачи показаний отказался до следующего дня. Затем разрешили мне взять с собою первый том «Капитала» Маркса, соч. Лассалья и еще некоторые книги, а также тетради и письменные принадлежности, и препроводили меня в помещение местной полевой жандармской команды.

Было уже за полночь, когда меня подвели к этому помещению и водворили в небольшую, но довольно уютной комнатке, в которой находились кровать, стол и два стула. Все отличие этой комнатки состояло в том, что окно в ней было с решеткой, а в соседней комнате, за дверью моей, стоял часовой — жандарм с саблей наголо на плече.

Встретил меня седой жандармский капитан довольно сурового вида. Без всяких предисловий он пригласил меня войти в комнату, куда по его приказанию занесены были привезенные мною с собою постель и вещи, а также книги, письменные принадлежности и табак. Пожелав мне спокойной ночи, он удалился.

Я остался один. За дверью моей комнатки мерно шагал взад и вперед жандарм с саблей наголо, заглядывая от времени до времени в окно моей двери.

Крайняя усталость взяла свое. Я быстро разделся, потушил свечу, бросился в постель и моментально заснул крепким сном здоровой юности.

5

Поднялся я на другой день довольно поздно, отлично выспавшись. Умывшись холодной ледяной водой, я почувствовал себя бодрым и спокойным.

Мне заявили, что предоставляется мне право получать из ресторана обед за свой счет и что я могу вообще заказывать все, что угодно, на деньги, отобранные у меня при обыске. Я напился чаю, закусил и отправился освежиться во дворик, так как мне разрешено было гулять во всякое время дня по двору, на котором весь день «выводили» и обучали лошадей.

Я принялся обдумывать план своих показаний.

Прежде всего я установил положение, что я—пленник, задержан неприятелем и должен считать себя на военном положении. *A la guerre comme à la guerre*,—и в моем положении все средства самозащиты вполне допустимы и оправдываемы. Я решил, что откровенность и правдивость в показаниях для меня в создавшемся положении отнюдь и совершенно не обязательны, или, правильнее говоря, они обязательны для меня лишь постольку, поскольку это нужно и полезно для безопасности моей и близких мне лиц.

Задача состояла в том, чтобы весь эпизод представить моим единоличным делом, устранив раз навсегда возможность привлечь к «делу» еще кого-либо, кроме меня. Возникла было у меня мысль вовсе отказаться от дачи каких бы то ни было показаний, но от этой мысли я тотчас же отказался, находя нецелесообразным резко восстановить против себя жандармскую и прокурорскую власть.

В конце-концов, после долгих размышлений и всяческих соображений общего и местного характера, я остановился на следующей схеме показаний.

Мне известно было, что в Одессе добывание запрещенных книг от кишачих в ней контрабандистов — заурядное явление; этим путем я, как и другие, и добывал их. Как-то около 20 января, за неделю приблизительно до моего ареста, я столкнулся на Рихельевской улице с незнакомцем, оказавшимся впоследствии Симхой, который предложил мне приобрести у него разные хорошие нелегальные книжки. Субъект этот показался мне подозрительным, и я предложение его отклонил. Но Симха настойчиво продолжал преследовать меня своими предложениями; наконец, я, большой любитель хороших книг, крайне враждебно настроенный против цензуры, совершенно обесцветившей нашу периодическую печать, согласился принять его предложение и, во всяком случае, осмотреть предлагаемые им книги, так как одно это само по себе еще ни к чему меня не обязывало и никакому риску не подвергало. Я условился с Симхой сойтись с ним вечером 27 января в винном погребе на Почтовой улице, куда и явился в назначенное время, предварительно загримировавшись, чтобы не показаться в своем виде в том доме, в который Симха должен был отправиться со мною и где я мог бы столкнуться с такими лицами, знакомство с которыми для меня, дорожащего своей репутацией, могло бы быть вовсе нежелательно. Симха же, очевидно, завлек меня в коварно сплетенную им западню ради своей корыстной цели, которая остается для меня загадкой.

Такая система показаний казалась мне наиболее подходящей, так как она давала мне возможность ни о ком, помимо меня, не говорить, а на все вопросы, какие предлагались бы мне в этом направлении, я мог бы давать естественные отрицательные ответы. Конечно, эти объяснения могли бы показаться не совсем

правдоподобными, но так как беседа между мною и Симхой происходила один-на-один, без всяких свидетелей, то доказать в неверности показаний, думалось мне, не могло быть. Опасность в этом отношении могла явиться со стороны З[ейликовича], на квартиру которого я являлся за справкой о товаре, но вполне допустимо было предположение, что последний мог и не быть причастным предательству Симхи и не считать нужным, в интересах собственной репутации, признать во мне то лицо, которое являлось к нему под именем «Иванова», тем более, что посещения мои (всего их было два) были минутные и являлся я к З[ейликовичу] в слегка измененном виде. Что же касается подвoločиского посредника К[адайско]го, то я полагал, что его, как австрийского подданного, вряд ли решатся привлечь к допросу и что с ним, во всяком случае, товарищи по кружку успеют во-время войти в переговоры по этому поводу.

Проанализировав этот проект со всех сторон и окончательно на нем остановившись, я совершенно успокоился, вернулся в свою комнату-камеру и приступил к изучению «Капитала», составляя пространные конспекты.

Лишь на следующий день я вызван был к допросу в соседнюю с моей камерой комнату, в которой я нашел Кюпа и Аристову.

Допрос производился в весьма корректной форме и даже, как ныне принято выражаться, вполне «закономерно». Ровным и вполне спокойным тоном я представил вышеприведенное объяснение. Кюп и Аристов терпеливо и внимательно слушали, не прерывая моего рассказа, по окончании которого поставили мне некоторые вопросы и заявили, что, по имеющимся у них данным, показания мои не соответствуют действительности, что давление оказывать на меня они не в праве, но советуют мне в собственных моих интересах показывать одну лишь правду, так как этим я могу значительно облегчить свою участь и т. д. Я твердо стоял на своем. Составлен был протокол, и я, подписав его, удалился в свою комнату.

На другой день после допроса я был вызван вечером под конвоем двух жандармов с саблями наголо в помещение верхнего этажа, в квартиру начальника команды. Оставив конвойных у наружных дверей со строгим приказом не отлучаться от своего поста, капитан ввел меня в свой кабинет, в котором оказался мой старший брат, с большим трудом добившийся этого неофициального со мной свидания благодаря родственным связям с подрядчиком Г—м, доставлявшим для команды разные предметы, входя по этой части в разные «комбинации» с начальником команды, который не мог, поэтому, отказать ему в «услуге».

Ничего общего в политико-общественном отношении между мной и моим братом, хотя и очень меня любившим, не было, так что о товарищах по кружку я от него узнать не мог, да и считал это неудобным. Но я узнал от него, что никаких арестов в городе не было, что П[опи]ч цел и невредим и что товарищ про-

курора судебной палаты Аристов, у которого он успел уже побывать («как адвокат») в этот день, заявил ему следующее: «Ваш брат, бесспорно, лжет в своих показаниях, — это для нас вне всякого сомнения, хотя он лжет с апломбом и весьма уверенным тоном; но обстоятельства дела так благоприятно для него складываются, что уличить его во лжи невозможно, и поэтому все его дело и выведенного яйца не стоит, и придется, вероятно, скоро его освободить»...

Заявление Аристова ободрило меня. Оно совпадало с моим собственным предположением, и, не рассчитывая все-таки на «скорое» освобождение, я продолжал свои систематические занятия политической экономией вообще и всецело поглотившим меня «Капиталом» Маркса в частности, отдыхая в этой «кабинетной» (sic!) работе от напряженной и кипучей нервной жизни последних месяцев при обстановке с минимумом впечатлений.

Однако я находил необходимым познакомить моих товарищей «на воле» с сущностью моих показаний и поставить их в известность, что ни о ком из них меня и не спрашивали и что, повидимому, не подозревают даже не только о близких отношениях, но даже и о знакомстве с ними, в особенности с Волховскими, за которых я больше всего боялся, так как месяца два я жил у них на квартире, а столовался у них до самого ареста.

Но как им дать им знать? Как им написать?

Единственным посредником мог бы быть кто-нибудь из часовых жандармов, карауливших у моих дверей, но как сойтись с ними, как довериться им? А мне, как «министру путей сообщения» (как в шутку величал меня в веселую минуту Волховский), об этом следовало позаботиться не только ради данного случая, но и вообще, ибо мой арест если и был на юге России первым, то вряд ли можно было думать, что он будет последним!

Часовые у моей двери сменялись каждые два часа. Я принялся заводить с ними разговоры и исподволь «сворачивать» их. Одни совершенно уклонялись от ответов, другие, хотя и неохотно, но отрывисто и лаконически отвечали на вопросы, не вступая все-таки со мною в правильную беседу; но нашлись двое-трое и таких, которые оказались более покладистыми и менее пугливыми, охотно вступали в беседу, принимали от меня «папиросочки» и сладости, которыми угощал меня брат. Один из последних, К., особенно охотно и доверчиво беседовал со мной, выражал сердечное сочувствие моему положению, жаловался на тяжелую службу, на бедственное положение семьи, от которой его оторвали, и с большой готовностью принимал от меня «табачок» и «мелочь» для ребятишек. Мне показалось, что в нем-то я и найду вполне подходящего человека для сношений с «волей». И я не ошибся.

В один прекрасный день (на седьмой или восьмой после ареста) я осторожно положил на свою толстую тетрадь (для конспектов)

лист почтовой бумаги и при помощи шифра, которым кружок наш пользовался для переписки, подробно изложил все данные мною показания, — подтвердил, что ни в последних, ни в вопросах Кнопа и Аристова не упоминался никто из членов нашего кружка и вообще близких лиц, просил их быть на этот счет совершенно спокойными, просил их также дать соответствующие указания П[опи]чу на случай, если бы он был вызван к допросу об «Иванове», обо мне, о Симхе и т. д. При этом я просил уплатить за доставку письма (и ответа) один рубль, пообещав столько же за каждое дальнейшее письмо.

Положив письмо в конверт, я написал на последнем лишь три слова: «O, mon Dieu!» Дело в том, что у меня была застарелая привычка часто бессознательно восклицать: «господи! господи!» Привычка эта была хорошо известна всем моим близким знакомым, восклицание это стало как бы моей кличкой, так что надпись эта на конверте должна была сразу навести на мысль об авторе письма.

Когда К. стал на часы возле дверей моей комнаты, я повел с ним «приятельскую» беседу. Я объяснил ему, что у меня есть «большая приятельница», живет она там-то и там-то, на квартире Волховского, зовут ее Мария Осиповна. Она, наверное, очень беспокоится обо мне, и мне очень хотелось бы ей написать, но так, чтобы никто об этом письме не знал, — да вот никак не могу придумать, как это устроить.

К. таинственно-лукаво мне подмигнул, шепнув: «Сегодня же я передам и ответ принесу; пишите поскорее и передайте мне письмо»... Я вручил ему готовое письмо и просил его хорошо запомнить адрес, так как записать последний неудобно. Хохол-жандарм опять лукаво подмигнул, взял письмо, с виртуозной ловкостью спрятал его за голенище, охотно взял у меня полтину и, заслышав приближающиеся шаги, принялся, как ни в чем не бывало, шагать с саблей наголо по комнате.

Хохол преаккуратно исполнил поручение.

На другой же день я получил от Марьи Осиповны ответ, из которого я, к величайшей моей радости, узнал, что «на воле» все благополучно, что Желябов и М[акареви]ч целы и невредимы и вне всякого подозрения, что кружок наш продолжает свою работу и шлет мне братские приветы.

Тогда я уже окончательно успокоился. Я чувствовал себя бодрее, чем когда бы то ни было. Усердно и с наслаждением я изучал «Капитал», читал беспрепятственно доставлявшиеся мне журналы, каждые два-три дня переписывался через К. с друзьями «на воле» и терпеливо выжидал обещанного Аристовым «скорого окончания» не стоящего «выведенного яйца» дела и «скорого» освобождения из казармы.

Пророчеству Аристова не суждено было, однако, сбыться. Прошло 6 недель, пошла седьмая неделя, а я все еще за решеткой изучал «Капитал». К допросу меня больше не вызывали. Ни Кноп,

ни Аристов больше не являлись. Стали носиться упорные слухи, что меня скоро переведут в тюремный замок³⁹.

И действительно, в один прекрасный день жандармский капитан предложил мне собрать свои пожитки, не объясняя, в чем дело. После обеда он распрощался со мною и отправил меня, под конвоем двух жандармов, в тюрьму, находившуюся тогда возле Куликова поля — на том самом месте, на котором ныне красуется здание одесской земской управы.

С сильно бьющимся сердцем подъехал я к мрачному зданию городской тюрьмы, в которой по сентябрьской (1873 г.) однодневной переписи, в которой и я принимал участие, находилось около 700 заключенных всех видов: подсудимых, осужденных, пересыльных и др. Я же открыл теперь рубрику «политических»...

Ворота открылись, и жандармы направились со мною в «контору», где меня уже самым тщательным и бесцеремонным образом обыскали, отняв при этом у меня деньги, часы, табак, книги и письменные принадлежности. Высокий, стройный, с чисто разбойничьей физиономией смотритель Зубачевский приказал надзирателю отвести меня в надлежащее, заготовленное для меня место — в «секретную»...

Открылись передо мною вторые — внутренние — ворота. Мы прошли через широкий двор и вступили в двухэтажное здание специально для «арестантов», спустились в подвальное подземное помещение, прошли темный, до дрожи мрачный коридор и остановились возле толстой, железом обитой двери.

Отодвинули засов, впустили меня в отвратительное, совершенно темное, со склизким каменным полом помещение («каменный мешок»), в котором буквально ничего, кроме грязной тонкой подстилки и классической «параши», не было...

За мною захлопнулась тяжелая дверь, загremел и заскрипел засов, щелкнул замок, — и я бросился на подстилку с сразу отяжелевшей от промозглого воздуха и необычайной сырости головой.

Меня бессознательно и невольно охватила мысль, — ужасная, страшная мысль, — что я заживо погребен, что нет возврата к жизни...

И потянулись бесконечные, долгие, длинные, жестоко томительные дни, недели, месяцы, годы сурового одиночного заключения...

ГЛАВА VII

1

Охвативший меня в «каменном мешке» свинцовый сон длился недолго. Хотя я не снимал с себя ни одежды, ни ботинок, ни даже пальто, однако холод весьма чувствительно меня пробрал. Эти «каменные мешки», вероятно, или вовсе не отапливались, или отапливались очень плохо ради «экономии». Так как пришлось лежать на каменном полу, на который постлана была лишь весьма тоненькая, изрядно-таки выветрившаяся подстилка, то я через несколько времени почувствовал дрожь во всех членах. Я, как ошпаренный, вскочил и принялся усиленно шагать по камере, чтобы как-нибудь согреть свои окоченевшие члены.

Энергически шагая взад и вперед и усиленно потирая руку об руку, я кое-как с трудом, хотя и в самой слабой степени, согрелся, но уже ни прилечь, ни присесть не мог, так как меня тогда немедленно насквозь пронизывал холод, и я серьезно боялся замерзнуть. Так я прошагал до раннего утра, до «поверки», когда смотритель тюрьмы в сопровождении надзирателей и конвоя обходит камеры для проверки наличности заключенных.

«Поверка» эта, как общее правило, происходила два раза в день, утром и вечером, и производилась в самих камерах, но по отношению к «одиночкам» и в особенности к «каменным мешкам» делалось исключение: ограничивались поверкою через дверное окошечко.

Так было и на этот раз. Когда «поверка» удалась, надзиратель моего коридора подал мне через окошечко «порцию» ржаного хлеба (кажется, два с половиной фунта) и кружку кипятку, предложив мне, буде я пожелаю, купить для меня на мой счет чаю и сахару на деньги, отобранные у меня при обыске в конторе.

Сильно проголодавшись, я с жадностью набросился на хлеб, который оказался довольно доброкачественным и хорошо выпеченным. Посыпанный крупной солью, он показался мне весьма вкусным, и я с наслаждением уплетал его, съев в один присест около фунта и запив еду кружкой теплой воды.

Насытившись и немного согревшись, я опять прилег на свою подстилку, поручив надзирателю передать от моего имени

смотрителю, что я болен и прошу поставить в мое подземелье какую-нибудь койку и выдать мне мою постель.

При одной мысли, что мне придется длинный божий день (а по всем вероятностям, и целый ряд таких дней) провести в этом холодном, промозглом подземелье один-на-один, без книг, без всяких развлечений, всецело во власти своих невеселых дум и размышлений, я впадал в крайне удрученное состояние, — я вскакивал и принимался бегать по камере, стараясь всячески отвлечься от этих дум и сосредоточиться на каких-либо воспоминаниях.

Но «на воле» родные и друзья, очевидно, обо мне заботились. Часов около 11-ти послышались шаги в коридоре, приближавшиеся к моей камере. Загромыхал замок, заскрипел засов, дверь отворилась, и я увидел в своей «секретной» свирепого смотрителя тюремного замка в сопровождении человека средних лет в статском платье.

Последний, отрекомендовавшись тюремным врачом, предложил мне «показать язык», пощупал мой пульс, расспросил меня о моем самочувствии и тут же при мне заявил смотрителю, что я болен, что для моего здоровья сырое и темное помещение, в которое меня заключили, очень опасно и что необходимо перевести меня в больницу. Смотритель ответил, что он собственной властью сделать этого не может, так как я «серьезный политический» и заключен в одиночную секретную по распоряжению прокурора судебной палаты, но если доктор заключение свое изложит на бумаге, он, смотритель, его тотчас же лично отвезет к прокурору и рассчитывает, что в таком случае меня переведут в больницу.

Этот тюремный врач был не кто иной, как доктор Григорий Розен, который впоследствии приобрел столь нелестную известность между «политическими». Но я считаю долгом констатировать, что относительно меня он в течение всего времени пребывания моего в одесском тюремном замке проявлял большую и, повидимому, совершенно бескорыстную заботливость.

Смотритель сдержал слово.

В тот же день, к вечеру, я переведен был, по распоряжению прокурора судебной палаты, в верхний (второй) этаж тюремного здания, в одной половине которого помещалась больница. Мне предоставлена была отдельная, довольно уютная, чистенькая, веселая и светлая комнатка в одной из угловых башен. Здесь я нашел кровать со всеми постельными принадлежностями, столик и стул.

Переход из страшной подземной «секретной» в эту светлую комнатку с ее блестящим крашенным полом, к которой вел большой светлый с крашеным же полом коридор, был так резок и неожидан, что я как бы воскрес из мертвых, почувствовал даже некоторое удовольствие и преисполнился признательности к доктору.

По праву больного я получил на ужин белый хлеб, прекрасную кашу на масле и даже маленькую порцию вина. Я подкрепился, съев с большим аппетитом весь свой ужин, с наслаждением разделся, растянулся в своей маленькой постели и заснул крепким здоровым сном, и даже мое подземелье не приснилось мне...

На положении «больного» я пробыл в своей башне около четырех месяцев. Мне разрешили раз (а то и два раза) в неделю свидания с братом, снабжавшим меня книгами и обильной провизией.

Ежедневно с утра регулярно являлся в тюрьму Розен.

Прежде всего он заходил ко мне на две-три минуты, затем брал меня с собой, как бы в качестве ассистента, и отправлялся со мною по больничным палатам.

Обращение Розена с больными уголовными было довольно-таки небрежное, чтобы не сказать больше. Весь «осмотр» ограничивался созерцанием... языков больных. Войдет он в палату и монотонно повторяет: «Покажи язык, покажи язык!» Высунет больной язык, Розен мельком на расстоянии взглянет на этот жалкий язык, обернется к следующему за ним по пятам фельдшеру, продиктует последнему рецепт (довольно однообразный) и шагает дальше. А между тем в этих палатах лежали на койках обыкновенно довольно серьезные больные, так как в одесской тюрьме редко обращалось внимание на «пустые» болезни, при которых — в лучшем случае — довольствовались амбулаторным их лечением с отпуском в камеры больничных порций, которыми (особенно белым хлебом) арестанты очень дорожили, так как общая пища бывала здесь до-нельзя плохая и скудная...

На что доктором обращалось особенное внимание, — это на чистоту больничных палат.

Полы как в них, так и в коридорах всегда блестели, как зеркало, они составляли предмет особой заботливости и сугубой гордости Розена. Эти блестящие полы создали ему в глазах администрации прекрасную репутацию очень ревностного врача. Поддерживать же полы, потолки и окна палат в образцовой чистоте в тюремной больнице не представляло особенной трудности при подневольном и бесплатном труде служителей-арестантов, крайне дороживших улучшенной больничной пищей и той относительной свободой, которой они здесь пользовались, и сильно боявшихся, с другой стороны, расправы смотрителя Зубачевского в случае жалобы на них со стороны врача.

Больничные служители продавали обыкновенно за жалкие гроши свои больничные порции более имущим арестантам, довольствуясь скверной пищей последних (классической «баландой» с плавающими в ней редкими волокнами мяса) и употребляя вырученные за свои «порции» деньги на табак, а главным образом на игру в карты, которая сильно распространена была в тюрьме, невзирая на строжайший запрет...

Моя камера-башня днем совсем не запиралась. Я свободно расхаживал по всем палатам и по коридору, имел свободный доступ в камеры «дворянского коридора» и имел возможность гулять во всякое время. Мне ставилось лишь в обязательство, в случае прибытия в тюрьму (о чем немедленно всякими путями давалось всюду знать) каких-либо властей административного и прокурорского персонала, заходить немедленно в свою камеру и приказать надзирателю запира́ть меня на замок, пока власти не уедут.

На второй половине верхнего (второго) этажа находились «дворянские камеры».

«Дворяне» пользовались здесь особыми привилегиями как по положению, так и потому, что смотритель тюрьмы Зубачевский, отставной юнкер, лишенный всякого образования, даже малограмотный, свое «дворянское звание» высоко ценил и, будучи до жестокости свиреп и взыскателен к низшего ранга (мещанского и крестьянского звания) уголовным арестантам, к которым он относился неизменно с глубочайшим пренебрежением и презрением, в то же время весьма благоволил к «дворянам», хотя бы и заключенным за решетку. Все они в его глазах были «благородные люди», да и самые преступления, за которые большинство «дворян» попадалось под суд (подлоги, подделки, злоупотребления по службе), пользовались как бы некоторым уважением со стороны Зубачевского, как преступления, присущие преимущественно «благородным людям».

Дворянские камеры очень редко посещались тюремной администрацией; «проверка» для одной лишь формы проходила мимо этих камер. Здесь образ жизни заключенных никем и ничем не регулировался: изо дня в день (правильнее, из ночи в ночь) «дворяне» играли в карты; вставали они поздно, обедали, когда заблагорассудится, безвозбранно получали пищу из дома и даже из ресторанов. Все они носили собственную одежду и собственное белье, беспрепятственно курили и без труда добывали во всякое время даже спиртные напитки.

Когда в «дворянских» камерах узнали о появлении в башне «политического», более «образованные» из них стали наносить мне «визиты». Рекомендуясь, они почти все заявляли себя жертвами «недоразумений», «интриг», «продажности чиновников», «подвохов», «стечения несчастных обстоятельств» и т. п.

Я не намерен останавливаться на характеристиках этих «дворян», так как они ничем особенным от общих типов уголовных, заключенных по многочисленным нашим тюрьмам, не отличались, а типы эти неоднократно уже изображали перья гораздо более веские и талантливые, чем мое скромное, чисто мемуарное перо. Но с некоторыми из них я все-таки позволю себе познакомить читателей.

Одним из первых посетил меня отставной поручик, пан Болеслав Лепинский.

Это был длинный, худой, весь иссохший поляк-католик лет 50-ти. Незадолго еще перед этим он был весьма состоятельным помещиком Подольской губернии (он был владельцем имения стоимостью свыше 200.000 рублей) но, благодаря своему беспутному образу жизни и полной непригодности к миру без «крепостных», он скоро окончательно разорился и впал в бедность, с которой он никак не мог свыкнуться и которая довела его до подложной подписи на векселе (в 1.300 р.), а затем и до тюрьмы, когда подлог обнаружился.

В лице Лепинского передо мною был чрезвычайно типичный шляхтич старых времен — шляхтич, не признававший человека вне шляхетского звания и видевший в мещанине и «хлопе» существо низшей породы, презренное быдло, которого благородный шляхтич не должен и не может, не роняя своего достоинства, удостоивать даже пожатием своей «благородной» руки.

Хотя я не имел чести принадлежать к «дворянскому» сословию и не принадлежал к христианам (а являлся даже евреем!), но я был «политический», а это в глазах пана Лепинского приближало уже немного человека к шляхте, так как «политика», как «благородное» занятие, приличествует, по его мнению, одним лишь привилегированным классам, а если ею занимается кто-либо иной, в жилах которого не течет шляхетская кровь, то он уже *eo ipso* до некоторой степени приближается к этому «благородному» сословию. К тому же пану Болеславу давно уже не приходилось беседовать о «политике», и появление «политического», казалось ему, должно было значительно пополнить этот чувствительный для него пробел и внести освежающую струю в утомительно скучную жизнь.

Пан Болеслав неоднократно путешествовал по Европе, побывал почти во всех столицах и других крупных европейских городах и не один раз, к величайшей его гордости, встречался на всевозможных торжествах и празднествах с императором Наполеоном III и императрицей Евгенией и со многими другими знаменитостями политического мира. О путешествиях своих он рассказывал часто и много, но... удивительное дело! Пан Лепинский целыми часами с особенным наслаждением, смакуя, повествовал о всевозможных увеселительных домах, о всяких спортах и развлечениях, об игорных домах и кафе-шантанах, о всех видах утонченного европейского разврата и пошлости, но ничего — решительно ничего — ему неизвестно было ни о знаменитых европейских библиотеках и читальнях, ни об ученых, ни о выдающихся общественных деятелях, ни даже о музеях и выставках художественных произведений. Его в Европе всюду интересовали лишь кокетки и игроки, которых он изучал, повидимому, довольно тщательно. Слушая повествования пана Болеслава, можно бы было подумать, что, кроме широкого

разгула, разврата и самого беспашабного прожигания жизни, ничего иного в Европе и не найдешь...

Пан Лепинский ниоткуда никакой денежной помощи не получал. А между тем он был очень большой любитель «трубки», длинного чубука, который он почти никогда изо рта не выпускал; вместе с тем он страстно любил поиграть в карты и считал необходимым, для сохранения своего престижа, раз или два в неделю посылать за обедом в ресторан. Естественно поэтому, что он от получения казенной «дворянской» пищи отказывался, предпочитал получать на руки причитающиеся «дворянские кормовые» деньги (15 к. в день), хотя, благодаря этой операции, ему приходилось дня три-четыре в неделю голодать, изредка присаживаясь к кому-либо из соседей и как бы удостаивая их «пробой» их пищи. Впрочем, временами у него появлялись деньги, — это тогда, когда ему «везло» в его благородном, дворянском времяпрепровождении — в игре в преферанс... Для яркой характеристики типа, который представлял собою пан Лепинский, небезынтересен следующий эпизод.

Хозяин ресторана, в который привилегированные жильцы дворянских камер время от времени посылали за обедом, как-то раз узнал от посланного тюремного служителя, что обед берется, между прочим, и для пана Лепинского. Оказалось, что во время оно этот ресторатор был крепостным этого самого пана Лепинского, и вот он, по простоте сердечной, попросил служителя передать Лепинскому, что тот может посылать в его ресторан, когда угодно, за какими угодно кушаньями, которые будут отпускаться ему бесplatно. Пан Лепинский рассвирепел: как смел служитель передать ему такое унижительное для «благородного» человека предложение, исходившее к тому же (о, ужас!) от бывшего его хлопа, которого он и на конюшне наказывал!..

Через несколько дней после этого вбегает в мою башню в большой ажитации пан Болеслав и убедительно просит ссудить ему 40 копеек: оказалось, что этот самый ресторатор явился к нему в тюрьму на свидание и он, пан Лепинский, считает необходимым, когда бывший его «хлоп» поцелует ему руку, подарить ему 40 копеек!.. Все мои резоны не действовали. Пан в своих «убеждениях» был непоколебим. Конечно, ресторатор 40 копеек от него не принял и к «пану» своему больше не являлся...

Самой важной персоной в «дворянском» отделении был бывший секретарь одесского полицейского управления Болотов, процесс которого в свое время наделал большой шум по всей России.

Попал Болотов на скамью подсудимых и в тюрьму из-за... публичных домов и проституток, из которых он путем самых возмутительных и диких мероприятий создал для себя чрезвычайно своеобразную и необыкновенно гнусную статью дохода обширных размеров, на много лет предвосхитив в этом отношении «ге-

роев» тыла в Манчжурскую войну. На суде перед публикой и присяжными заседателями развернулась такая картина безграничной и бесцеремонно-циничной эксплуатации несчастных «жертв общественного темперамента», что этому бывшему московскому частному ходатаю по бракоразводным делам, при всей его беззастенчивой ловкости, никак нельзя было отделаться от ссылки в Сибирь.

Это был в высшей степени изящный и представительный мужчина высокого роста, прекрасно сложенный, даже красивой наружности, с весьма гордой и импонирующей осанкой. «Шпанка» при встрече с Болотовым невольно останавливалась и отвечивала ему низкие поклоны, видя в нем важную особу высшего полета.

Болотову протектировала вся одесская полиция, начиная с полицеймейстера и вплоть до околоточного надзирателя; оказывал ему особое почтение и сугубое покровительство и смотритель Зубачевский, которого в высокой степени восхищали молодецкие подвиги Болотова во время его секретарства. В Болотове Зубачевский видел необыкновенно ловкого, талантливого и выдающегося дельца, виртуозно искусного в созидаании «доходов», страсть к которым не чужда была и ему, и он всячески афишировал свою благосклонность к этому фавориту полицеймейстера Антонова, в тайниках души своей питая надежду, что при протекции Болотова, сохранившего еще большие связи в полицейском мире, ему удастся получить «пристава» — высший идеал, к которому он стремился...

Болотов пользовался (конечно, в районе тюрьмы) неограниченной и полной свободой. Ему одному во всякое время разрешались свидания с женой и знакомыми на квартире смотрителя без всяких свидетелей и без всякого надзора. Он брезгал «казенным» содержанием и кормил себя очень обильно и вкусно на собственный счет (на сколоченные, очевидно, денежки от «девушек»). Держал он себя чрезвычайно важно и даже сановито, удостаивая своей беседой лишь очень немногих и подчеркивая явно, при каждом удобном случае, свое превосходство над окружающими.

Вставал Болотов (как подобает «барину») очень поздно, торжественно облачался в бархатные сапоги и великолепный халат на шелковой подкладке, важно распивал из собственной хрустальной посуды прекраснейший чай, вкушая при этом великолепные печения самым аппетитным образом; затем он с час времени посвящал тщательному туалету и отправлялся на прогулку, после которой его вызывали обыкновенно на свидание к красавице жене, просиживавшей у него по 2—3 часа, а то и больше. После свидания служитель камеры накрывал ему отдельный столик чистой скатертью снежной белизны, и Болотов в величественном одиночестве поглощал обед из нескольких вкусно приготовленных блюд. После обеда этот «сановник» отдыхал часа два-три, почитывал переводные иностранные романы, усаживался за

вечерний чай, после которого он с «отборной» компанией усаживался за карты и лишь поздней уже ночью ложился в свою мягкую постель, отправляясь на покой с приятным чувством человека, исполнившего посильно свой долг.

Этот Болотов, которого вся тюрьма презирала и в то же время очень боялась в виду его близких и интимных отношений к Зубачевскому, был пошляк и циник 96-ой пробы. Для него на свете не существовало буквально ничего святого. В цинизме своем он был до крайних пределов откровенен и нагл. С апломбом изрекал он такие великие истины, что на свете (по его «глубокому убеждению») все можно покупать и продавать, что свет создан и существует только для «умных людей», а «дуракам» (к ним он авторитетно причислял всех тех, кто не сумел создать себе карьеру из-за разборчивости в средствах) на этом свете не должно быть места, что никому ни до кого не должно быть никакого дела и т. д.

Естественно, что я всячески избегал сближения с этим отборным экземпляром homo sapiens, но от бесед и встреч с ним оградить себя я, конечно, не мог. И Болотов не стеснялся и передо мною демонстративно развивать свою «философию», выработанную «многолетним житейским опытом»: для человека, по его «глубокому убеждению», существует и может существовать один лишь интерес — деньги, так как на них и держится весь мир; идеи, идеалы, долг, мораль, обязанность, этика — все это вздорные и пустые слова, сочиненные умными людьми для дураков и в действительности вовсе конкретно не существующие. Все эти фантастические отвлеченности не больше как удочки, на которые «умные люди» улавливают глупцов ради создания своего благополучия.

Единственная и неотъемлемая добродетель Болотова состояла в полнейшей откровенности, граничившей с наглостью и цинизмом. Он бравировал своей безправственностью и своей пошлостью, демонстративно разоблачая их перед всеми и каждым, всячески при этом иронизируя и даже издеваясь над «добродетелью» и «праведниками», над «честью» и «честностью». Он не скрывал своего полнейшего презрения к тем, кто интересуется «политикой» и из-за нее рискует своим личным благополучием: это, по его «глубокому убеждению», легкомысленнейшие фантазеры, напускающие на себя блажь. «Помилуйте, — патетически восклицал он, — какое мне до других дело! Чорт с ними со всеми, пусть все пропадают, пусть всех перевешают и перестреляют, лишь бы мое благополучие не страдало, лишь бы я благоденствовал!» В этих сентенциях исчерпывалась вся житейская философия Болотова.

И при всем том этот морально патологический субъект (должно быть, в силу притяжения контрастов) благоволил ко мне и даже неоднократно предлагал устроить мне (при помощи ежедневно посещавшей его супруги) побег из тюрьмы. Он раз-

вивал предо мною целые планы, как его супруга явится с своей подругой, принесет для меня женское платье, я переоденусь женщиной и выйду вместе с нею и т. д. Само собою разумеется, что услуги Болотова отклонялись мною по многим причинам...

Резким диссонансом в обширной «дворянской» камере являлся еще очень сравнительно молодой (28-летний) губернский секретарь Владимир Алексеевич Марушевский. Это был чрезвычайно кроткий, глубоко религиозный и добродушный человек, в высшей степени мягкий и предупредительный ко всем — не только «дворянам», но и «шпанке», чем он очень выгодно отличался от прочих господ «дворян».

Марушевский держал себя особняком, всегда на приличной дистанции от своих сожителей, ни с кем из них в близкие отношения не вступал, в карты не играл, а все свое время делил между книгами, свиданиями с женой и... голубями, которых как-то умудрился приручить: ежедневно голуби являлись к окну его камеры, располагались на подоконнике, на котором всегда находили заботливо приготовленный для них Марушевским корм. В общении с этими голубями Марушевский находил какое-то особенное наслаждение, пестовал и лелеял их целыми часам.

О своем «деле» Марушевский говорить не любил; оно, видимо, его мучило, и он, чуть ли не единственный из «дворян», никогда не выставлял себя жертвой «несправедливости». Он вполне признавал свою вину и кротко, со смирением ждал должного за нее возмездия.

Марушевский по профессии был частный адвокат и, как таковой, совершил несколько подлогов, злоупотребив доверием своих клиентов. С первого же момента, как подлоги его обнаружили, он признал факт своей вины; на следствии, а затем и на суде он во всем чистосердечно сознался и даже от защитника отказался. На суде он не отрицал своей вины, а искал лишь смягчающих обстоятельств в крайне критическом положении и, во имя своей семьи, просил у присяжных не оправдания, а лишь снисхождения.

Чуткий суд общественной совести совершенно его оправдал...

В верхнем же этаже тюремного флигеля, по близости от «дворянских» камер, находилась еще одна камера, так сказать, полудворянская. В ней помещалось несколько человек, обвинявшихся в подделке и сбыте фальшивых ассигнаций.

Запомнилась мне смутно из содержавшихся в этой камере лишь фамилия Мойсеева и вполне ярко фигура и облик Найера.

Как-то раз, во время прогулки по тюремному двору, ко мне робко подошел плотный, откормленный арестант среднего роста, с окладистой рыжей бородой, с чрезвычайно типичной еврейской физиономией, и отрекомендовался мне как купец из Геническа, по фамилии Найер.

На мой вопрос, по какому делу он попал в тюрьму, Найер, лукаво прищурившись, полутаинственно ответил мне, что он в тюрьме очутился «немножко по политическому, немножко по уголовному делу», присовокупив шопотом, что его обвиняют в сбыте фальшивых денег, которые фабриковал сидящий в одной с ним камере Мойсеев — его гравер и техник...

Через несколько дней этот Найер предложил мне для передачи писем на волю услуги его жены, которая ежедневно имела с ним свидания. И действительно, в тот же день жена его отнесла мое письмо Желябову, с которым у меня завязалась таким образом постоянная переписка, продолжавшаяся до самого его ареста. И я должен сказать, что услуги Найера были совершенно бескорыстны: жена его наотрез отказалась от всякого вознаграждения, хотя очень аккуратно и регулярно являлась на назначаемые ей Желябовым свидания, передавая ему мои письма и получая от него письма для меня. Найер в своих услугах усматривал инстинктивно нечто его возвышающее и облагораживающее...

По профессии часовой мастер и ювелир, Найер соблазнился перспективой легко и быстро обогатиться и занялся фабрикацией и сбытом фальшивых ассигнаций. Однако он очень скоро попался с поличным и теперь собирался в Сибирь в каторжные работы. В тюрьме он занимался кое-какими мелкими гешефтами, ссужал арестантам небольшие суммы под умеренные проценты, починал часы и т. п., зарабатывая таким образом маленькие деньги, на которые он содержал себя и своего бывшего «техника» Мойсеева. Как часовой мастер, он оказывал безвозмездные услуги смотрителю тюрьмы и за это пользовался льготами относительно свиданий и помещения.

Чрезвычайно типичную фигуру представлял О. М. Лернер (ныне уже покойный), впоследствии приобретший столь печальную известность на поприще «публицистики», как ближайший сотрудник Озмидова в «Новороссийском Телеграфе» в самый реакционный период его издания, а затем и как наиболее видный сотрудник «Ведомостей Одесского Градоначальства» при градоначальниках гр. Шувалове и знаменитом Нейдгардте, когда «Ведомости» играли совершенно особую специфическую роль.

Попал Лернер в тюрьму за подлог, а потому уже, в силу свойства его преступления, должен был очутиться в благородном «дворянском» отделении, но так как в то время он в христианство еще не перешел (ради свободной пропаганды — разрешения еврейского вопроса путем ассимиляции с русским населением, как он объяснял впоследствии этот переход), а пребывал еще в иудействе, то он был помещен в ту камеру, в которую водворяли привлекавшихся по преступлениям «немножко политическим и немножко уголовным», т. е. в камеру Найера и его К^о, хотя ему, в отличие от последних, разрешалось носить собственную одежду.

Лернеру было тогда 24—25 лет. Это был еще очень молодой и юркий человек. Профессия его была отчасти учительство,

отчасти частная адвокатура; но уже и тогда этот невзрачный, маленького роста, всей своей внешностью мало располагавший к себе человек лелеял грандиозные мечты о выступлении на журнальное поприще, и не как-нибудь, потихоньку, скромно, а с треском и эффектом. Уже и тогда, присоединяясь ко мне во время моих прогулок по двору, он осторожно и интимно посвящал меня в свой план, состоявший не больше и не меньше, как в том, чтобы, по выходе из тюрьмы, издавать периодический «Дневник писателя» и явиться некоторым образом продолжателем на литературном поприще... Достоевского!! При всей личине наружной скромности, которую этот не лишенный дарования журналист всячески силился принимать на себя в беседах со мною, я уже тогда чувствовал в нем неисчерпаемый запас тщеславной наглости и шарлатанского нахальства, который при крайней неразборчивости в средствах должен был далеко его завести; но все-таки я не думал, чтобы он дерзнул осуществить этот поистине кощунственный план. Однако Лернер дерзнул, и в самом скором времени, как только он отбыл свой срок заключения за подлог и вышел «на волю», он хлопотал себе разрешение на издание, и мне доставлен был в тюрьму первый номер его «Дневника писателя»⁴⁰.

Ограничиваясь беглым наброском этих нескольких уголовных фигур и возвращаясь к своему «делу».

3

Месяца через три или четыре после моего переселения в тюремный замок прибыл в Одессу член московской судебной палаты Крахт для производства предварительного следствия по моему делу, так как в то время, по общеправительственному порядку, производство предварительных следствий по политическим делам возлагалось на членов петербургской и московской судебных палат по очереди⁴¹.

После двух-трех допросов, в присутствии прокурора одесской судебной палаты Г. А. Евреинова, мне дали очную ставку с старым евреем Зейликовичем.

Последний, как бы после некоторых колебаний, заявил следователю, что я совершенно не похож ни по росту, ни по внешнему облику, ни по голосу на то лицо, которое под именем Иванова являлось к нему на его квартиру за справками о контрабандной посылке из-за границы.

Признаюсь, что когда составлен был протокол об этой очной ставке, у меня как-будто отлегло от сердца, так как после этого против меня оставалась уже одна лишь улика — факт моего появления в засаду вместе с Симхой и в гриме, что было, разумеется, слишком еще недостаточно для осуждения человека.

Однако на последнем допросе ловкий прокурор Евреинов крайне огорчил меня неожиданно поставленным мне вопросом: жил ли я в Вене в Josephstadt'e на Landsgasse?

Я почувал в этом вопросе что-то серьезно угрожающее и ухватился инстинктивно за случайную ошибку и ответил, что я, действительно, жил в участке Josephstadt, но не на Landsgasse, а на Lammgasse.

Впоследствии разъяснилось, что после моего отъезда из Вены туда доставлены были по моему адресу предварительной посылкой для распространения несколько экземпляров первого номера «Вперед». Посылка эта получена была в Вене уже после моего отъезда оттуда, а лицо, которому, по указанию моему, посылочка эта была передана, переслало ее в Подволочиск на имя К[адай]ского, который, в свою очередь, не потрудился даже вынуть номера «Вперед» из холста, на котором написан был адрес, и целиком присоединил посылочку к общему доставленному для меня в Подволочиск транспорту, так что когда прокуратура разобралась в «деле», она обратила внимание на это обстоятельство, являвшееся добавочной и серьезной против меня уликой.

После очной ставки с Симхой следователь, выдав мне копии моих показаний, заявил мне, что следствие им закончено и что меня, вероятно, через три-четыре недели повезут в Петербург, так как, согласно существовавшему тогда порядку, я подлежал суду особого присутствия правительствующего сената.

Пророчеству Крахта о «скором суде» не суждено было, однако, оправдаться, так же, как не оправдалось прежнее пророчество товарища прокурора Аристова о «скором освобождении».

Дело в том, что как раз в это время производились уже усиленные аресты по всей России. В среде чайковцев таковые начались еще до моего ареста в конце 1873 года (одним из первых чайковцев арестован был С. С. Синегуб); потом последовали аресты в Москве, в Саратове, в Самаре и во многих пунктах Поволжья. У нас, на юге, некоторое время все обстояло благополучно, но летом 1874 года произошли аресты в Киеве, а за ними (вследствие перехваченной в Москве какой-то переписки) был арестован и отвезен в Москву Ф. В. Волховский, а через короткое после этого время пошли аресты и в Одессе: арестовали некоего Завадского⁴², который совершенно самостоятельно вел социал-демократическую пропаганду между наборщиками в открытой им уже после моего ареста типографии и не примыкал ни к одному из находившихся в Одессе кружков; захвачены были братья Жибуневы, заперли под замок Щербину, Бутовскую и некоторых др., а в конце-концов (но уже значительно позже), арестовали и Желябова. В виду многочисленных арестов на обширной территории России, зародилась в правящих сферах мысль о грандиозном политическом процессе. В «сферах» принято было решение соорудить такое «сообщество», которое охватило бы если уже не всю Россию, то весьма импозантную ее часть — этак 30—40 губерний. И вот для создания того монстр-процесса, который впоследствии занесен был в летописи

нашей юстиции под названием «процесса 193-х», повелено было начальнику московского жандармского управления генерал-лейтенанту Слезкину под наблюдением прокурора саратовской судебной палаты Жихарева произвести дознание по делу о преступной пропаганде по всей империи... Хотя я привлекался по собственному «делу», по которому не обнаружена была прикосновенность каких-либо других лиц и по которому не только «дознание», но и предварительное следствие были уже совершенно закончены, власти, тем не менее, признали и нужным, и возможным, и законным приостановиться с моим судом, дабы так или иначе и меня приобщить к «Большому процессу» и судить меня совместно с другими.

И вот я продолжал сидеть — сидеть за решеткой без конца. В первых числах почти каждого месяца я вызывался, по моему требованию, в тюремную контору, писал там прошения и протесты на имя министра юстиции по поводу бесконечного моего заключения, невзирая на давно законченное предварительное следствие, причем также регулярно получался на эти прошения один и тот же неизменный ответ: объявить такому-то, что прошение его оставлено без последствий⁴³.

И я продолжал сидеть.

Некоторое, самое короткое, время после появления в одесской тюрьме новых «политических» я еще продолжал пользоваться привилегированным положением своим и оставался в башне под ближайшим попечением д-ра Розена. Положением этим я, разумеется, не мог не пользоваться, чтобы всячески облегчать и положение других: тюремные надзиратели свободно допускали меня в их камеры, я доставлял им книги, передавал им и от них письма, делился с ними пищею и т. д. Но в один прекрасный день меня лишили, наконец, моих привилегий: по распоряжению посетившего тюрьму прокурора одесского окружного суда Полторацкого меня изгнали из владений доктора Розена и перевели хотя и не в «секретную», но в одиночную камеру, и я очутился под замком, как и другие «политические».

Однако сношения между нами от этого не прервались: сначала они велись через посредство камерных служителей, а в скором времени, когда, в видах более тщательного и строгого за нами присмотра, наших надзирателей заменили жандармы, — через посредство последних. Некоторых из этих жандармов нам удалось настолько приручить и воспитать, что они всецело перешли на нашу сторону; они передавали «на волю» наши письма * и

* Один из этих жандармских унтер-офицеров Ор[ло]в, явившись к приятелю одного из заключенных с письмом от последнего и заметив в встретившем его брате этого приятеля некоторое смущение, сурово напустился на него и поразил его следующим демонстративным заявлением: «Вы что думаете, — я дурак, ничего не понимаю; я свое подлое начальство вот как понимаю, и как будет бунт и начнут мерзавцев вешать, я первый их повешу!..»

приносили нам ответы, не запирали наших камер и свободно допускали нас друг к другу. Как «жандармы», они считали себя независимыми от всякой иной власти и совершенно не подчиненными тюремной администрации, которая, в свою очередь, из традиционного страха перед чинами III отделения и в виду некоторых своих грешков боялась жандармов и предпочитала в их действия вовсе не вмешиваться, смотря на них сквозь пальцы. Однажды вышел пассаж, от которого мог бы сильно пострадать отличавшийся особенной отвагой и бесшабашностью довольно беспутный жандарм Ор[ло]в. Как-то раз в один из послепраздничных дней он явился к нам на дежурство совершенно сонным в виду разгульно проведенной ночи; отперев наши камеры и задвинув лишь их дверные задвижки, чтобы мы могли свободно ходить друг к другу, и оставив дверь моей камеры совершенно открытой, он сам завалился на моей кровати спать. Вдруг подают сигнал, что в тюрьму приехал прокурор. Бегу в свою камеру, но Ор[ло]в спит мертвым сном. Принялся я усиленно его будить, и немалого труда стоило мне разбудить его, так что он еле-еле успел позапирать камеры к моменту появления в нашей камере прокурора...

4

После годичного почти пребывания моего в заключении в Одессе совершилось «событие»: ее удостоил своим посещением тогдашний министр внутренних дел (бывший до того шефом жандармов) генерал-адъютант Тимашев.

Сообщено было, кому следует, что министр побывает и в тюремном замке. Пошла, разумеется, усиленная чистка и уборка. Полы больничных палат и коридоров натирались с остервенением, — они блестели, как зеркало*; всюду мыли, скребли, подмазывали, освежали, подновляли.

В один прекрасный день в тюрьме с раннего утра поднялась небывалая суета. По всем коридорам дано было знать, что сегодня «он» непременно будет. Надзиратели принарядились. Наши жандармы явились в полных парадных мундирах, в артистически вычищенных сапогах, тщательно причесанные и с нафабранными усами.

Наконец, свершилось! Явился Тимашев и в сопровождении чинов прокурорского надзора, полковника Кнопа, полицейских и тюремных властей принялся обходить тюремные здания и камеры...

Щелкнул замок у дверей моей камеры, и в камеру, в сопровождении Евреинова и Кнопа, вошел в полной парадной форме и во всем своем блеске генерал Тимашев, который хотя и не болтал о «полноте власти», но таковою действительно пользовался тогда в гораздо большей степени, чем нынешние министры, то и

* Д-р Розен удостоился особенной благодарности за эти полы!

дело кичащиеся этой пресловутой «полнотой», которая оказывается чересчур тощей от влияния «сфер».

В ожидании властей, я стоял в глубине камеры у окна и при их входе ответил на их поклон таковым же, не двинувшись с места.

Тимашев, остановившись посреди камеры, обратился ко мне с сурово-грубо-повелительным вопросом: по какому делу и как давно я арестован. Я ответил:

— По подозрению в покушении на распространение в России книг запрещенного содержания.

— Только по подозрению? — саркастически переспросил Тимашев. — А в действительности вы, конечно, ни в чем не виновны?

— Это выяснит суд, — холодно ответил я, — пока же дело идет лишь о подозрении, так как улики против меня никаких нет.

— Ваше высокопревосходительство, — подскочил тогда к Тимашеву полковник Кноп, — г. Чудновский хотел перевезти через границу восемь пудов запрещенных книг, которые мы перехватили.

— Что же так мало? — иронически обратился ко мне Тимашев.

Я удивленно пожал плечами. Желая положить конец неловкому положению, которое могло бы принять нежелательное направление, вмешался всегда тактичный и джентльменски вежливый Евреинов и заметил:

— Ваше высокопревосходительство, предварительное следствие по делу уже закончено, и, вероятно, скоро состоится суд над г. Чудновским.

Тогда всемогущий министр, вновь обратившись ко мне, язвительно заметил:

— Можете не беспокоиться: если улики против вас нет, то мы их найдем, найдем...

Затем он быстро повернулся и удалился.

Впоследствии я узнал от смотрителя Зубачевского что, по выходе из моей камеры, Тимашев обозвал меня «невежей» за то, что я в беседе с ним ни разу не величал его по титулу, а при входе его не приблизился даже к нему, ограничившись легким поклоном.

5

Время шло. Оно тянулось однообразно, тоскливо-долго, целой бесконечностью. Я продолжал сидеть за решеткой.

Прошло больше полутора лет, а я все еще томился за тюремной оградой, разнообразя свое томление... «пропагандой» в среде заключенных. «Пропагандировали» собственно вечно неунывающий Сергей Жебунев и некоторые другие наши союзники — политические. Я же от времени до времени набрасывал рефераты по разным вопросам политического и социально-экономического содержания и передавал их в распоряжение Жебунева и

компании⁴⁴, как дополнительное, так сказать, пособие для их «пропаганды». Сознаюсь, что лично я очень скептически относился к плодотворности «пропаганды» в среде уголовных, преимущественно «шпанки»*, но я не считал возможным отказывать в посильном своем содействии тем, которых я любил и глубоко уважал и которые смотрели на это иначе, чем я, — благо досужего времени у меня было более чем достаточно...

Поддерживала меня очень постоянная переписка с друзьями — товарищами по кружку, которая велась аккуратно и регулярно, благодаря вечно бодрому и энергическому Желябову, привыкшему исполнять все принимаемые на себя обязательства с щепетильной добросовестностью и полнотой, — а в данном случае им руководило еще не в малой степени и личное дружеское расположение...

Желябов посылал мне довольно часто длинные письма, в которых посвящал меня (пользуясь шифром) во все перипетии жизни нашего кружка. С большим удовлетворением и с радостью я узнавал, что, невзирая на все невзгоды, наш кружок, лишившись таких организаторских сил, как Волховский, все же беспрестанно развивался, расширялся и пускал глубокие корни в не совсем благоприятную почву. Меня очень радовало, когда я узнавал о присоединении к нему новых сил: Попко, Ланганса, Я[рошев]ко и др. Особенно я обрадовался, когда узнал, что к кружку нашему примыкают некоторые из культурно-просветительного кружка и в том числе один из наиболее идеальнo-правственных и весьма влиятельных его членов С[офья] Г[ригорьевна] Р[убинштейн]⁴⁵...

В один невеселый, чисто тюремный день мы узнали, что к нам в Одессу едет сам Жихарев, о котором у нас уже заранее составилось вполне определенное мнение, как о суровом, сухом и черством чиновнике-формалисте, который имеет твердое намерение из возложенного на него поручения сделать фундамент и прочную ступень для своей служебной карьеры.

С нетерпением ждали мы своего «гостя».

Давно жданный день настал. В коридоре заключенных подали сигнал о прибытии начальства. Приехал Жихарев и отправился по камерам политических.

Вот загремел замок у моих дверей, — твердой и властной поступью вошел в камеру плотный мужчина высокого роста, с крупными и весьма энергическими чертами лица.

Это и был прокурор Жихарев, которого сопровождал довольно еще юный и весьма юркий товарищ прокурора (кажется, саратовского же) окружного суда — Шубин, которому предшествовала слава «молодого, да из ранних», примостившегося к триумфальному шествию Жихарева, чтобы на судьбе сотен заключен-

* Были, конечно, исключения, в роде Пилаева, а в особенности Никиты Всеволодского, о котором так правдиво и сердечно рассказано Жебуновым в его воспоминаниях, напечатанных в «Былом».

ных урвать малую толику и для своей только что начинавшейся карьеры.

Поздоровавшись и отрекомендовавшись, Жихарев с Шубиным грузно уселись на поданных им стульях, и Жихарев предложил мне изложить ему обстоятельства «дела», приведшего меня за решетку.

Я повторил все те показания, которые приведены в VI главе, даны были мною и на дознании, и на предварительном следствии и вряд ли могли быть неизвестны Жихареву, который выслушал меня до конца спокойно, ни разу не прерывая моего изложения.

Когда я кончил и умолк, Жихарев тоном торжествующего победителя, абсолютно уверенного в своем всемогуществе, не без наглости сказал мне:

— Неужели вы думаете, г. Чудновский, что мы можем поверить правдивости ваших показаний? Нет же у вас никаких оснований считать нас глупее себя и видеть в нас, представителей власти, наивных простаков! Если бы еще вы попались н а м в первый раз, может быть, мы и приняли бы ваши показания за чистую монету. Но можете мне поверить на-слово, что когда мы скажем суду, что вы р е ц и д и в и с т, что уже участвовали в студенческих беспорядках, и участвовали, как коновод и подстрекатель, так что понесли кару в высшем размере, — поверьте, что тогда суд никогда не поверит вашим измышлениям. Вы думаете, что н а м неизвестны все ваши преступные похождения, что м ы не знаем, что вы ездили в Румынию, вели там агитацию против русского правительства, всячески злословя на его счет и дискредитируя его. Вы глубоко заблуждаетесь. М ы все знаем, мы знаем всю вашу подноготную, и мы все расскажем суду, который после этого уже, конечно, не поверит вашим неправдоподобным объяснениям. Советую вам, г. Чудновский, хорошенько обдумать сказанное мною и в собственных же своих интересах переменить свои показания.

— Но, — ответил я Жихареву, — ведь я здесь сижу уже больше полутора лет, для обдумывания у меня было слишком достаточно времени, и если я до сих пор не переменяю своих показаний, то, очевидно, одно из двух: или мне нечего в них менять, или я не желаю их менять. Допустим даже, что показания мои неправдивы, но закон ведь к правдивости меня и не обязывает. Что же касается вашего заявления относительно моей революционной агитации в Румынии, то на этом заявлении я могу только видеть, как и н а с к о л ь к о достоверны имеющиеся у вас обо мне сведения, ибо в Румынии я даже никогда не был.

И теперь, по прошествии больше тридцати лет, когда всему прошли всякие давности и я пишу одну голую и строгую правду, я подчеркиваю, что это «достоверное сведение» Жихарева было абсолютно ложное, так как я н и к о г д а — ни раньше, ни даже

позже — в Румынии не бывал, никаких знакомств и связей там не имел и не имею и никогда даже косвенно не пытался вести там какую бы то ни было агитацию. «Осведомленные» власти, очевидно, перепутали Сербию с Румынией и гордо кичились своим всеведением.

В конце-концов, всесильный Жихарев встал, отвесил мне небрежный поклон и, направляясь с своим адъютантом к дверям, сурово-наставительно сказал мне: «Вы пробыли в тюрьме полтора года. Это, конечно, не мало; но, поверьте мне, вы пробудете в заключении до суда еще гораздо больше времени, будете иметь еще много досуга, чтобы передумать и переменить свои показания»...

С этими словами всесильный в тот момент Жихарев с высоко поднятой головой (в сопровождении Шубина) удалился и скоро оставил тюрьму.

Оказалось потом, что и с другими «политическими» он был так же суров, как и со мною. Липь один Желябов, который только за несколько недель перед этим был арестован без всяких улик, очень понравился Жихареву и сумел убедить этого самонадеянного представителя прокуратуры в полной своей невинности и непричастности к какой бы то ни было организации, так что тот пообещал ему, что он будет через несколько дней освобожден на поруки, что, действительно, и было исполнено. Такая сравнительно снисходительность к Желябову, помимо отсутствия всяких осязательных улик (с этим и тогда уже не особенно считались) и умения Желябова гипнотизировать своего собеседника (даже таких толстокожих, как Жихарев), может быть до известной степени объяснима и условиями его ареста, происшедшего в вечер того самого дня, когда состоялось его венчание с Ольгой Семеновной Яхненко...

До глубины души возмущенный и преисполненный негодования, я, вслед за отъездом Жихарева из тюрьмы, вызвался в контору и написал там на имя министра юстиции обширную жалобу по поводу сделанных мне Жихаревым возмутительных угроз бесконечным заключением, пока я не перемену своих показаний. Я заявил министру, что не могу не считать подобную угрозу замаскированной пыткой, между тем как таковая отменена еще императрицей Екатериной II; я требовал скорейшего над собой суда и жалобу свою закончил обычным замечанием, что хотя я заранее знаю, что и настоящая моя жалоба, подобно всем предыдущим, оставлена будет министром «без последствий», но я рассчитываю, что она послужит будущему исторiku материалом для суждения о мере «правосудности» нашего времени.

Министерство оказалось, как всегда, чрезвычайно аккуратным. В самом непродолжительном времени мне объявлено было по приказанию министра юстиции, что моя «жалоба оставлена без последствий».

Прошло еще около года.

Уже перевалило за 2¹/₂ года с того момента, когда я был арестован.

Наступило лето 1876 года, а я все еще продолжал сидеть за решеткой одиночки одесского тюремного замка.

Давно уже закончился суд над паном Лепинским, который, благодаря его изможденному и крайне болезненному виду и красноречивой защите талантливому присяжного поверенного Я. И. Вейнберга, был оправдан*. Давно уже закончился суд и над знаменитыми Болотовым, который угодил на житье в Тобольск и в письмах оттуда ярко описывал свое благоденствие в стране Ермака Тимофеевича, весьма гостеприимно приютивший его.

Найер с компанией направлялись в наказание за свое «немножко политическое и немножко уголовное» преступление по исторической «Владимирке» в каторжные работы. «Дворянские» камеры давно уже наполнились новыми постояльцами, а «политические» и между ними и я — наистарейший — все еще продолжали сидеть и томиться.

Наконец, вспомнили и о нас. Увезли из тюрьмы Жебунева, за ним Бутовскую и других. Дошла очередь и до меня, и летом 1876 г.⁴⁶ я был препровожден под конвоем околоточного надзирателя на вокзал, посажен в вагон и через несколько дней благополучно прибыл в Петербург, из которого я отбыл семь лет тому назад в такой же обстановке — под конвоем полицейских — на свой юг...

Немалое удовольствие испытывал я от проезда по улицам Петрограда, к которому всего каких-нибудь 8 лет назад так жадно устремлялись все мои помыслы и мечты, в особенности когда я очутился на Литейном проспекте и (хотя издали) увидел свою alma mater — Военно-медицинскую академию. Воспоминания из прожитого овладели мною...

Вот и Шпалерная, и я очутился в конторе незадолго еще перед этим отстроенного и достаточно уже на всю Россию прославившегося «Дома предварительного заключения». Здесь меня самым тщательным образом обыскали, хотя я и прибыл не с «воли», а из тюремного замка и в сопровождении конвоира, записали мои приметы и поместили в одной крошечной камерке во втором, кажется, этаже.

Единственное маленькое, но очень высокое окно с покатым подоконником, прикрепленная к стене железная кровать, единственный железный табурет, газовый рожок и тут же... ватер-клозет, — вот в какой роскошной обстановке я очутился! Хотя

* Конец его был крайне трагичен. Через несколько недель после его освобождения его убили, когда он возвращался домой с полученными из банка деньгами, и его труп был найден совершенно голым в одном из захолустных переулков.

я очень устал от дороги, но заснуть в эту первую ночь я никак не мог: непонятный для меня ритмический непрерывный глухой гул, раздававшийся по всем направлениям, крайне тягостно действовал на мои нервы. Мне казалось, что стучат сами все стены, весь потолок, весь подоконник, что все кругом превратилось в сплошной терзающий меня стук. Этот безостановочный первый гул чуть не свел меня с ума в эту первую ночь моего пребывания в «предварилке», как заключенные прозвали это последнее слово «науки». Лишь к рассвету я, наконец, крепко заснул на несколько часов.

Возобновившийся гул разбудил меня рано утром. Я освежил разболевшуюся голову холодной водой и принялся порывисто шагать по своей крошечной камерке. Вдруг в дверях неожиданно открылась форточка. Я моментально подскочил. Кто-то (вероятно, надзиратель) передал через форточку хлеб и тут же моментально кинул в камеру свернутую бумажку и крошечный кусочек карандаша. Прошептав еле слышно: «друзья просят приготовить ответ», надзиратель захлопнул дверцу и побрел дальше.

Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь (даже сибирский) именинник чувствовал себя когда-либо так радостно и хорошо от подносимых ему подарков, как я от полученной маленькой записочки и крошечного карандашика! С невыразимым чувством признательности и благодарности к неведомым «друзьям» я развернул записочку, в которой мне сообщался ключ к перестукиванию с соседями и сообщалось неоднократно уже изображавшееся в печати оригинальное устройство «клубов» в «предварилке».

Нужно ли объяснять, что я безотлагательно принялся за промывку своего ватер-клозета, дабы поскорее приобщиться через его посредство к своему районному «клубу». Вместе с тем я быстро усвоил азбуку для перестукиваний и принялся за практику.

Теперь стены, как и ночью, посылали по всем направлениям стуки, но я уже не содрогался от этих стуков, а любовно прислушивался к ним, — они для меня ожили и облеклись в соответствующую плоть и кровь.

Первые «разговоры» мои по этой азбуке не отличались особенной плавностью и отчетливостью; я неоднократно путал, недостаточно громко отбивал удары, соответствующие данным буквам и словам, но мало-по-малу (и довольно скоро) я приобрел нужный навык и уже на другой день мог «разговаривать» со своими соседями, не вызывая с их стороны раздражения.

Я узнал, что некоторые из привлекавшихся по делу об обширном, якобы разбросанном по всей империи, сообществе находятся в Петропавловской крепости, что по этому искусственно созданному монстр-процессу еще дознание даже не закончено, а предварительное следствие по всему делу, взятому в целом, даже и не начиналось еще, — и возможно, что его и вовсе не будет, а дознание по высочайшему повелению превращено будет (как

оно и случилось) в следствие, что о времени судебного разбирательства еще ничего не слышно и что, повидимому, суда можно ждать далеко еще не так скоро и т. д.

Далее я узнал, что из одесситов в доме предварительного заключения содержится несчастный Завадский⁴⁷. Он был арестован в Одессе еще в 1874 году и, сильно нервно потрясенный, вскоре после ареста сошел с ума. Во всех своих окружающих он видел шпионов, так что когда я как-то после перевода его в одесский тюремный замок подошел к форточке его камеры и отрекомендовался ему, он самым серьезным тоном, полным горечи и укоризны, сказал мне: «Как же вы, Чудновский, о котором я от всех слышал столько хорошего, могли так низко пасть, что сделались шпионом и теперь, подосланные жандармами, приходите ко мне для предательства»... Уже в Одессе все обратили внимание на его сумасшествие, и, тем не менее, его отправили в Петербург под усиленным конвоем и заперли в ужасную одиночную камеру.

И вот через два года я узнаю, что этот несчастный, вся вина которого состояла в распространении учения К. Маркса между наборщиками открытой им (уже после моего ареста) в Одессе типографии, все еще мучится в заключении! Несмотря на чересчур явно обнаружившиеся признаки неизлечимой душевной болезни, принявшей в знаменитом «Доме» еще более грозные размеры, жестокая администрация не доверяла заключениям врачей, — она не доверяла очевидности и продолжала держать под замком в строжайшем одиночестве несчастного больного, нуждавшегося в сугубо-тщательном врачебном уходе и попечениях близких людей. Завадский упорно, невзирая на репрессии, отказывался от прогулок, не позволял проветривать свою камеру, в которой вечно стоял отчаянно удушливый и спертый воздух, он отказывался от всяких свиданий, не соглашался даже выходить на свидания с женой, он не принимал почти никакой пищи, а «правосудие» было неумолимо и ни за что не выпускало его из своих когтей. Жена Завадского обивала пороги всех властей, административных и судебных, она слезно умоляла и прокуроров, и департамент полиции, и самого министра юстиции Палена, но все было тщетно: ей не верили, врачам не верили, тюремной администрации не верили. Гр. Пален подозревал во всем симуляцию, он почти издевался над несчастной женой Завадского; бесчеловечная администрация собиралась даже отправить его этапным порядком в ссылку в Сибирь...

Я стал было уже совсем привыкать к образцовому «Дому», намереваясь прочно осесть в нем (время перешло для меня уже в бесконечность, и я перестал его считать) и завести там свой режим, как вдруг в одну прекрасную ночь, когда я ворочался в

своей постели, но еще не заснул, вошли в мою камеру и предложили мне одеться и отправиться в контору⁴⁸.

Сборы мои были, конечно, очень недолгие и несложные. Минут через десять я был уже в конторе. Здесь передали меня в распоряжение молодого жандармского офицера, который, приказав вынести мои вещи, не говоря ни слова, вышел вместе со мною на улицу, где нас ждала закрытая карета.

По приглашению офицера я сел в карету, в которой уже находился нижний жандармский чин. Вслед за мною в карету сел офицер. Захлопнули дверцы, и мы покатили. Я догадывался, что начинается новый акт моего заключения и что меня отправляют в ту самую Петропавловскую крепость, про которую я слышался уже не мало «хорошего».

Стражи мои хранили гробовое молчание. Ночь была темная, сторы на окна были спущены, я лишь смутно чувствовал, когда мы проезжали через мост.

Долго мы ехали. Наконец, карета остановилась. Отомкнули дверцы, вышел офицер, а за ним — по его приглашению — и я.

Передо мною очутились какие-то ворота, которые весьма гостеприимно раскрылись. Я вошел в небольшой двор.

Опять обыск, и еще более тщательный и усовершенствованный, — искали даже в местах неудобноназываемых. Мне предложили разоблачиться догола, забрали собственную мою одежду, взамен которой выдали «казенную»: нижнее белье сравнительно недурного качества, обшпирных размеров халат и таких же размеров туфли и длинные чулки. Повели меня опять, раба божьего, по полукруглому мрачному коридору. Возле одной камеры сопровождавший меня смотритель и «присяжные» остановились, отодвинули засов, любезно пропустили меня вперед, и я очутился на новосельи, мгновенно восстанавливая в своей памяти все слышанное мною про «Петропавловку».

Камера, отведенная в мое распоряжение, по размерам своим была значительно больше (и в длину, и в ширину) моих прежних квартир — камер в одесском замке и в «предварилке»; но света здесь было гораздо меньше. Окно расположено было очень высоко и выходило, как и вообще в камерах крепостной тюрьмы, к окружавшей последнюю со всех сторон толстой стене, так что в камерах получался отраженный свет, падавший сверху сквозь незначительное решетчатое окно. Смежные с соседними камерами стены были очень толсты, с внутренними пустотами, наполненными чем-то мягким (какой-либо, вероятно, мягкой материей), так что звуки от стука в них заглушались. В камере стояла кровать (с матрацем), которая не прикреплена была к стене и оставалась таким образом в распоряжении заключенных в течение целого дня; находился небольшой крошечный столик, один табурет и, как неизбежная принадлежность, клевет далеко не усовершенствованного типа, обуславливавший почти неизменный тяжелый спертый воздух. Постельное белье от-

пускалось также казенное, довольно доброкачественное, сменявшееся раз в неделю: простыня, наволочка для подушки, одеяло и полотенце.

Вообще, если бы не крайне чувствительная и неизбежная сырость и не отраженный, весьма вредный для зрения, свет да решетка, — можно было было считать обстановку крепостной тюрьмы довольно сносной.

Хуже всего действовал «глазок» в дверях, который мгновенно подымался каждые три-четыре минуты, чтобы иметь заключенного под непрерывным наблюдением. Этот «глазок» да монотонные мелодии, отбивавшиеся крепостными часами каждую четверть часа, до-нельзя тягостно действовали на нервную систему заключенных, доводя некоторых из них до полного иступления и потери самообладания.

Кормили в крепостной тюрьме * в то время очень недурно. Отпускалось тогда от казны на содержание каждого заключенного, кажется, 85 коп. в день (вместо 10—15 коп., отпускавшихся в других тюрьмах), и хотя, без всякого сомнения, далеко не вся эта сумма расходовалась по назначению, все же пища давалась довольно доброкачественная, а в сравнении с пищей в других тюрьмах — даже роскошная. Утром и вечером нам давали по кружке чаю и по три куска сахара и по двойной белой булке к чаю. В 12 часов давали обед, состоявший обыкновенно из трех блюд: 1) борщ или суп с мясом, 2) жаркое, котлеты, бифштекс, телятина, — вообще второе мясное разнообразилось, и 3) сладкое. Часов в восемь вечера подавалось к ужину что-либо мясное. Куращим отпускались даже казенные папиросы (кажется, десяток в день). В воскресные и праздничные дни к чаю подавался свежий филипповский калач, а обед состоял из четырех блюд. Помимо этого, разрешалось передавать смотрителю деньги для заключенных, и можно было выписывать хоть ежедневно за свой счет безвозбранно все, что угодно. Само собой разумеется, не полагалось здесь ни ножей, ни вилок: блюда подавались в металлической (оловянной) посуде, и полагалась лишь деревянная ложка для жидкого. Мясо подавалось разрезанным на мелкие кусочки.

Раз в месяц водили нас в находившуюся во дворе очень недурную баню, где каждому отпускалось мыло и мочалка, и к услугам находился даже казенный банщик.

8

Словом, все было бы хорошо в «Петропавловке», если бы не отсутствие всякой жизни, если бы не эта гнетущая мертвечина, это полное строжайшее одиночество, в котором я очутился в крепостной тюрьме на первых порах.

* Впоследствии все коренным образом изменилось, пищевой режим не отличался от общетюремного отвратительного режима.

Первые недели прошли в абсолютнейшей, безусловнейшей изолированности, как бы рассчитанной на то, чтобы я имел возможность составить себе вполне отчетливое представление об этом гениальном продукте «прогрессирующей» мысли человеческой в сфере уголовного права и «государственного» воспитания. Выпадали минуты, когда положительно становилось страшно от кругом царящей воистину могильной тишины. В такие минуты невольно охватывали отчаяние и чувство обиднейшей беспомощности и безысходности, безвозвратности жизни, содрогалось сердце и мутился рассудок...

Насквозь пронизывающая сырость, против которой своеобразная и обязательная «казенная» одежда представляла слишком плохую защиту, вечный полумрак, не дававший возможности без опасности для зрения долго предаваться чтению, холодный асфальтовый пол, непрерывное подымание и опускание «глазка» в двери, монотонный бой каждую четверть часа крепостных часов — все это действовало крайне подавляюще на нервы, и без того уже сильно истрепавшиеся за слишком 2½-годовичное заключение в тюрьме. «Присяжные», как и служителя-солдаты, убиравшие под их наблюдением камеры, строжайше хранили гробовое молчание, которое нарушал один лишь смотритель подполковник Богородский на 5—10 минут: ежедневно посещал он меня, усаживался на табурет или кровать и шопотом заводил беседу о разных житейских делах, по-отечески утешал заключенных и успокаивал их.

Прогулки разрешались через день на четверть часа. «Присяжный» торжественно вносил в камеру из цейхгауза хранившуюся там собственную одежду, заключенные сбрасывали ненавистную казенную одежду и облачались в собственную, после чего их выпускали (разумеется, под конвоем) в круглый небольшой дворик, по которому они монотонно прохаживались поодиночке, делая определенное число кругов; а в камере каждого подневольного жильца производился, тем временем, пока он оставался во дворе, тщательный обыск, о чем свидетельствовала обыкновенно помятая постель, сдвинутая с обычного места подушка, немного выдвинутый ящик стола и т. п.

Сердце сжималось от боли, когда, вышущенные из камеры, мы проходили мимо ряда дверей с тщательно опущенными на окошки «глазками». Знаешь, что за этими дверями находятся близкие тебе по духу люди; знаешь, что они, как и ты, мечутся, как травленные по своим камерам, не находя себе успокоения; но кто именно здесь находится, ты не знаешь и ни у кого узнать не можешь, и ничем, абсолютно ничем ты им помочь не можешь. Это — ужасное, мучительное сознание!..

И на прогулках, и в камерах приходилось волею-неволею жить воспоминаниями о прошлом и былом, анализом и рефлексией. И благо тому, у кого в его прошлом и былом накопилось достаточно материалов для вторичного и третичного мыслен-

ного их переживания! Это спасало от многих тяжелых и очень горьких минут, это спасало не одного от отчаяния и безумия. Целыми часами, бывало, шагаешь себе по камере, и в памяти твоей воскресают образ за образом из далекого и близкого прошлого, фантазия твоя разыгрывается, и ты действительность и реальность дополняешь желательным и возможным, мысленно благословляешь одних и проклинаешь других, комбинируешь минувшие и безвозвратные факты и обстоятельства и соображаешь на все лады: что и как было бы, если бы эти факты и обстоятельства сложились не так, а иначе — на один, другой, третий лад, — и шагаешь, шагаешь, шагаешь взад и вперед без конца!..

9

Прошло недели три-четыре, и у меня появились соседи. «Заговорили» подоконник и спинки железной кровати.

Оказалось, что над моей головой, в верхнем этаже, помещался Мышкин, и путем постукивания в железную спинку кровати или в подоконник, на который с трудом вскарабкаешься, рискуя каждую минуту быть захваченным надзирающим оком, мы скоро познакомились и «переговаривались» по несколько раз в день усвоенным в «предварилке» способом. Так как моя камера являлась как бы центральной, то мне пришлось принять на себя роль передаточного пункта из одного края тюрьмы в другой: вызывает меня стуком никогда не унывавший Аверкиев, помещавшийся в левом от меня крае, поделится со мною (обыкновенно после свиданий) разными «новостями» и сообщениями; я вызываю заключенного, помещавшегося в крайней камере правого края, и передаю ему полученные «новости», и последними, само собою разумеется, пользуются и все находившиеся в промежуточных между нами камерах...

В крепостной тюрьме практиковался нами еще один способ для сношений — путем книг и журналов, выдававшихся нам из крепостной библиотеки, довольно богатой по части беллетристики и периодических журналов за предыдущие годы (за текущий год журналы вовсе не выдавались, как и газеты вообще). Книги можно было менять ежедневно, — и стоило только, заранее условившись, определенным образом подчеркивать соответствующие буквы на определенных страницах, чтобы этим путем завести регулярную «корреспонденцию». Но приходилось соблюдать при этом большую осторожность, так как смотритель нас всех предупредил, что за подобную провинность нас будут лишать права пользоваться библиотекой, что составляло, разумеется, весьма чувствительное лишение *.

* Меня однажды лишили этого права на две недели, так как в возвращенной мною книге нашли подчеркнутые буквы, хотя в этот именно раз подчеркивал не я.

«На ловца и зверь бежит!» В первых же выданных мне из библиотеки книжках какого-то журнала (кажется, «Дела») я наткнулся на «письмо» Нечаева. Проследивши и выбрав подчеркнутые ногтем на разных страницах буквы, я получил скорбное повествование о чрезвычайно суровом заключении в ужасном Алексеевском равелине в ручных и ножных кандалах этого железного по воле и беспримерного по энергии человека. Повествование это меня глубоко поразило и потрясло. Я как будто услышал голос с того света — голос, от которого я весь содрогнулся, сознавая, что помочь этому «заживо погребенному» буквально ничем не могу. Все, что я мог сделать, это то, что я поделился этой скорбной повестью с своими соузниками.

Помимо выдававшихся нам из тюремной библиотеки книг, многим из нас родственники и друзья доставляли книги «с воли», но при этом разрешалось доставлять одни лишь новые, не разрезанные еще книги, которые уже «на волю» обратно не возвращались, а оставлялись в тюремной библиотеке, как собственность, постепенно обогащая таким образом библиотеку*.

Свидания разрешались только с самыми близкими родственниками. Давались они раз в две недели в особой комнате в присутствии жандармского штабс-капитана Лесникова. Посреди комнаты во всю ее ширину помещался длинный и широкий стол; по одну сторону этого стола усаживались посетители, являвшиеся на свидание, по другую сторону vis-à-vis заключенный, к которому явились на свидание, а около него располагался Лесников, так что беседа фактически и обязательно происходила громко и через стол. Умудрялись, однако, несмотря на все предосторожности, передавать иногда при свидании и записочки, но тогда приходилось хранить их во рту, так как на свидание нас выводили в собственной одежде, которая по окончании свидания снималась в присутствии «присяжного» и передавалась последним обратно в цейхгауз. Вряд ли нужно прибавить, что каждый из нас по возвращении со свидания делился обязательно с другими своими «новостями».

Наконец, не могу не отметить еще одного источника для «новостей». Я уже заметил, что нам строжайше запрещалось получать газеты, а между тем, когда находишься за решеткой, жажда знать, что происходит на белом свете, превращается просто в страсть. И вот, бывало, когда по утрам доставляются в камеру небольшие лоскутки газетной бумаги для известных надобностей — по пословице: «голь на выдумки хитра» — принимаешься тщательно сортировать и прилаживать эти лоскутки, и иногда удается так их подобрать, что кое-как, при помощи догадок, восстанавливаешь с некоторой приблизительностью кое-какие газетные сообщения, иногда даже очень интересные, хотя бы за

* Мне раз принесли четыре тома психологии Спенсера, которые по прочтении мною и поступили в собственность библиотеки.

истекшую неделю или даже за истекший месяц. О, тогда наступает полное торжество: безотлагательно взбираешься на подоконник и принимаешься телеграфировать направо и налево «последние новости»...

Случалось еще и так. Принесут кому-либо «с воли» провизию (одно время это разрешалось), тщательно завернутую в несколько газет. При осмотре верхние газеты отбирают, нижняя же, совершенно замасленная и в жирных пятнах, все-таки до тебя доходит, и она же оказывается наиболее интересной, — и опять действует «телеграф», опять разносятся стуком «последние известия».

Таким образом, за отсутствием реальной жизни, мы искусственно всяческими способами старались создавать для себя какой-либо суррогат этой жизни, и хотя суррогат этот очень плохо заменял реальную жизнь, но он, тем не менее, был незаменимым кладом для запертых в «Петропавловку» и целые годы томившихся за тюремной оградой.

Нервы расстраивались, многие доходили до галлюцинаций, до потери всякого самообладания, даже до безумия, — и не один раз сердце обливалось кровью, когда из той или другой камеры раздавались неистовые, искусственно заглушаемые стоны и крики больных товарищей...

Никогда из моей памяти не изгладится следующий эпизод.

Как-то раз над головой моей началась необычная возня, слышались отчаянные стуки, какие-то неистовые, нечеловеческие крики; до меня долетало даже отчаянное истерическое взвизгивание: «прокурора, прокурора, про-ку-ро-ра!» Ясно было, что с моим верхним соседом случилось что-то экстраординарное, что-то nefarious.

Разыгралась фантазия, разбушевалось воображение, большая память принялась воссоздавать разные легенды и рассказы о жестоких насилиях и зверствах за крепостными стенами...

И вот я чувствую, что достаточно уже истрепавшиеся нервы мои до-нельзя напрягаются и натягиваются, что я как бы раздвоился на два субъекта, внутренний и внешний: последний чувствует, что в первом все клокочет и трепещет, но он, однако, собой еще владеет и даже сознает, что ему необходимо, что для него обязательно следить за внешним «я», забрать его в руки, не давать ему разойтись хотя бы ради спокойствия окружающих его соседей — товарищей; однако внешний субъект моего «я» мало-по-малу начинает чувствовать, что не совладать ему с внутренним «я», что он, наоборот, уже всецело захватывается последним, он уже отчетливо сознает, что назревает скандал, которого уже никакими силами не остановишь...

И действительно, через несколько минут я очутился около двери, принялся неистово топтать и стучать ногами, отчаянно забарабанил в дверь кулаками, книгой, всем своим корпусом. «Смотрителя, смо-т-ри-теля!» — кричал я неистово, как бы не

своим голосом. «Прокурора, про-ку-ро-ра, прокурора требую, еко-рее прокурора!» — неистово ревел внутренний «я» к ужасу внешнего «я»... Прибежал конвой, явились «присяжные», пришел смотритель. Он сделал мне строжайший выговор, заявив, что в крепости не полагается требовать прокурора, да еще таким способом, а в наказание «за буйство» перевел меня в одну из дальних камер, где по соседству никого не было.

Когда я немного успокоился, зашел ко мне старик — смотритель. Он уселся на мою кровать и ласково, отечески принялся меня урезонивать. Он рассказал, что с Мышкиным случился первый припадок: мылся он в бане, — вдруг он рванулся и выскочил оттуда совершенно голый и принялся в этом виде бешено кружиться по двору. С величайшим трудом удалось увести его в камеру, в которой он произвел полный разгром и требовал во что бы то ни стало и немедленно прокурора для объяснений по поводу убийственного замедления с судом...

Да, много требовалось жизнерадостности, веры в лучшее будущее и грядущее человечества, требовалось очень много самообладания, чтобы как-нибудь сжиться и мириться с гнетущей обстановкой⁴⁹.

Однажды я «разговорился» с своим соседом; из характера его «разговора» я почуял (чуткость в одиночке страшно развивается!) что-то неладное и инстинктивно догадался, что с соседом плохо. Я завел с ним длинную «беседу», неоднократно прерывавшуюся замечаниями «присяжных». Я принялся «рассказывать» ему всевозможные веселые анекдоты, расспрашивал его о разных-разностях, мало-по-малу втянул его в «разговор», который затянулся до глубокой ночи. На другой день сосед признался мне, что он накануне близок был к самоубийству и что только своими «разговорами» я отвлек его от мрачных мыслей и поспособствовал успокоению его нервов...

10

Боже мой, как тоскливо, как бесконечно-грустно тянулось время, а мы все сидели за решеткой и ждали!

Настала пасха 1877 года. В первый день мой верхний сосед Мышкин стуком своим разбудил меня рано утром. Он поздравил меня с праздником, с воскресением христовым, и выразил уверенность, что скоро и наш христос воскреснет, и мы все возродимся к новой жизни заодно с нашей общей дорогой родиной. На эту тему мы долго «беседовали» с ним и с другими товарищами.

Этот символический праздник навевал на нас во все время нашего заключения (как впоследствии и в ссылке) особое торжественное настроение, — он как бы возрождал нашу бодрость, нашу веру и наши надежды посреди окружавшего нас мрака.

Да, мы верили и надеялись. Прошла, однако, весна, приближалось к концу лето, а мы все еще томились за решеткой и ждали. Наконец, в один прекрасный день в тюрьму нашу явился

первоприсутствующий особого присутствия правительствующего сената — сенатор Петерс. Он обошел все камеры и каждому из нас вручил обвинительный акт по историческому «процессу 193-х», предлагая желающим избрать себе в законный срок защитников и заявляя каждому и его праве знакомиться со всем делом производством, которое в определенные часы будет доставляться в крепость.

Я отказался от защитника, заявив, что намерен сам себя защищать, и просил, чтобы мне разрешено было пользоваться для этого письменными принадлежностями и вообще всем нужным для подготовки к защите. Заявление мое было уважено.

Так как обвинительный акт, согласно обещанию Жихарева, не преминул особенно подчеркнуть мое участие в студенческих беспорядках 1869 г., как обстоятельство, как бы предreshавшее мою будущую политическую неблагонадежность, то я испросил свидетельство от особого присутствия правительствующего сената на истребование из Медико-хирургической академии справки о характере этих беспорядков, а также свидетельство на истребование, через посредство нашего министерства иностранных дел, справки от венской полиции о том, что в Вене в Josephstadt'e я проживал не в Landsgasse, а в Lammgasse.

Затем я принялся за составление защитительной речи. Мне выданы были письменные принадлежности и определенное количество листов бумаги. Я усердно засел за работу. План моей защиты был таков: я решил открыто признать себя социалистом и врагом существующего неограниченно-самодержавного строя, но в то же время доказать всю свою юридическую невиновность и отсутствие всяких прямых улик, кроме показаний заведомого сыщика, каким оказался по обстоятельствам дела Симха, да некоторых жандармов, участвовавших вместе с Симхой в изловлении Иванова.

Моя защитительная речь вышла довольно объемистая — около двадцати мелко исписанных листов бумаги. Мне были доставлены в крепость затребованные мною справки, которые также послужили для меня материалом.

Довольно долго ходили мы в особое помещение при крепостной тюрьме, куда периодически доставлялось наше подлинное «дело», с которым мы и знакомились под наблюдением одного из сенатских чиновников. Хотя нам и предлагали знакомиться лишь с теми отделами, которые касались лично каждого из нас в отдельности, но мы настаивали на своем праве знакомиться со всем делом, раз уже прокуратура объединила нас в одно сообщество. Надо сознаться, что при этом нас интересовали не столько подробности подлинного дела, сколько возможность сходить с живыми людьми — товарищами (водили нас группами), из которых, я, например, кроме одесситов, знал очень немногих...

В конце сентября или в самых первых числах октября 1877 года всех привлекавшихся к процессу 193-х, содержащихся в

Петропавловке (около 40 чел.), в том числе и меня, перевели из крепости в дом предварительного заключения⁵⁰. В первый же вечер я был приятно удивлен, услышав здесь в своем «клубе» голос Желябова. Он находился все время на поруках и только перед самым судом был арестован и доставлен из Одессы лишь за несколько дней перед переселением моим из крепости в «предварилку», а теперь мы очутились в одном «клубе».

Желябов познакомил меня (конечно, лишь в самых общих чертах) с своей жизнью за последние два года. Оказалось, что после женитьбы он решил окончательно опроститься и не только быть «народником», но и слиться с народом и жить одной, общей с ним жизнью, так что в последнее время он жил безвыездно в деревне. С любовным восторгом Желябов рассказывал о своем полугодовом «сынишке», который-де уже «как казак гарцовал на коне».

Говорили мы очень долго; говорил собственно почти один Желябов, а я давал лишь реплики. Уже из этой «беседы», как и из дальнейших до суда и во время суда, я понял, что хотя Желябов держит еще крепко в своих руках знамя «народничества», но что знамя это уже не вполне его удовлетворяет, что он в нем уже в сильной степени разочаровался и находится на перепутьи к новому направлению своей деятельности. Уже тогда он высказал мне, что собирается расстаться с деревней, опять переселиться в город и приступить к непосредственной активной борьбе с правительством, не принявшей еще, однако, определенных очертаний в его плане...

С душевной болью я только тогда узнал от Желябова о незадолго перед этим разыгравшейся в «предварилке» трагической истории с Боголюбовым, который был наказан розгами по распоряжению жестокого временщика Трепова, а также о том, как реагировали на эту историю политические заключенные «предварилки», которые (и в их числе и без того изможденный Волховский) были при этом жестоко избиты и лишь теперь кое-как оправались от нанесенных им бесчеловечных побоев и истязаний*, и что после этой варварской расправы прокуратура вмешалась и значительно смягчила режим «Дома».

Да, обстановка «предварилки» за это время совершенно изменилась. Прежнего строжайшего, изнуряющего одиночного режима и намека не осталось. Громадная масса политических заключенных (по одному процессу 193-х свыше полутора человек) вынудила администрацию пойти на большие уступки. Окна во всех камерах выставлялись в течение целого дня, — узники забирались на подоконники, и общие беседы лились без перерыва, так что прибегать к перестукиванию не было уже надобности. Надзиратели, правда, для очистки совести от времени до времени являлись в наши камеры и требовали ухода с

* Эта печальная трагедия подробно описана была в «Былом», в № 10 за 1906 г., в воспоминаниях Синегуба.

подоконника и прекращения бесед под угрозой всевозможных репрессий, но угрозы эти одними угрозами и оставались, а «самовольно» установленный заключенными новый режим сохранялся неизменным. После того строгого одиночного заключения, с которым я только что расстался в крепости, меня положительно поразил «республиканский» строй «предварилки». Я чуть не свалился от хохота с подоконника, когда на другое утро очутился перед такой картиной: один заключенный (если не изменяет мне память, Никифоров), перекинув к сидевшему под ним в нижнем этаже приятелю длинную веревочку, торжественно переправлял последнему по этой веревочке сапог для починки!..

В определенный час на окошко своей камеры неизменно являлся бодрый, жизнерадостный и вечно улыбающийся Ковалюк. Он вызывал своего приятеля Лазарева и, в качестве общепризнанного раз навсегда председателя, предлагал ему, как исполнительному при нем органу, созвать народ «на сходку», т. е. созвать всех на подоконники. Лазарев своим зычным голосом оповещал предложение председателя, публика «собиралась», и «заседание» открывалось... На этих «заседаниях» обсуждались все вопросы дня, все новейшие политические события и главным образом все относившееся к приближавшемуся, наконец, суду над нами...

На второй день после моего перевода в «предварилку» мне сообщили, что группа подсудимых по нашему делу решила бойкотировать суд, отказаться от защиты и всякого в нем участия, и спросили моего мнения по этому поводу. Я заявил, что хотя это решение является для меня полной неожиданностью и я уже много времени потратил на свою защитительную речь, которая уже почти готова, но идею о бойкоте я одобряю; думаю, однако, что для того, чтобы бойкот этот имел серьезное общественное значение, необходимо, чтобы в нем участвовала очень значительная часть подсудимых и участие свое, по возможности, мотивировали бы, и что я лично присоединяюсь к бойкоту в том лишь случае, когда за него выскажется не менее ста человек (включая и меня).

Через несколько дней сообщено было, что «протестантов» набралось свыше ста человек и что каждый обязуется мотивировать свой отказ от суда и всеми мерами добиваться удаления из зала суда, если бы даже пришлось прибегать для этого к оскорблениям по адресу суда. Я присоединился к группе протестантов и защиту свою, столь тщательно подготовленную, похерил. Из членов одесского кружка к бойкоту присоединились все, кроме Желябова, который подчинился нашему общему требованию: не отказываться от суда и защиты в виду отсутствия каких-либо против него улик и наличности слишком многих шансов на оправдательный для него приговор...

Настало 18 октября 1877 года, и открылся суд над 193 подсудимыми.

ГЛАВА VIII

1

Как всегда бывает при переходе от абсолютной несвободы к неограниченной свободе, невольные жители «предварилки» осенью 1877 г., при обсуждениях и решениях своих по вопросам тактики на предстоящем суде, забыли про необходимую осторожность, переходя при этом из одной крайности в другую: насколько раньше — «на воле» — они (в значительном большинстве своем) были до чрезмерности конспиративны и осторожны, настолько же они теперь стали чрезмерно откровенны и были, что называется, нараспашку. Мы совершенно забыли о том, что, помимо нас, заключенных в доме предварительного заключения, существуют и всевозможные «власти», имеющие возможность (совершенно незаметным для нас образом) присутствовать на всех наших «заседаниях» и знать все наши планы и намерения.

Очень скоро стало известно, что еще до начала судебного разбирательства по нашему делу, как и во время самого его разбирательства, не только низшие тюремные агенты следили внимательно за всеми нашими приготовлениями к суду, но к обычному времени наших «заседаний» в «предварилку» почти ежедневно приезжал тогдашний помощник петербургского градоначальника генерал-майор Козлов*. Он удобно устраивался в одной из центральных камер и самым внимательным образом прослушивался к нашим беседам и прениям, так что он (а стало быть, и вся администрация) отлично осведомлен был относительно всего плана нашего бойкота суда, и он заранее, конечно, мог принять все соответствующие меры, да и для суда решение наше не составляло секрета, как не составляло секрета и то, что хотя большинство подсудимых и решило при всяких условиях бойкотировать суд, но значительное меньшинство (почти половина) с их защитниками решила не уклоняться от суда, а это, разумеется, имело для суда большое значение и в значительной степени ослабляло впечатление подготавливавшегося бойкота, душою которого были Ковалик, Войнаральский, Волховский,

* Впоследствии московский градоначальник, а затем, в самое последнее время, генерал-губернатор.

Муравский, Синегуб, Лев Тихомиров, Чарушин, Чернявский и другие...

18 октября 1877 г. невольные жильцы «предварилки» поднялись очень рано, тщательно оделись (некоторые даже принарядились) и умылись, напились чаю и закусили и с величайшим нетерпением стали ожидать момента, когда их поведут на суд. Если принять во внимание, что почти у каждого из нас были между товарищами по суду близкие друзья, что большинство из нас просидело уже за решеткой по 3 и 4 года, что самое наступление суда знаменовало для значительной части подсудимых скорое освобождение их из душных одиночных камер, то можно себе представить то волнение, которое охватило всех в ожидании этого момента...

Наконец, стали нас вызывать.

Раскрыли наши камеры, мы высыпали в длинный коридор «предварилки» и строились там в перенги.

Явился чуть ли не целый дивизион жандармов, который окружил нас со всех сторон с сверкавшими саблями наголо. Начальник дивизиона (кажется, полковник Федоров) прочел конвоирам соответствующие грозные статьи военных постановлений, из коих вытекало, что мы обязаны беспрекословно подчиняться распоряжениям конвоя и что, в случае малейшей попытки со стороны кого-либо из нас к побегу, конвоирам предоставляется прибегнуть ко всем мерам до употребления холодного и даже огнестрельного оружия включительно.

Длинной вереницей, очень внушительной и эффектной, двинулись мы в путь и прошли подземным ходом из «предварилки» в окружный суд, на который в данном случае пал выбор, как на одно из наиболее вместительных судебных помещений, хоть сколько-нибудь соответствовавшее численности подсудимых, защитников и свидетелей.

Наконец-то настал над нами суд, и мы в зале судебного заседания!

Подсудимых видимо-невидимо. Они заполнили все скамьи, устремляясь преимущественно в задние ряды, чтобы свободнее беседовать и отводить душу с друзьями-приятелями. Если мне не изменяет память, из «предварилки» нас явилось около 150 человек, а остальные 40—45 человек находились на свободе — на поруках — и под стражей находились лишь в самом суде, размещаясь на скамьях, общих с другими подсудимыми.

Одним из первых очутился возле меня чрезвычайно оживленный Желябов. Сам цветущий и розовый, как херувим (что было не особенно удивительно, так как он находился все время на свободе, на деревенском воздухе и под решетку заключен был лишь перед самым судом), Желябов поражен был моим цветущим видом и моей вполне сохранившейся жизнерадостностью. Он рассчитывал, что я предстану перед ним после 4-летнего оди-

ночного заключения изможденным, истощенным, болезненным, — и вдруг! Желябов пришел в полный восторг и в шутку принялся даже меня ощупывать: «не подложили ли вы себе ваты»!..

Затем я свиделся с Волховским, Жебуневым, Чарушиным и другими, преимущественно с чайковцами, из коих я до тех пор знаком был лишь с одним Чарушиным. Чарующее впечатление произвела на меня София Перовская, которая находилась все время на свободе — на поруках матери — и на «скамью подсудимых» явилась «с воли». Ее бодрость, подвижность, жизнерадостность заразительно действовали на всех. Она всячески старалась чем-нибудь быть полезной всем запертым «в коробочку». Узнав, что я страдаю бессонницей, она на другой же день передала для меня в «предварилку» отличную подушку. С такою же внимательностью она относилась ко всем, постоянно радостно ее окружавшим и относившимся к ее чарующей личности с глубочайшим уважением и с какой-то необычайно душевной любовью.

В эти дни я имел возможность познакомиться в зале судебного заседания со многими из тех подсудимых, имена которых до тех пор известны были мне лишь по обвинительному акту: с обращавшим на себя внимание своей интеллигентной физиономией И. Павловским (будущим соратником Суворина по «Новому Времени»), с маленького роста и чрезвычайно подвижным Говорухой-Отроком, на которого покойный Н. К. Михайловский возлагал большие надежды (ему очень нравились некоторые произведения Говорухи-Отрока, передававшиеся ему в рукописи, и он уже никак не мог допустить мысль, что этот многообещающий юноша в близком будущем станет ярким ренегатом-мракобесом), с типичнейшим и симпатичнейшим «Силычем» — Синегубом, с твердым и стойким, как сталь, «отцом Митрофаном» — Муравским, с москвичкой Алексеевой, Субботиной, Ваховской и многими другими.

2

«С у д и д е т!» — оповестил судебный пристав около 12¹/₂ часов.

Торжественно и чинно вошли в зал члены особого присутствия правительствующего сената и во главе с первоприсутствующим расположились в удобных креслах за длинным столом, покрытым красным сукном.

В состав особого присутствия входили: а) первоприсутствующий — сенатор К. К. Петерс; б) сенаторы: М. Н. Похвиснев, К. К. Ренненкампф, барон М. Н. Медем, Н. О. Тизенгаузен, Б. Н. Хвостов; в) сословные представители: председатели дворянства: 1) черниговский губернский — отставной штабс-капитан Н. И. Неплюев и 2) вышневолоцкий уездный — П. И. Сназин-Тормасов, новгородский городской голова Я. И. Журавлев и стародеревенский волостной старшина П. Лукьянов, и г) обер-секретарь В. В. Попов.

За прокурорским столом занял место быстро двигавшийся по иерархической лестнице, тогда еще довольно молодой, товарищ обер-прокурора уголовного кассационного департамента правит. сената В. А. Желиховский, которому ассистировал юркий молодецкий прокурор екатеринбургского окружного суда Н. И. Шубин.

Заняли свои места защитники, расселись после переклички подсудимые.

Зал был битком набит.

Здесь красовался отборный цвет тогдашней русской присяжной адвокатуры. Впервые я увидел здесь лицом к лицу Спасовича, Герарда, Александрова, Е. Утина, Бардовского, Стасова, Турчанинова, Люстига, Макалинского, Самарского-Быховца, Боровиковского, Потехина 1-го, Соколовского, Громницкого, Кедрина, Соколова, Лемана, кн. Кейкуатова, Дорна, Дена, Михайлова, Штукенберга, Тростянского, Буймистрова и Месюрю. Все, все здесь были налицо *. Все эти достойные представители нашей адвокатуры дружески, живо и с захватывающим интересом переговаривались с своими клиентами. В числе защитников находились еще почтенный старик-москвич Щепкин, прибывший для личной защиты своего сына, а также бывший уже тогда в ореоле своей ученой славы профессор Петербургского университета по кафедре уголовного права Таганцев, принявший на себя защиту своего родственника, доктора Кадьяна, старого знакомого моего по Медицинской академии.

При всей своей относительной вместимости, зал суда был настолько переполнен подсудимыми и защитниками, что хотя первоприсутствующий не провозгласил, что заседания суда будут закрытые, но они должны были таковыми оказаться ф а к т и ч е с к и, и присяжный поверенный Спасович имел полное основание, при самом открытии заседания, заявить от имени своего и всей защиты, что заседание происходит при закрытых дверях, и ходатайствовать, в виду недостаточного помещения для публики, приискать для заседаний суда более обширное помещение (проходную залу того же окр. суда или какое-либо из обширных городских зданий). Спасовича поддержал Герард, но первоприсутствующий Петерс разъяснил, что заседание-де публичное и в заседании присутствует даже публика в пределах вместимости помещения, так что ходатайство защиты не подлежит удовлетворению.

Действительно, была в зале и публика, но крайне немногочисленная, публика, состоявшая главным образом из ближайших родственников подсудимых — матерей, жен, братьев, отцов, сестер. Посторонняя же публика допущена была в самом ограниченном количестве и впускалась не иначе, как по строго кон-

* Кроме этих 25 присяжных поверенных, в защите участвовали еще 6 молодых помощников прис. поверенных: Гернгрос, Грацианский, Коломнин, Карабчевский, Леонтьев и Небольсин.

тролировавшимися билетам. Я не говорю об отборной сановной публике, красовавшейся в блестящих мундирах за креслами судей.

3

Первоприсутствующий приступил к формальному опросу подсудимых: о звании, вероисповедании, занятиях, летах и последнем местожительстве.

Ответы были сдержаны и кратки. Заметна была лишь общая тенденция большинства подсудимых подчеркнуть бесконечно долгое предварительное заключение. Мне столько-то лет, а во время ареста было столько-то, — вот каков был ответ очень многих подсудимых на вопрос о летах, хотя никакого предварительного уговора на этот счет не было, и из этих ответов выяснилось, что, за исключением весьма немногих, громадное большинство томилось в ожидании суда за решетками по 3—4 года. На вопрос о вероисповедании многие отвечали: при рождении меня окрестили по православному обряду. На вопрос о последнем местожительстве большинство отвечало: «тюрьма».

После некоторых других еще формальностей, когда особое присутствие, выслушав заключение обвинителя, предположило перейти к производству судебного следствия, один из подсудимых, И. Н. Чернявский, в весьма резкой форме заявил, что так как судебные заседания, благодаря неудачно выбранному помещению, фактически будут, вопреки разъяснениям первоприсутствующего, не публичные, а закрытые, и подсудимые лишены будут той гласности, на которую они имели право рассчитывать, то подсудимые считают излишним присутствовать на суде и отказываются добровольно приходить на заседания. К этому заявлению присоединились Муравский и многие другие.

Первоприсутствующий приказал тогда удалить из зала заседания Чернявского. Но когда пристав хотел привести в исполнение это приказание, вся зала заволновалась. Раздались бурные протесты и крики: «Пусть выводят всех! Мы все разделяем это мнение!»

Видя, что приходится или отменить приказ об удалении Чернявского, или прервать заседание, первоприсутствующий, в интересах «сохранения престижа», приказал ввести стражу и, объявив заседание закрытым до следующего дня, распорядился об удалении из зала всех 193 подсудимых, хотя в числе последних нашлись и такие (правда, очень немногие), которые заявили, что они к мнению Чернявского не присоединяются и намерены участвовать в суде*.

19 октября заседание, однако, не состоялось, так как заболел один из сословных представителей. Открывая же второе

* Такое не вполне тактичное заявление некоторые объяснили тем, что Чернявский «произвольно», без предварительного по этому пункту уговора, говорил от имени всех.

заседание 20-го октября, первоприсутствующий, остановившись на приведенном инциденте, обратился к подсудимым от имени особого присутствия с увещанием не нарушать порядка и соблюдать должное уважение к суду, так как в противном случае он будет вынужден удалять подсудимых из зала заседания, а это было бы прежде всего вредно для самих подсудимых, так как лишило бы их возможности давать свои объяснения, которые могли бы послужить к облегчению их участи.

Подсудимые воздержались от всякого ответа на нотацию, и первоприсутствующий приступил к опросу свидетелей и приводу их к присяге.

Мышкин предъявил отвод против всех выставленных по его московскому делу свидетелей, мотивируя отвод тем, что свидетели находятся в полной зависимости от правительства, которое является в деле заинтересованной стороной. Суд, в согласии с заключением Желиховского, признал отвод неправильным.

Я, с своей стороны, предъявил отвод против свидетеля Симхи, ссылаясь на то, что последний, как видно из обстоятельств дела, был сыщик и действовал из корыстных видов, почему он, по моему мнению, согласно ст. 707 и 710 Уст. уг. судопр., должен быть допрошен без присяги. Желиховский дал заключение, что закон не усматривает-де в профессии сыщика основания к отводу от присяги, с чем согласилось и особое присутствие.

После приведения свидетелей к присяге обер-секретарь Попов, по предложению первоприсутствующего, приступил к чтению обвинительного акта. Утомительное и далеко не внятное чтение объемистого акта тянулось и в заседаниях 21 и 22 октября и закончилось лишь 24 октября (23-го заседание не состоялось) около 4 часов пополудни.

Нам, подсудимым, не до обвинительного акта было. Мы уже его и без того хорошо изучили, и чтение его для нас решительно никакого интереса не представляло. Нас куда больше интересовали беседы «по душам» с друзьями-приятелями.

Как ни старались мы не нарушать тишины и как ни тихо велись наши беседы, но и шопот почти двухсот человек переходил, естественно, в довольно громкий, хотя и глухой, гул, так что Петерс неоднократно призывал нас к порядку, соблюдению подобающей «серьезности» и к «внимательному» слушанию обвинительного акта. Почти неумолкаемый говор выводил торжественно настроенного Петерса из его величавого спокойствия, и он очень часто обращался к нам с замечаниями и выговорами, которые были особенно суровы по адресу подсудимых женщин: последним Петерс неоднократно замечал, что им — «дамам» — неприлично ютиться на задних скамьях, когда специально для них отведены передние места.

Все эти замечания ни к чему не приводили. Мы все уже слишком стосковались в одиночках по разговорам с живыми людьми, чтобы монотонное чтение наизусть известного обвинительного

акта могло сконцентрировать наше внимание, в особенности внимание женихов и невест, каковых между подсудимыми было не мало!

4

В 5-м заседании, 24 октября, около 4 часов дня чтение обвинительного акта закончилось. Настал момент перехода к судебному следствию.

И вот тут-то само особое присутствие доставило нам, подсудимым, неуязвимый, по нашему мнению, с точки зрения самой строгой законности, повод к тому бойкоту суда, к которому уже заранее присоединилось около сотни подсудимых.

Прежде чем перейти к судебному следствию, первоприсутствующий огласил следующее состоявшееся еще до открытия судебного разбирательства, 11 октября, в распорядительном заседании, по его, первоприсутствующего, словесному предложению, определение: всех привлекаемых к «делу о революционной пропаганде в империи» разделить, в виду тесноты помещения, на 17 групп, производя судебное следствие по каждой группе в отдельности и предоставляя отнесенным к той или другой группе право присутствовать при судебном следствии и над лицами другой группы, буде они укажут на заведомую связь их с этой группой.

По оглашении этого неожиданного, при столь странной обстановке состоявшегося определения особого присутствия раздались единодушные протесты со стороны подсудимых и со стороны защитников. На обращенные присяжными поверенными Герардом и Утиным запросы к суду и на выраженное ими желание по поводу этого определения высказаться первоприсутствующий объявил, что определение суда окончательное и обсуждению не подлежит!

Поднялся страшный ропот со стороны почти всех подсудимых. Раздался общий негодующий крик: «Мы протестуем: существенные интересы наши нарушены!» Многие подсудимые (в их числе и я), крайне возбужденные, вскочили на стулья и, вне себя от негодования, выразили в самых резких выражениях свой протест против столь бесцеремонного и незаконного поступка суда. К чести наших защитников, я не могу не отметить, что они единодушно и весьма энергически поддерживали наши протесты, возмущаясь также до глубины души попраным правом.

Шум и ропот возрастали crescendo. По адресу суда посыпался целый каскад самых нелестных и оскорбительных эпитетов. Ни крики, ни угрозы первоприсутствующего не помогли. В зале воцарилась полная анархия. Все слилось в один бурный гул.

И тогда произошла одна из тех сцен, которые никогда не забываются и навеки неизгладимыми чертами врезаются в память участвующих в них лиц: мгновенно раскрылись двери, в зал за-

седания быстро вторглась целая орава жандармов, которые со сверкающими высоко поднятыми над головами саблями наголо окружили подсудимых со всех сторон сплошной цепью и грозно потребовали, чтобы те немедленно последовали с ними обратно в дом предварительного заключения.

Немногочисленная публика, присутствовавшая в заседании, впала в оцепенение. В рядах ее раздались истерические вопли и крики, было даже несколько случаев с обмороками.

Занесенные над нами сабли не помешали нам, однако, еще раз энергически протестовать против беззаконий суда и против заранее, повидимому, организованного насилия над нами. Мы слишком были возмущены и возбуждены, чтобы выбирать выражения, которые не отличались особенной деликатностью.

Члены особого присутствия, крайне смущенные, совершенно растерялись от столь неожиданного для них активного противодействия, и без всякого заявления со стороны первоприсутствующего о перерыве или закрытии заседания вместе с прокурором Желиховским поспешно оставили зал заседания. Нас насильственно отвели «домой», а наши защитники демонстративно остались все на своих местах, заявив, что так как заседание председателем формально и публично не закрыто, то они не считают себя в праве удалиться из зала, о чем и довели через судебного пристава до сведения особого присутствия, присовокупив, что одного его негласного заявления через судебного пристава о перерыве заседания для них недостаточно, так как закон обязывает суд подобные заявления делать публично в самом зале заседания и в присутствии обеих сторон.

Очтившись в столь безвыходном положении, Петерс пригласил в судейскую комнату защитников.

Там, как мы узнали от последних, произошло очень бурное объяснение. Сенаторы горько упрекали защитников в потворстве скандалу, учиненному подсудимыми, в неуважении к суду и т. д. Желиховский совершенно забылся, обрушился на защитников и позволил себе обозвать их чуть ли не революционерами и подстрекателями. Защитники не оставались в долгу и довольно резко отделили некорректное отношение суда к подсудимым. В конце концов, защитники удовлетворились сделанным им лично Петерсом (хотя и в судейской комнате) заявлением о закрытии заседания и удалились домой...

5

Заседание особого присутствия прервано было до следующего дня.

В среде подсудимых царил, естественно, крайнее возбуждение и очень серьезное волнение. В первую голову на незаконное определение особого присутствия должны были откликнуться конкретно чайковцы, так как именно они и попали в первую группу, причем по каким-то соображениям к ним присоединили и

Ф. В. Волховского, центральную фигуру одесского кружка, и А. А. Франколи, члена того же кружка.

Большинство лиц, отнесенных к первой группе, решило добровольно в суд не идти; если же употреблено будет против них насилие, хотя бы и символическое (прикосновение руки), то подчиниться этому «насилию», но, явившись в суд, заявить там об отказе своим от участия в суде и всеми мерами добиваться удаления из зала заседания, — пусть-де суд судит в отсутствие обвиняемых.

При обсуждении этой тактики решено было составлять и печатать отчет (краткий) о заседаниях суда в самом доме предварительного заключения, возложив редакторские обязанности на Льва Тихомирова, который, увы! и тогда, как в течение еще многих лет впоследствии, пользовался всеобщим уважением и самой лестной и широкой популярностью.

Состоявшееся соглашение было выполнено в точности. Каждый из протестантов — подсудимых первой группы, приглашенных отправиться в суд — заявлял о своем нежелании идти туда. Когда в его камеру входили конвойные и протягивали к нему руки, он выходил в коридор, где вскоре и собрались все 27 подсудимых, отнесенных к первой группе, и оттуда под обычным конвоем препровождены были в окружный суд.

25 октября, около 11 часов утра, открылось шестое заседание особого присутствия. Защита не сложила еще оружия и решила сделать еще одну попытку реагировать на определение от 11 октября.

Почтенный присяжный поверенный Турчанинов от имени своего и всех товарищей своих по защите обратился к особому присутствию с просьбой разрешить защитникам представить свои соображения относительно этого определения. Особое присутствие удалилось для совещания и огласило потом постановление: оставить это заявление без последствий.

Тогда присяжный поверенный (бывший товарищ обер-прокурора правит. сената) Александров прочел от имени всей защиты заявление: указав на незаконность определения от 11 октября как по существу, так и по форме, защитники констатируют, что это определение поставило защиту в крайне затруднительное положение, лишив их возможности защищать интересы своих клиентов по долгу присяги и принятых на себя обязанностей и до-нельзя сузив их роль; тем не менее, однако, они не находят возможным совсем сложить с себя защиту и будут продолжать вести ее в тех пределах и рамках, какие предоставляются им определением от 11 октября и дальнейшими распоряжениями особого присутствия.

Таково приблизительно, насколько припоминаю (со слов защитников), было содержание коллективного решения, которое особое присутствие, после совещания, постановило оставить без последствий и приступить к производству судебного следствия по первой группе.

Подсудимых вводили в зал по одному и предлагали вопросы об их виновности.

Из 27 подсудимых первой группы лишь одна треть — девять человек — не примкнуло к бойкоту суда, остальные 18 человек (Перовская, Рогачев, Чарушин, Синегуб, Шипко, Франколи, Тихомиров, Волховский, Куприянов и др.) отказались отвечать на вопросы, а также принимать какое-либо участие в дальнейшем производстве, заявив при этом, что их в залу заседания привели насильно. Они требовали своего удаления, но Петерс, невзирая на резкости подсудимых, не сдавался и в этот день распорядился об удалении из зала заседания лишь Рогачева, Синегуба, Корниловой и Рабиновича «в виду произведенных ими беспорядков и оказанного неуважения к суду». Остальные протестанты вынуждены были оставаться и присутствовать при опросе свидетелей этой группы. Однако уже 26 октября протестанты, вновь приведенные в суд «силою», решили ни перед чем не останавливаться и добиться своего удаления.

Волховский, ссылаясь на сильно притупленный слух, подошел с разрешения Петерса почти вплотную к судейскому столу, произнес энергичную речь — протест против определения особого присутствия о разделении подсудимых на группы — и заявил от имени своего и товарищей об отказе от участия в суде и, потребовав удаления их всех, вручил первоприсутствующему письменный протест.

Петерс долго не сдавался. Он предложил Волховскому занять место, признавая домогательства об удалении из залы заседания незаконными, резко обрывал говоривших, когда они переходили к оскорблениям. Но терпение и невозмутимость его, наконец, истощились. «Беспорядки» и «неуважение к суду» приняли такие размеры, что Петерс распорядился об удалении всех 18 протестантов и о дальнейшем производстве судебного следствия в их отсутствие.

В следующие дни продолжали попрежнему опрашивать всех подсудимых по первой группе, кто из них желает отправляться в суд, но уже, при неизменном отказе со стороны протестантов, к «насилию» не прибегали, так что следствие производилось в их отсутствие, что постоянно подчеркивалось защитой. В таком же духе велось затем судебное следствие и по дальнейшим группам: вначале часть каждой группы не соглашалась «добровольно» идти в суд, администрация прибегала к «силе», подсудимые «доставлялись» в суд, и здесь каждый протестант-подсудимый, после отказа суда в исполнении его требования об удалении из залы заседания, облакал ответы свои на вопрос суда в столь резкую форму, что тот волей-неволей должен был исполнить его требование, и затем судебное следствие производилось уже в его отсутствие. С каждым днем все легче и легче становилось добиваться своего «удаления», так как сенаторам, в конце-концов, немоготу стали беспрестанные оскорбления по их

адресу, и они в требованиях своих о присутствии на суде протестантов уже не упорствовали.

Слухи о беспримерном и небывалом еще в России поведении на суде подсудимых, о переходе последних из роли обвиняемых к роли обвинителей, об из ряда вон выходящем судебном скандале все более и более распространялись по Петербургу, и «процесс 193-х» становился необычайно популярным. Самая разнообразная публика осаждала первоприсутствующего просьбами о входных билетах, набивалась в помещение суда с раннего утра, задолго до появления подсудимых, и оставляла зал заседания, как только протестанты удалялись отсюда. Защитники передавали нам, что иные из публики, опоздав и узнав, что «скандал уже кончился» и «протестантов уже увели», разочарованные, махали руками и удалялись домой. Это было своеобразное три месяца тянувшееся «зрелище»...

Надо сознаться, что положение членов особого присутствия было поистине трагическое. Нам передавали, что сенаторы раскаивались в своем определении о разделении на группы,* так как, не существуя это разделение, не приходилось бы (как выразился один из них) выслушивать оскорбления «по чайной ложке» ежедневно, ежечасно. Один из защитников передавал, что сенатор Половцев, не входивший в состав судившего нас особого присутствия, выразился так по поводу происшедшего на суде: «Положение подсудимых, конечно, не из веселых, но я предпочел бы сидеть на их скамье, чем в судейском кресле и подвергаться ежедневно столь тяжким оскорблениям»...

6

Очередь дошла до десятой группы, в которую включили одесситов, и в том числе и меня.

Всего к этой группе отнесено было 26 человек. Больше половины — 14 человек (С. Жебунев, Макаревич, Костиурин, Ланганс, Дическулло, Желябов, Голиков, Соколов, Пьянков, Субботина, Шатилова, Завадская, Лопатин и я) — решили не участвовать в суде, остальные же 12 подсудимых к бойкоту не присоединились. Надо заметить, что до начала суда Желябова, против которого не существовало почти никаких улик, одесситы убедили не присоединяться к бойкоту, и он на это согласился, но после оглашения определения от 11 октября о разделении на группы и происшедшего при этом инцидента он от участия в суде категорически отказался.

Накануне вызова в суд десятой группы (9 ноября 1877 г.) в обычном предварительном вечернем «заседании» в «предварилке» стали опрашивать, кто из отнесенных к этой группе примыкает к протесту. Я знал уже по опыту, что суду заранее становятся

* Циркулировали упорно слухи, что определение это навязано было особому присутствию извне министром юстиции Паленом.

известными решения подсудимых относительно их поведения на суде и что последний уже решил больше не доводить до оскорблений со стороны протестантов, а при первом же намеке подсудимого на нежелание его участвовать в судебном разбирательстве и при малейшем непочтительном с его стороны выражении по адресу суда удалять его.

Имея желание быть удаленным из зала заседания лишь после некоторой мотивировки своего поведения, которому мне хотелось придать возможно более корректную и юридически обоснованную форму, я громко и отчеканивая каждое слово, ответил вопрошавшим в окно, что я думаю участвовать в судебном следствии и вообще в суде. Хитрость эта, однако, с моей стороны была уже запоздалая и не помогла. Особое присутствие, очевидно, имело уже самый точный список протестантов. Для меня это стало ясно вот из чего.

Выше мною уже указано было, что перед отправлением в суд надзиратели опрашивали вызываемых подсудимых, желают ли они идти в суд добровольно; при этом к нежелающим применяли символическое «насилие», и когда их вводили в зал заседания, их помещали, по распоряжению первоприсутствующего, на так называемой «Голгофе», особо устроенном возвышении — помосте, других же помещали на обычных скамьях для подсудимых.

И вот, хотя я на поставленный мне надзирателем вопрос ответил, что не только желаю добровольно идти в суд, но намерен участвовать и в судебном следствии и в защите, меня все-таки при вводе 10 ноября в зал заседания без дальнейших разговоров водворили на «Голгофе»...

Петерс обратился ко мне с бесстрастным обычным вопросом: признаю ли я себя виновным? В ответ я заявил, что я прошу суд прежде всего разъяснить мне, на основании какого обвинительного акта он предполагает судить меня.

Петерс в недоумении спрашивает меня:

— А разве вам не вручен был обвинительный акт и разве вам не читали его здесь — на суде?

— Да, — возразил я, — э т о т обвинительный акт мне предъявлен был, но очевидно, что судят меня на основании не этого акта, а какого-либо другого, так как по т о м у обвинительному акту суду предается ведь тайное сообщество в составе 193 лиц, одним из которых, по совершенно неосновательному мнению прокуратуры, являюсь я. В данную же минуту я вижу себя в обществе всего 26 лиц, и судебное следствие предполагается произвести над этими именно 26 лицами, и суд не может не согласиться, что недоумение мое, таким образом, вполне законное и основательное...

Прервав меня, Петерс сурово сказал мне:

— Вы знаете, что суд разделит подсудимых на группы вследствие тесноты помещения и то только на время производства

судебного следствия. А теперь я прошу вас дать, не уклоняясь, ответ на мой вопрос.

— Но, г. председатель, — возразил я, — с подобным доводом согласиться я не могу. Меня и других, привлеченных по этому делу, продержали до суда в предварительном одиночном заключении около четырех лет, и на все наши протесты и ходатайства нам неизменно отвечали, что нас, подсудимых, слишком много, что мы разбросаны по всей России и составляем, вместе с тем, такое тесное сообщество, что в интересах правосудия немислимо разделить нас, отделить одних от других, а необходимо, безусловно необходимо судить нас всех разом и вместе. И вот мы изнывали, томились бесконечно долгое время, многие не выдержали предварительного заключения, зачали за решетками и умерли, не дождавсь суда, некоторые покончили самоубийством. А теперь, когда настал, наконец, долгожданный суд, последний находит возможным, за неимением-де соответствующего помещения, разбить нас на 17 групп и производить судебное следствие по каждой группе в отдельности. Четыре года все было бессильно перед суровым принципом: «*fiat justitia — pereat mundus*», — во имя торжества последнего не останавливались ни перед серьезными болезнями заключенных, ни перед их отчаянием, разразившимся самоубийствами, а перед «теснотой помещения» принцип этот должен был покорно склониться!.. Если я обвиняюсь в принадлежности к сообществу из 193 лиц, то пусть же суд производит судебное следствие надо мной и над каждым из нас в присутствии всего этого сообщества...

Петерс вновь меня прервал заявлением, что особое присутствие не ответственно-де за то, что происходило до суда. Он предоставит мне дать все свои объяснения впоследствии, когда будет производиться следствие по существу; теперь же он требует от меня категорического ответа на формальный вопрос.

Я, в свою очередь, возразил, что я не могу согласиться участвовать в следствии по существу до тех пор, пока не получу ответа и удовлетворения по столь основному формальному вопросу.

Петерс сурово заявил мне:

— Прошу категорического ответа на вопрос, признаете ли себя виновным или нет?

Заметив, что ко мне уже направляется судебный пристав и конвоир, я, возвысив голос, громко отчеканил буквально следующее:

— Ответить на этот вопрос я не считаю возможным и во имя закона и истинного правосудия отказываюсь от всякого участия в настоящем суде.

При последнем слове я быстро направился к выходу и, не ожидая «вывода», вместе с своим конвоиром оставил зал заседания, вышел в коридор, поделился с товарищами по группе,

ждавшими своей очереди, с моим заявлением и затем препродан был в «предварилку» — в свою камеру.

Меня тотчас же, как и всех возвратившихся из суда, вызвал к окну Тихомиров, и я передал ему дословно свое объяснение с «первоприсутствующим». Авторитетный для нас тогда Тихомиров признал объяснение мое вполне соответствующим задачам протеста, и оно на другой же день было отпечатано целиком в редактировавшемся им кратком отчете заседания...

7

Враждебные выступления против суда продолжались и достигли своего апогея в заседании 15 ноября, когда началось судебное следствие над подсудимыми 12-й группы, к которой отнесен был, между прочим, и Ипполит Никитич Мышкин.

Решив во что бы то ни стало посчитаться с правительством и судом за почти пятилетние репрессии по отношению к заключенным и за его реакционную политику вообще, Мышкин формально к бойкоту суда не примкнул. Надо полагать, что последнее было известно Петерсу, и когда Мышкин попросил разрешения представить объяснение по поводу вопроса о его виновности, Петерс предоставил ему слово, которым Мышкин сумел мастерски воспользоваться для своей цели. Он проникновенным голосом произнес длинную, чрезвычайно содержательную и громовую речь, которую ему удалось, невзирая на многократные перерывы и напоминания Петерса, что он свой ответ превращает в преждевременную защитительную речь, довести почти до конца. Ему удалось даже под яростный шум и протесты суда произнести и заключительные слова, которые и некоторым из нас — протестантов — показались даже чересчур резкими; в особенности казалось резким сопоставление суда с публичным домом и сенаторов — с публичными женщинами, имеющими-де перед первыми преимущество, что они, по крайней мере, продают себя ради куска хлеба, между тем как судьи-сенаторы торгуют собой ради карьеры, ради чинов, крестов и орденов.

Речь Мышкина переполюнула чашу терпения бюрократических сфер, тем более, что, отпечатанная подпольно, она усиленно распространялась в широких слоях общества и смело и беспощадно обличений всей гнили наших правящих классов производила громадное впечатление*.

Появились слухи о предстоящих суровых репрессиях по отношению к подсудимым. И действительно, «благодушествованию» нашему настал конец.

В высших административных сферах решено было круто расправиться со всеми «зачинщиками» бойкота суда, отделить их

* Мышкину разными путями и всеми способами передавались «с воли» поздравления, приветствия, благодарности, даже цветы.

(говорили даже—без соглашения с судом) от остальных подсудимых и водворить их в Петропавловскую крепость...

Как известно читателям, я лишь в конце сентября или в первых числах октября, т. е. перед самым началом суда, переведен был из этой крепости в дом предварительного заключения, когда там бойкот суда был уже решенным делом, к которому мне оставалось лишь примкнуть; благодаря же сильному расстройству в то время моего слуха, я в «заседаниях» «предварилки» по этому вопросу мог принимать лишь самое слабое участие и проявлял тогда вообще весьма мало активности. Невзирая, однако, на все это, я очутился в числе тех (кажется, сорока) «зачинщиков», которых решено было изъять из среды подсудимых по нашему делу и перевести в Петропавловку, отнюдь не стесняясь тем, что суд над нами еще продолжался и был далек еще от конца.

15 или 16 ноября⁵¹, когда следствие над подсудимыми 12-ой группы не было еще окончено, меня около полуночи разбудили. Вошли в мою камеру, предложили мне одеться и повели меня в контору. Там я сдан был на руки жандармскому офицеру, который вывел меня на Шпалерную, усадил в ожидавшуюся там закрытую карету, которая состояла из нескольких отделений, в каждом из которых заперли по одному «зачинщику».

Карета помчалась по питерским улицам. Ни мне, ни другим не сообщили, куда нас везут и зачем, но мы об этом догадывались, хотя из-за опущенных штор и не видно было, по каким улицам и по какому направлению нас везут.

Карета остановилась. Я вышел из своей клетки и очутился пред знакомыми мне уже воротами, которые вновь гостеприимно передо мною раскрылись.

Через несколько минут я сидел уже на диванчике в той самой комнате, в которой меня впервые обыскивали месяцев 16 назад. Здесь ждал меня неожиданный сюрприз.

Так как за одну ночь (правильнее, полуночь) перевезено было из «предварилки» в Петропавловку несколько десятков народа, то поневоле пришлось нарушить традиционную таинственность этого образцового мертвого дома, в котором раз навсегда установлено, что один в нем заключенный не должен видеть другого.

Судьбе угодно было столкнуть меня теперь здесь, в этой «приемной», как раз с самым близким и дорогим моим другом — Ф. В. Волховским!

Его привезли в крепость за несколько минут до моего прибытия, и за обилием «гостей» и необычной их «доставкой» администрация не успела еще «принять» его и «устроить».

Мы бросились друг другу в объятия и, перемолвившись двумя-тремя словами, горячо братски попрощались. Мы не надеялись уже встретиться живыми, так как мы не знали, чем кончится над нами суд, где мы по воле его и всяких сфер очутимся, а главное, мы не могли еще уяснить себе, в чем и в каких формах выразятся репрессии по отношению к нам — «зачинщикам»

столь грандиозного судебного скандала. К тому же здоровье Волховского было слишком расстроено продолжительным одиночным заключением, и он чувствовал себя очень плохо после столь недавней еще жестокой расправы треповских клеветов с ним и другими товарищами во время гнусной истории с Боголюбовым, мстительницей за которого вскоре явилась Вера Засулич*.

С стесненным сердцем, подавляя накупавшие слезы, мы распрощались с Феликсом Вадимовичем, когда в «приемную» вошел смотритель и позвал Волховского. В ту минуту ни он, ни я уже не думали, что долго-долго нам еще придется идти рука-об-руку и совместно работать...

8

Для нас, переведенных в Петропавловскую крепость, судебный процесс можно было считать окончанным.

Конечно, мы знали, что там — далеко от нас, в здании окружного суда — еще должно производиться судебное следствие над 6-ю группами, что за этим следствием пойдут «прения сторон» и «последние слова» не примкнувших к бойкоту подсудимых, что в числе защитников, которые еще будут фигурировать на суде, есть такие, которые сумеют с достоинством выступить от имени загнанной и травимой свободной русской мысли и ее адептов — передовой русской интеллигенции. Но дело перевезенных из «предварилки» все же нельзя было не считать поконченным: их-то, разумеется, уже не пощадят! Русское «правосудие» не преминет, конечно, свести счеты с «зачинщиками» скандала, которого правящие наши бюрократы пуще всего избегали...

В тот момент, когда я набрасываю эти строки относительно «процесса 193-х», в газетах печатаются извлечения из отзывов иностранной печати о только что закончившемся суде над депутатами первой нашей государственной думы за составление и распространение знаменитого «выборгского воззвания», и мысль моя невольно останавливается на том сопоставлении, которое «Daily News» делает между этим процессом и нашим процессом. «Этот процесс 169 депутатов, — говорит почтенная английская газета, — является во многих отношениях точным воспроизведением грандиозного политического процесса 70-х годов... Тогда это была только молодежь, молодые женщины и бедные студенты... Ныне же это — зрелые люди, дворяне, профессора, адвокаты. Все они пользуются уважением. Многие из них, которых правительство посадило не скамью подсудимых, пользуются европейской известностью», и т. д.

* Заключенных избивали в камерах, затем выволакивали и таскали за ноги по лестнице в камеру, причем влекомые бились головами о ступеньки, так что многим пришлось забинтовать головы.

Однако, при всем моем глубочайшем уважении к подсудимым и осужденным «выборжцам», я не могу не отметить (и думаю, что в этом отношении со мною все согласится), что тогда, тридцать лет назад, когда самое слово «конституция» считалось запретным, когда о близости «народного представительства» никто не думал и во всем своем блеске царило еще III отделение, — тогда «бедным студентам» и «молодым женщинам», томившимся уже много лет за решетками, нужно было обладать во стократ большим мужеством, чтобы решиться из обвиняемых и подсудимых превратиться в обвинителей и обличителей. Уже одно то, что в массе подсудимые состояли исключительно из молодежи, что в их среде не было ни профессоров, ни адвокатов и тем паче людей, «пользующихся европейскою известностью», — уже это одно делало их положение во стократ тяжелее. Тут, в худшем случае, грозило годичное тюремное заключение, — там многим сулили беспощадную многолетнюю каторгу и ссылку на поселение! И если поведение «выборжцев» на суде было в высшей степени достойное, а самый процесс можно, бесспорно, назвать «историческим», то Волховский, Войнаральский, Ковалик, Мышкин, Муравский и другие их товарищи (как подсудимые по незадолго перед тем разбиравшемуся «процессу 50-ти»: Алексеев, Бардина, Джабадари и другие) в истории русского освободительного движения должны занять еще более почетные страницы, а в серии наших «исторических процессов» «Большой процесс» и «процесс 50-ти» займут, конечно, самую яркую страницу...

Возвращаюсь к прерванным воспоминаниям.

После водворения моего на старом пепелище я считал своей первой обязанностью обратиться с протестом на имя особого присутствия правительствующего сената против учиненной надо мною «расправы» за мое поведение на суде, — поведение, отнюдь не выходящее за пределы прав, предоставляемых законом всем подсудимым.

В протесте своем я указал на то, что перевод из дома предварительного заключения в Петропавловскую крепость является фактическим лишением одной стороны возможности присутствовать на суде и составляет коренное нарушение основных принципов нашего устава уголовного судопроизводства, и затем, оговариваясь, что я отнюдь не рассчитывал, при наличном тогда политически-правовом нашем режиме, на какие-либо практические результаты моего протеста, я требовал лишь, чтобы «первоприсутствующий» распорядился о присоединении моего протеста к общему производству по делу, дабы этим облегчить потомству нашему возможность произвести правильную оценку царящему в России в данный момент правосудию...

Требование мое было исполнено, о чем Петере уведомил меня немедленно по получении моего протеста.

Потянулись опять бесконечные, унылые дни в стенах этого печального исторического каземата.

После некоторых усилий с нашей стороны нам, правда, удалось значительно смягчить крепостной режим сравнительно с прежним, так как мы были уже не «поделедственные», а «подсудимые», суд над которыми был уже в полном ходу. Некоторые строгости одиночного заключения, после настойчивых и дружных требований с нашей стороны, были в значительной степени смягчены: гулять выпускали нас не в одиночку, а по 2—3 человека вместе, а на перестукивание наше смотрели сквозь пальцы. Но для нас, измученных многолетним заключением, живших в последнее время в «предварилке» при «почти республиканском» режиме, этого было слишком мало. Свидания нам все-таки разрешались попрежнему чрезвычайно скупо и то лишь с самыми близкими родственниками, каковых у большинства из нас в Петербурге вовсе не было. Газеты и журналы за текущий год совсем не допускались. Собственная одежда хранилась попрежнему в цейхгаузе и выдавалась нам лишь для прогулок и при вызове на свидания, традиционная же «казенная» одежда — шитый на общую мерку широчайший и длинный желтый халат и войлочные туфли — слишком слабо защищала нас от пронизывавшей сырости каземата. Больше же всего тяготило нас продолжавшееся попрежнему заключение в одиночных камерах.

Мы ощущали очень большую потребность в членораздельной устной товарищеской беседе и, считая свое заключение в крепости решительно противозаконным, «самовольно» нарушали основную традицию крепостного заключения, — просиживали по целым часам на подоконниках и во весь голос беседовали с товарищами, а когда администрация, возмущенная «самовольством» заключенных *, позабывала наглухо форточки в наших окнах, мы дружно принялись выбивать стекла...

Крепостная администрация решила «скрутить» нас, и первый, так сказать, жребий пал на меня.

Однажды, когда, сидя на подоконнике, я довольно громко беседовал с Волховским (его слух был очень притуплен), ко мне ворвался смотритель с несколькими «присяжными». Последние, с «сумасшедшей рубашкой» в руках, свирепо бросились на меня, повалили на пол, накинули на меня рубашку и, невзирая на отчаянное сопротивление с моей стороны, бесконечно длинными рукавами «рубашки» крепко перевязали мне руки, полотенцем связали ноги и в таком беспомощном положении бросили меня на пол и ушли, заперев за собою дверь.

* Как-то раз старик Богородский, делая мне внушение за нарушение дисциплины, укоризненно и горько заметил: «В каком вы виде застали у меня тюрьму и что вы из нее сделали!» — «Да, — ответил я с улыбкой, — мы действительно лишили ее невинности!»

Ярость и негодование придали мне сверхъестественную силу. Я пустил в ход свои мускулы и зубы, и после продолжительных и самых напряженных усилий с моей стороны мне удалось освободить свои руки, а потом и ноги; немедленно я вскарабкался на подоконник, сообщил о случившемся своим товарищам, а затем принялся звонить и требовать смотрителя. На непрерывный звон мой, длившийся около часа, никто не являлся, и я принялся тогда изо всех сил стучать в двери. К стуку моему присоединились товарищи, и тогда, наконец, явился ко мне с конвоем Богородский. Крайне пораженный тем, что мне удалось так скоро освободиться из «сумасшедшей рубашки», он упавшим голосом стал оправдываться, ссылаясь на распоряжение коменданта, который вынужден-де был прибегнуть к столь крайней мере в виду резкого нарушения дисциплины, проявившегося в разбивании стекол, и т. д.

Я потребовал у Богородского бумаги, чтобы написать жалобы министрам юстиции и военному на учиненное надо мною насилие. Так как Богородский в исполнении моего требования мне отказал, то я возобновил звон и стук в двери, пустил в ход руки, ноги и все туловище (табурет у меня отняли). Тогда вновь явился с конвоем Богородский и перевел меня в отдаленную камеру, по соседству с которой не было заключенных. Я, однако, и там продолжал всеми способами настаивать на своем требовании, и, в конце-концов, вынужден был прибегнуть к последнему, тогда еще не столь часто, как ныне, практиковавшемуся средству: я объявил «г о л о д о в к у», пока требование мое не будет исполнено.

Я решил действовать в данном случае единолично, на свой собственный страх и риск, не сообщив даже о факте «голодовки» товарищам, так как мне не хотелось вовлечь и последних (что было бы неминуемо), при всеобщем физическом их истощении, в столь тяжелую борьбу. Я заявил «присяжным» и смотрителю, что категорически отказываюсь от всякой еды и питья, и просил ничего в комнату мне не подавать, так как это будет совершенно напрасно.

Богородский опять переменял свой тон на прежний — отеческий, всячески меня уговаривал и даже почти слезно умолял «не губить себя», «пощадить своих родных и товарищей» и прекратить голодовку. Я оставался, однако, непреклонным.

Прошло пять дней, настал шестой. Мой крепкий организм подался. Я с трудом уже поднимался с постели, вскарабкаться же на подоконник не хватало уже у меня сил.

Богородский по несколько раз в день наведывался ко мне. Наконец, на шестой день он со слезами на глазах принялся умолять меня прекратить голодовку, давая мне при этом от имени коменданта честное слово, что, как только я исполню его просьбу, мне на другой же день будут доставлены бумага и письменные принадлежности и предоставят мне возможность написать жа-

лобы, каковые немедленно и будут отправлены по назначению. Я принял это условие, объяснив, что голодовка моя отнюдь не является продуктом упорства или упрямства с моей стороны, а лишь единственно возможным в моем положении протестом против лишения меня законного права всякого заключенного; раз же право это за мною теперь признается, то, полагаясь на слово коменданта, я голодовку прекращаю.

На другой же день мне, действительно, принесли в камеру бумагу и письменные принадлежности. Я написал два резких и энергических протеста на имя министров военного и юстиции против совершенного надо мною насилия даже еще до окончания суда, когда я, во всяком случае, все еще лишь обвиняемый, а не осужденный, и общегражданских прав своих отнюдь еще не лишен.

Богородский дал слово, что жалобы немедленно переданы будут им коменданту. Я успокоился и уже *post factum* сообщил товарищам обо всей этой истории, и так как из доходивших до нас «с воли» сведений я знал, что в то время отчётливо уже намечалось новое направление в революционной деятельности — переход к терроризму, то я, как не сочувствовавший принципиально этому направлению (хотя и вполне понимавший его *raison d'être*), просил тех из товарищей по заключению, которые имели сношения с «волей», передать туда мою просьбу, чтобы акт насилия надо мною лично никоим образом не явился поводом к какому-либо террористическому акту. И я имею основание думать, что просьба моя принята была во внимание *.

10

Пока мы продолжали таким образом отдыхать за решетками крепостной тюрьмы, в зале окружного суда безостановочно продолжался «Большой процесс».

До нас доходили о нем отрывочные известия. Мы знали, что «укрошение строитивых» не приостановило бойкота суда, и подсудимые последних пяти групп (13—17), которые заранее примкнули к нему, продолжали раз навсегда установленную тактику, отказываясь от участия в суде и требуя своего удаления из залы заседания. До нас дошло, что при судебном следствии над 13-й группой опять разразился крупный скандал и подсудимые Чернявский и Грачевский, не заявив об отказе от суда, а потребовав разрешения дать некоторые объяснения, «дозволили

* Уже впоследствии, в Сибири, мне попала в руки брошюра «Смерть за смерть» по поводу убийства шефа жандармов Мезенцова. В этой брошюре перечислен был целый ряд возмутительных насилий, совершенных агентами III отделения, главным начальником которого состоял генерал Мезенцов. В этом перечне фигурировали издевательство и насилие надо мною, но они отнесены были отдельно в примечание, очевидно, из уважения к моей просьбе, так как русские революционеры всегда свято исполняли просьбы товарищей, не нарушая их этических принципов ⁵².

себе дерзкие выражения относительно правительства и суда, за что были удалены из залы заседания», что такие же «дерзкие выражения против правительства и суда» «дозволил себе произнести» Осташкин при судебном следствии по 16-ой группе, и т. д.

Сенаторы «терзались», продолжая получать оскорбления «по чайной ложке в час». Первоприсутствующий сенатор Петерс, при всем своем олимпийском спокойствии, не выдержал: он 27 ноября «заболел», и с 30 ноября заместил его статс-секретарь сенатор К. К. Ренненкампф, который и довел уже процесс до «благополучного» конца.

Мы полагали, что нас все-таки по окончании судебного следствия, для соблюдения приличий, переведут опять в дом предварительного заключения, чтобы предоставить возможность воспользоваться «последним словом», буде кто этого пожелает. Однако и судебное следствие было уже закончено, начались «прения сторон», а нас и не подумали потревожить. Желиховский произнес уже свою длинную и бесцветную обвинительную речь, призывая на голову обвиняемых громы и молнии, защитники (Александров, Бардовский, Герард и другие) уже тоже произнесли свои блестящие громовые речи, направленные против жестокого политического режима нашего и по адресу некорректного судопроизводства, причем с быстротою молнии по всей России разнеслось смело брошенное Александровым с трибуны заявление, что «история пригвоздит к позорному столбу» не сидящих на скамье подсудимых, а тех, кто их на эти скамьи посадил, — а мы все еще оставались в Петропавловке, как будто дело вовсе не нас касалось.

10 января 1878 г. закончились прения сторон. Суд занялся постановкой многочисленных «вопросов», которые ровно через три месяца со дня начала суда были прочитаны в заседании 18 января, в заседании 19 января стороны давали по ним свои «заключения», а через 4 дня в заседании 23 января был, наконец, оглашен приговор особого присутствия, который в окончательной форме объявлен был 15 февраля и тогда же нам сообщен был в той же крепости.

Многие (даже и не из бюрократических сфер) приговор этот находили тогда довольно «мягким», далеко, по их мнению, не соответствовавшим тому грандиозному «скандалу», в который мы, подсудимые, превратили весь процесс.

Не подлежит сомнению, что грандиозный скандал, крайне щекотливое положение сенаторов и значительно приподнятое тогда и возбужденное общественное мнение побудили судей более внимательно прислушиваться к заявлениям защищавшихся подсудимых и к глубоко-содержательным и талантливым речам защитников, посерьезнее вникать в обстоятельства дела. Благодаря этому и получился тот результат, что почти относительно целой половины подсудимых не найдено было в деле **п и к а к и х**

улик, и 90 человек из сидевших на скамьях подсудимых, «привлеченные в качестве обвиняемых в государственных преступлениях», «признаны невиновными» (как гласил приговор) и были «оправданы», причем две трети из числа этих «оправданных» оказались протестантами, бойкотировавшими суд и совершенно не защищавшимися¹⁾. Но что же иное это доказывает, как не то, что с удивительно преступной легкостью и беззаботностью тогда (как и ныне) хватали по «Руси святой» людей, совершенно непричастных или причастных в самой слабой степени (за немногими исключениями) не то что к «революционной» деятельности, но и вообще к какой бы то ни было политической деятельности. К дознанию по «делу о преступной пропаганде в империи», которое всеми силами генерал Слезкин и прокурор Жихарев (в особенности последний), в интересах служебной своей карьеры, старались раздуть, было привлечено и заперто под замки и засовы несколько тысяч человек, из коих девять десятых вынуждены были, в виду отсутствия каких бы то ни было оснований к аресту, освободить задолго еще до следствия.

Правда и то, что сравнительно с состоявшимся в 1877 г. приговором по аналогичному Московскому процессу, или «процессу 50-ти», наш приговор был «мягкий». Но *comparaison n'est pas raison*.

Приговор по тому процессу был до-нельзя суровый и жестокий и вызвал всеобщее негодование во всех сферах общества и даже некоторых правительственных кругах. И это само по себе отнюдь еще ничего не говорит о безотносительной «мягкости» приговора по нашему делу.

Особое присутствие сената приговорило по нашему делу в каторжные работы на разные сроки двадцать восемь человек²⁾, к ссылке на поселение и на житье — тридцать девять человек³⁾, к заключению: в арестантские исправительные отделения на сроки от 3¹/₂ лет до 1 года и 3 месяцев —

1) В число этих 37 протестантов вошли: Биткин, Введенский, Веревошкин, Видуанов, Волкенштейн, Голиков, Дическулло, Желябов, Завадская, Князевский, Комов, Корабельников, Лазарев, Ланганс, Максимов, Малиновский, Милоглазкин, Неволин, Никольский, Овчинников, П. Орлов, Перовская, Петропавловский, Потоцкая, В. Рогачева, Семенов, Серебряков, Соловцовский, Теплов, Траубенберг, Троицкий, Тушинская, Федорович, Филадельфов, Шатилова, Шевырева и Якимова.

2) В том числе: Аверкиева, Брешковская, Войнаральский, Добровольский, Н. Емельянов, Зарубаев, Квятковский, Ковалик, Куприянов, Ливанов, Макаревич, Муравский, Мышкин, Низовкин, Осташкин, Рабинович, Рогачев, Сажин, Синегуб, Скворцов, Союзов.

3) Аргамонов, Блаватский И., Барков, Блаватский К., Борко-Боринский, Ваховская, Волховский, Говоруха-Отрок, Головин, Горинович, Городецкий Л., Грищенков, Данилов, Дробыш-Дробышевский, Знаменский, Иванова С., Жебунев С., Корнилова, Костюрин, Кувшинская, Ларионова, Лебедева, Лермонтов, Лешерн-фон Герц-

шесть человек¹⁾, в смиренный и рабочие дома на сроки от 8 месяцев до 3 месяцев — трех человек²⁾, в тюрьму на сроки от 6 до 3 месяцев — шесть человек³⁾, и к' аресту — семнадцать человек, в том числе десять⁴⁾ сроком на три месяца и семь⁵⁾ — на пять дней, и, наконец, одного⁶⁾ — к отрешению от должности со взыванием вдвое казенных процентов с передержанной суммы.

Таким образом, наказаниям подвергнуто было, при 90 оправданных, 100 человек, — трое умерло⁷⁾ во время самого суда, — и, если из них на каторгу и на поселение и на жительство попало лишь две трети (67 человек), то это обусловлено было отнюдь не «мягкостью» приговора. Нельзя же было, в самом деле, к более суровым наказаниям приговаривать «за именование у себя книг преступного содержания без разрешения начальства» (Виноградов, Говоруха-Отрок, Кац, Аносов, Голоушев и др.), или «за знание и недонесение о «сообществе» (Ермолаева, Фетисова), или за то, что «не довели до сведения начальства о распространении преступного содержания книг» (Павловский, Пьянков и Соколов) и т. д. Но всех тех, кто «под влиянием западно-европейских революционных учений... составили в России противозаконное сообщество с целью ниспровержения правительства и установленного законом государственного устройства в Российской империи в более или менее отдаленном будущем», как и тех, которые «вступали в это сообщество с знанием о целях оного», суд удостоил каторжными работами и ссылкой.

Мягкий приговор!

Разве в Европе, принадлежностью к которой наше правительство так всегда кичилось, за «преступления», аналогичные тем, за которые нас судили, приговаривают людей к 3 и 4-летнему одиночному тюремному заключению*, каковому подверглись не только те, кому заключение это было вменено в наказание, но

фельд, Ломоносов, Лопатин В., Лукашевич, Мейер, Мокиевский-Зубок, Осипов, Саблин, Спесивцев, Тихомиров, Трезвинский, Фаресов, Фишер, Франколи, Юргенсон и Ярцев.

¹⁾ Гауэнштейн, Кац, Милоглазкин, Морозов, М. Орлов (1 г. и 3 м.) и Эдельштейн (3½ г.).

²⁾ Субботина (смирительный дом, 8 мес.), Виноградов и Аронзон (рабочий дом, 3 мес.).

³⁾ Ермолаева и Фетисова (6 мес.), Терновский (4 м.), Павловский, Пьянков и Соколов (3 мес.).

⁴⁾ Аносов, Гвоздев, Грачевский, Казачек, Каменьский, Махаев, Медведев, Никифоров, Щеглов и Щепкин.

⁵⁾ Аитов, Глушков М., Голоушев, Добров, Кириллов, Любавский и Щеголев.

⁶⁾ Мировой судья Эндоуров обвинялся в истребовании из казначейства 1.400 рублей и незаписи их в приход.

⁷⁾ Жилинский, Кротов и Тетельман.

* Насколько «веско» принималась «мера пресечения» в виде тюремного заключения, видно из того, что во время уже судебного следствия особое присутствие освободило на поручительство свыше шести-десяти человек!

и многие из тех, которые по суду были совершенно оправданы. Меня, например, прокуратура обвиняла в двух преступлениях: 1) в принадлежности к вышеуказанному «противозаконному сообществу» и 2) «в покушении на распространение книг преступного содержания». Обвинение по первому преступлению оказалось настолько необоснованным какими бы то ни было уликами, что, хотя я — ни лично, ни через адвоката — не защищался, особое присутствие не могло не признать его недоказанным и не оправдать меня по этому пункту, признав меня лишь виновным «в покушении на распространение книг запрещенного содержания, — и вот лишь за одно это «покушение» * оно приговорило меня к каторжным работам на заводах на пять лет со всеми вытекающими последствиями!

Особое присутствие сената, сознавая, что честолюбие и карьеризму гг. Жихаревых и их присных принесена была уже чересчур крупная жертва; сознавая, что «противозаконное сообщество», предполагаемое существование которого являлось оправданием предварительного содержания людей за решетками в течение трех-четырех лет, создано было слишком искусственно и было настолько дутое, что оно само признало возможным разделить подсудимых для производства судебного следствия на 17 групп, хотя ради осуществления «сообщества» погублена была масса жизней, — принуждено было пойти на следующее. Подавленное всеобщим негодованием, ради сохранения хоть внешней оболочки «достоинства суда», оно приняло во внимание: 1) «долговременное содержание большей части подсудимых в одиночном заключении», 2) что многие провели в предварительном заключении время, превышающее те сроки, в пределах которых они могут подлежать лишению свободы; 3) «молодость» некоторых и «вовлечение» их другими в «преступление» и 4) «что подлежащие строгому уголовному наказанию», в виду долговременного одиночного заключения, заслуживают также «монаршего к ним снисхождения»; уменьшило строгость наказания тем, «относительно коих сие зависит от суда»; признало справедливым, руководствуясь 775 ст. Устава угол. судопроизводства, «повергнуть на монаршее милосердие участь» 97 подсудимых, выделив, однако, совершенно Мышкина, «не усматривая основания к облегчению наказания» ему, так как он «вину свою по главному предмету обвинения в настоящем деле отяготил покушением на смертоубийство**», и еще пять лиц, коим оно определило окончательное наказание.

Особое присутствие ходатайствовало именно: а) о вменении

* Строго говоря, если бы инкриминированное мне судом деяние было даже доказано, можно было бы квалифицировать его разве как приготовление к покушению!..

** Ипполит Никитич Мышкин, помимо составления противозаконного сообщества и покушения на распространение сочинений преступного содержания, обвинялся и признан был виновным в покушении

58 лицам предварительного ареста в наказание; б) оставив для Мышкина определенное ему по закону наказание*, из остальных 27 лиц, приговоренных к каторжным работам, четырех (Войнаральского, Ковалика, Муравского и Рогачева) сослать на поселение в отдаленные места Сибири и двух (Синегуба и Стаховского) — в не столь отдаленные; 16 человек (Аверкину и Брешковскую, Добровольского, Емельянова Н., Зарубаева, Квятковского, Ливанова, Макаревича, Остапкина, Скворцова, Союзова, Стопане, Чарушина, Чернявского, Чудновского и Шишко) — на житье в Тобольскую губернию, трех (Куприянова, Сажина и Супинскую) — на житье в отдаленные губернии, кроме сибирских, Рабиновича — на житье в Иркутскую губернию, а Низовкина («в виду чистосердечного раскаяния, сознания и указания») от наказания совсем освободить, и в) о смягчении наказания на две степени также Ивановой, Мееру, Лешерн и Лукашевич и о полном освобождении от наказания Гориневича.

Итак, «милосердие», о котором ходатайствовало особое присутствие, должно было главным образом проявиться в том, чтобы из 28 лиц в каторжные работы попал один лишь Мышкин, попало же их в действительности — двенадцать: Брешковская, Войнаральский, Квятковский, Ковалик, Муравский, Мышкин, Рогачев, Сажин, Синегуб, Союзов, Чарушин и Шишко.

А затем, в помощь поклонникам суровых кар, явилось III отделение, позаботившееся о том, чтобы не только громадное большинство тех, кому по высочайшему повелению предварительное заключение вменено было в наказание, но и многие из тех, которые особым присутствием были совсем оправданы, очутились в административной ссылке во многих «столь» и «не столь» отдаленных пунктах Российской империи.

11.

Казалось бы, что можно было рассчитывать на то, что, по крайней мере, после окончания суда постараются поскорее привести в исполнение состоявшийся приговор, — тем более, что никто из нас о кассации и не думал. Но не тут-то было! Пришлось и после того, как приговор вошел в законную силу, просидеть в Петропавловской крепости еще несколько месяцев. Теперь уже причинами замедления являлись высочайшая конфирмация, формирование партий, составление статейных списков, распутица и т. п.

Хотя доходившие до нас слухи о русско-турецкой войне, о неудачах нашей армии, которой едва-едва удалось справиться с армией той самой Турции, которую все наши «патриоты» считали разваливающимся трупом, давали нам основание рассчиты-

на жизнь сопровождавших его из Вилойска в г. Якутск двух казаков и мещанина Чудинова.

* Каторжные работы в крепостях на 10 лет.

вать, что эта война, хотя и заканчивавшаяся победой, должна будет сыграть для нас хоть в слабой степени такую же роль, какую сыграла «Крымская кампания», — но мы все же понимали, что мы лично (по крайней мере, на продолжительное время) сдаемся в архив и сходим со сцены. Поэтому-то у некоторых из нас явилась естественная мысль обратиться из-за крепостных стен с завещанием к молодому поколению — с завещанием за полными подписями осужденных по процессу 193-х. Мы были уверены в том, что подобный акт с нашей стороны вызовет в молодежи подъем энергии и бодрости и окажет существенную услугу нашему освободительному движению.

Теперь, когда приговор вошел уже в законную силу, нам разрешили гулять по несколько человек вместе, предоставляя нам при этом группироваться для прогулок по своему усмотрению, не возбраняя даже тому или другому входить в две-три группы. Этим осуществление нашего плана значительно облегчалось.

После предварительного соглашения нами выработана была лаконическая, сжато-выразительная редакция «завещания», экземпляр которого, тщательно переписанный на-бело, в течение двух-трех дней подписан был всеми осужденными полными именами и фамилиями и затем передан был на «волю» с просьбой предложить его к подписи и товарищам по процессу, остававшимся в доме предварительного заключения, буде кто из них пожелает.

За давностью лет я не могу по памяти восстановить текст этого «завещания». Содержание его сводилось приблизительно к тому, что, указав вкратце на преследовавшиеся нами задачи и цели и на характер произведенного над нами суда и вынесенного им приговора, мы призывали грядущее поколение сменить нас, павших в борьбе, и продолжать начатое нашими предшественниками и нами дело освобождения народа от деспотического-эксплуататорского режима.

Завещание⁵³ наше напечатано было в большом количестве экземпляров и произвело, как нам сообщали, весьма сильное впечатление не только в среде чуткой нашей молодежи, но и в широких слоях «общества». Когда оно попало в руки властей с нашими подписями-факсимиле (насчет факсимиле было наше желание), в правительственных сферах сильно всполошились: такого «дерзкого» и «смелого» выступления с нашей стороны не ожидали.

Нагрянули к нам разные власти, принялись доискиваться «авторов» и «зачинщиков», началось дознание, которое ничем, однако, не кончилось, так как мы отказались от всяких показаний.

Нам «завещание» это ближайшим образом оказало ту услугу, что приняли, наконец, меры к скорому исполнению над нами приговора⁵⁴.

ГЛАВА IX

1

Все́му бывает конец. Настал конец и нашему крепостному сидению.

В один далеко не прекрасный день мы узнали, что камера Мышкина опустела. Рассказывали, что накануне, поздно вечером, вызвали его в комендантское управление, что там, невзирая на его протесты, обрили ему полголовы, заковали в ручные и ножные кандалы и куда-то отправили. Началось, стало быть!

Через несколько дней вслед за Мышкиным исчезли Войнаральский, Ковалик, Рогачев, Муравский.

Тюрьма мало-по-малу очищалась таким образом от осужденных по процессу 193-х, хотя, конечно, «свято место пусто не бывает», и освободившиеся камеры наполнялись «новичками»; ушедших успели заменить многозаслуженный Марк Натансон, его закадычный друг Сергей Тютчев и другие.

Дошла очередь до меня. Присяжные с конвойными ночью (в наших казематах все совершается под прикрытием ночного мрака) вошли в мою камеру, принесли собственную мою одежду и, разбудив меня, предложили одеться⁵⁵.

В их сопровождении я оставил за собою дворик каземата и, пройдя несколько саженей от ворот этого дворика, введен был ими в какое-то крепостное помещение.

Я очутился в высокой свежевештукатуренной комнате со многими дверями и оставлен был здесь на короткое время один.

Кругом царил мертвая цемная тишина. Я смотрел на белые стены высокой комнаты, и воображение мое невольно сосредоточивалось на тех узниках, которые не в малом, вероятно, количестве перебивали в этом мертвом здании, служившем, так сказать, предельною гранью между невольной жизнью в крепости, этой эмблеме всей нашей русской жизни, и подневольной жизнью в ссылке в разных «столь» и «не столь» «отдаленных местах» Европейской и Азиатской России...

Минут через пятнадцать меня препроводили в одну из соседних обширных комнат, в которой за традиционным присутственным столом заседали чины губернского правления. Лаконически, без всяких объяснений, мне предложили раздеться догола,

поставили меня под какую-то мерку возле дверей, записали мои приметы. Затем мгновенно внесли заготовленное для меня арестантское платье. Ни слова не говоря и без всякого содействия с моей стороны — быстро, проворно, опытной рукой и совершенно *sans façon* надели на меня куртку и штаны из серого грубого арестантского сукна, а на ноги — онучи и «коты», и... я был готов!

В совершенно преображенном виде я вышел с сильно бьющимся сердцем из этого печального здания в сопровождении жандармского офицера. На улице возле крыльца стояла обычная крытая карета. Конвоир открыл дверцы, я вошел, за мною вошел жандармский офицер; захлопнули дверцы, опустили шторы, и мы покатили.

Этого рода путешествие уже для меня было обычное дело. Теперь я мог с уверенностью знать, что для меня настало время надолго расстаться и с Питером, и с Европейской Россией вообще.

Через некоторое довольно продолжительное время наша карета остановилась. Я очутился на Николаевском вокзале и здесь водворен был моими конвоирами в довольно обширный арестантский вагон с толстыми и частыми решетками в окнах.

Здесь ждала меня крайне удручающая картина. В вагоне находилось уже несколько человек и между ними один с мертвенно-бледным лицом, с почти совершенно голой и наполовину обритой головой, с тяжелыми кандалами на руках и ногах.

Это был Михаил Петрович Сажин. С ним я встречался уже на суде и там немного с ним познакомился. Но как сильно он изменился за столь короткое сравнительно время! Пережитая же им в эту ночь столь резкая перемена подействовала, очевидно, на него крайне подавляющим образом. Мертвенно-бледное лицо его отражало искусно заглушаемые нравственные муки, хотя он, человек с сильным, закаленным характером, наружно сохранял полное спокойствие и самообладание...

Зачем и для чего понадобилось это излишнее и бесцельное издевательство над человеческим достоинством и личностью побежденного политического противника!

Особое присутствие сената Сажина не признало виновным не только в «составлении» тайного сообщества или во «вступлении в таковое с знанием о цели оного», но даже и в «знании и недонесении» о сообществе. Сажин признан был, как и я, виновным лишь в «покушении на распространение книг преступного содержания и в участии в этом покушении». Приговорив его, как и меня, к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на заводах на пять лет, суд «признал справедливым повергнуть на монаршее милосердие участь» его, как и почти всех других, и ходатайствовать о ссылке его на жительство не в сибирские губернии, а «в отдаленные губернии, кроме сибирских». Но государь не признал возможным согласиться на ходатайство особого присутствия по отношению к Сажину. Третье

же отделение, сводя, очевидно, счеты с Сажиним за его эмигрантскую деятельность*, решило основательно от него отделаться — запереть его в «централку» (это выяснилось потом), подвергнув предварительно бритью полголовы и заковке в кандалы...

Вагон наш мало-по-малу наполнялся. Скоро, насколько я припоминаю, очутились там Волховский, Лукашевич, Остапкин, Рабинович, Союзов, Стопане, Чернявский и Шишко, а так как на каждого «преступника» полагалось по два жандарма, то в вагоне к отходу поезда находилось, как помнится, 30 человек, не считая жандармского офицера, занимавшего отдельное помещение.

Шишко, во внимание к его дворянству и офицерскому званию, от бритья полголовы освободили, но все-таки напши нужным и возможным заковать его в кандалы, невзирая на его болезненное состояние.

Шишко** признан был особым присутствием сената виновным в том, что он, в числе 61 человека, «вступил» в составленное Мышкиным, Войнаральским, Коваликом и Рогачевым тайное сообщество «с знанием о целях оного» и распространял вместе с другими в разных местах сочинения с целью возбудить «к явному неповиновению власти верховной»: за эти «преступления» суд приговорил его к ссылке в каторжные работы в крепостях на 9 лет, но и его участь повергнута была судом «на монаршее милосердие» при ходатайстве о замене для него каторги ссылкой на житье в Тобольскую губернию. Но такое милосердие признано было и по отношению к нему невозможным...

Если всецелый шеф корпуса жандармов, в руках которого мы теперь всецело находились, признал возможным совершить экзекуцию бритья головы и заковки в кандалы над «почетным гражданином» Сажиним, то с «рабочим» Союзовым ему, разумеется, церемониться совсем уж не приходилось: не избалованный в принадлежности к тайному сообществу, но признанный виновным в распространении книг «преступного содержания», Союзов приговорен был особым присутствием к лишению всех прав и ссылке в каторжные работы в крепостях на 9 лет, но и его «участь» оно «повергло на монаршее милосердие», ходатайствуя

* Сажин прожил долгое время за границей — в Америке, Франции, Испании и, главным образом, в Швейцарии, где он, под именем «Росса», принимал, как ближайший помощник и представитель Бакунина, весьма деятельное участие как в делах местной «юрской федерации» Интернационала, так и в подготовительных работах к русской революции. Относясь отрицательно к некоторым сторонам его международной деятельности, нельзя не отдать, однако, ему справедливости в выдающейся энергии, деловитости и практической целесообразности. Эти качества III отделение вполне оценило и воздало Сажину должное!

** Шишко окончил артиллерийское училище, в котором он учился одновременно с Кравчинским, Рогачевым и другими.

о замене и для него каторги ссылкой на житье в Тобольской губернии; однако и это ходатайство было оставлено без последствий.

Мы все остальные семь человек (Волховский, Лукашевич, Остапкин, Рабинович, Стопане, Чернявский и я), как не лишенные «всех» прав и предназначенные лишь к ссылке на житье, от кандалов и бритья головы были освобождены.

2

Перемена обстановки и движение в широком пространстве не могли, конечно, не оказать на нас своего благотворного действия, и тяжелое чувство бессилия и беспомощности, вызванное в нас реально конкретной картиной издевательства над человеческим достоинством всех нас, а в особенности Сажина, Союзова и Шишко, понемногу улеглось, уступив вновь место всецелующей надежде.

Мы разговорились, всячески стараясь рассеять и развлечь наиболее из нас пострадавших, и оживленная беседа наша тянулась почти без перерыва до самой Москвы.

Не доезжая до последней, мы все (кроме одного Сажина) переведены были в том же вагоне по соединительной ветке на Московско-Нижегородский путь. Сажина же от нас отделили, и мы поняли, что тяжелое предчувствие его оправдалось: решили, очевидно, замуравить его в одной из «централок» Харьковской губернии, в которые, по дошедшим уже до нас сведениям, заключили не только Мышкина, но и Войнаральского, Ковалика, Муравского и Рогачева, «участь» коих повергалась «особым присутствием на монаршее милосердие» при ходатайстве замены для них каторжных работ в крепостях ссылкой «на поселение в отдаленных местах Сибири».

Смутно уже помнится мне теперь наше передвижение до Нижнего-Новгорода, откуда мы должны были уже дальше ехать водой на пароходе.

Так как поезд наш не поспел к отходу парохода, при котором находилась специально приспособленная арестантская баржа, то нам пришлось остановиться на несколько дней в Нижнем. По распоряжению жандармского офицера (начальника конвоировавшей нас команды), возле Нижегородского вокзала заготовлены были для нас десять полуоткрытых фаэтонов, в каждый из которых поместили по одному из нас с двумя жандармами по обеим его сторонам.

Процессия наша торжественно двигалась по городу по направлению к пересыльной тюрьме.

Последняя находилась на горе, так что экипажи подвигались очень медленно, вызывая всеобщую сенсацию: интеллигентный по облику человек в полном арестантском одеянии, помещенный между двумя жандармами при полном вооружении,двигающийся в приличном фаэтоне, за ним другой, третий и т. д., причем ше-

ствие замыкается едущим особняком жандармским офицером. Такая своеобразная картина не могла не обратить на себя всеобщего внимания, тем более, что тогда как раз выпал праздничный день и по горе фланировала большая масса празднично разодетой публики.

Между прочим, спускался с горы навстречу на прекрасном рысаке какой-то очень прилично одетый средних лет человек в совершенно новеньком лоснящемся цилиндре. Кучер, по его, очевидно, приказанию, задержал ход рысака и двигался шагом почти вплотную около нашей процессии. Возле каждого фазтона нижегородец высоко приподымал свой цилиндр и отвешивал низкий-пренизкий поклон, а так как фазтон от фазтона двигался на расстоянии одного-двух аршин, то сцена получилась весьма эффектная и демонстративная, так что, когда мы подъехали к тюрьме, жандармы с большим любопытством расспрашивали нас про встретившегося с нами господина: не родственник ли это чей-либо, не знаем ли мы, мол, кто он такой и как его зовут.

Эта встреча, как и оказанное нам никем не подготовленное сочувственное внимание, очень нас, признаться, обрадовали, так как в них вылилось вполне определенное отношение к тому делу, которому мы служили и за которое нас снарядили в дальний путь.

Сдав нас на хранение тюремному начальству, жандармский офицер сам отлучился в город по своим делам, не позаботившись о том, чтобы нас как-нибудь сносно устроить. Отведенные нам камеры оказались очень плохими и сырыми, горячей пищи нам вовсе не отпустили, так как общее обеденное время уже давно прошло, а относительно обеда для нас никакого распоряжения заблаговременно не сделали. В довершение всего, тюремное начальство не соглашалось пустить нас в контору, чтобы мы могли, воспользовавшись временной остановкой, написать письма родным, — на том основании, что мы находимся в ведении жандармского офицера, у которого-де и ключи от нашего коридора.

Мы потребовали, чтобы к нам вызвали прокурора. Тюремная администрация отказалась исполнить наше требование. Мы подняли шум. Уголовные выразили нам свое сочувствие и сообщили, что скоро должен прибыть в тюрьму товарищ прокурора и мы можем этим воспользоваться.

Чернявский и я приняли на себя дежурство у окна, выходящего во двор, и как только мы увидели, что вошел во двор вместе со зрителем молодой товарищ прокурора (нам описана была его наружность), мы очень громко окликнули его. Он подошел к нашему окну, и мы на его вопрос, в чем дело, заявили ему, что наша партия просит его зайти к нам и выслушать наши претензии. Молодой (но, очевидно, из ранних) товарищ прокурора очень смутился и пролепетал в ответ, что партия наша находится-де в ведении жандармского офицера и ему, поэтому, неудобно вмешиваться в распоряжения последнего. Мы поста-

вили тогда товарищу прокурора категорический вопрос: признает ли он нас в данный момент арестантами, заключенными в н и ж е г о р о д с к о й тюрьме, и обязан ли он, как товарищ прокурора, посещать всех в этой тюрьме заключенных, выслушивать их жалобы и удовлетворять те из этих жалоб, которые основаны на законе?

Прижатый к стене, товарищ прокурора, скрепя сердце, вошел к нам, и мы предъявили ему следующие два требования:

1) Леонид Шишко, как дворянин и бывший поручик, хотя и лишенный по суду прав, согласно, однако, нашим существующим законам, не мог быть подвергнут заковке в кандалы до прибытия на место каторжных работ*; мы требуем, поэтому, распорядиться о немедленном снятии с него оков, которые, в виду его серьезного болезненного состояния, крайне губительны для его здоровья.

2) Суд над всеми нами уже закончен, и мы теперь направляемся на места ссылки. Стало быть, лишение нас права переписки с родными и даже знакомыми совершенно противозаконно, и мы требуем немедленного распоряжения о предоставлении нам возможности написать в конторе тюрьмы нужные письма.

Товарищ прокурора, внимательно выслушав нас, робко заявил нам, что он немедленно отправляется к прокурору, передаст ему точно все наши доводы и требования и не позже, как часа через два, вернется к нам с ответом.

Действительно, часа через полтора он вернулся и заявил нам: прокурор совершенно согласен с нами, что Шишко незаконно заковали в кандалы, и очень об этом сожалеет, но так как мера эта принята вне его, прокурора, округа, еще в Петербурге, по распоряжению III отделения, то он не считает себя в праве ее отменить. Что же касается писем, то он, товарищ прокурора, уполномочен прокурором разрешить нам всем отправиться в контору и там, под его наблюдением, написать кому угодно и какие угодно письма.

Предъявив протест против незакономерного ответа относительно Шишко, мы отправились в контору и принялись там за письма. Вернувшийся тем временем жандармский офицер остался крайне недоволен вмешательством «посторонних» в «его» дело и заявил, что так как он не получил никакой определенной инструкции относительно переписки нашей в дороге, то он не возражает против того, что мы пишем в конторе письма, но полагает, что последние-де могут быть отправлены не иначе, как через него, да и то он сочтет себя обязанным предварительно послать их на просмотр в московское жандармское управление.

Делать было нечего. Пришлось подчиниться капризу офицера, спасавшего этим путем свой «престиж», да и нецелесообраз-

* Заковка в кандалы преступников, не лишенных дворянства, воспрещена указом 22 декабря 1827 года.

но было для нас обострить с своим путевым начальником отношения, тем более, что письма наши были, разумеется, самого невинного содержания. Что же касается Шишко, то, как ни горестно было для нас тяжелое положение этого до крайности деликатного и прекрасного товарища, мы очень хорошо понимали, что наложенные на него кандалы — продукт творчества III отделения, которое тогда еще было слишком всеильно, чтобы какой-нибудь прокурор, хотя и именуемый «блюстителем закона», осмелился идти явно против его распоряжения, если только он не готов был отстаивать «законность», рискуя даже своей «карьерой», а таких праведных «законников» было бы наивно искать (в особенности в то время) в нашем «правовом» государстве в среде «коронных» чиновников (да и не только коронных) какого бы то ни было ведомства.

3

Через несколько дней нас опять в полуоткрытых фазтонах препроводили на пароходную пристань. Здесь разместили нас в довольно вместительной трюмной каюте, так называемой арестантской барже *. Наш жандармский офицер нашел вполне возможным не помещать в нашей каюте никого из наших провожатых — жандармов **, рассуждая вполне основательно, что толстейшие решетки в маленьких надводных окошечках трюмной каюты и запертая снаружи на замок выходная на палубу дверь, возле которой днем и ночью караулили часовые, представляли вполне прочную гарантию от возможности побегов. Поэтому в нашем помещении было сравнительно довольно просторно, говорю «сравнительно», так как в этой же каюте уголовных арестантов помещали обыкновенно человек пятьдесят-шестьдесят и больше, и тогда, разумеется, стояла спертая духота.

Немного осмотревшись и освоившись с новым положением, мы расположились на устроенных в каюте в два ряда нарах, — каждый со взятым с собою багажом.

Здесь, в водной стихии, мы чувствовали себя довольно недурно. Мы устраивали совместные чтения взятых в дорогу книг, вели бесконечные беседы о разных разностях; более детально знакомились друг с другом и т. д. Кормили нас (больше на собственный наш счет) довольно сносно. Чаевали и обедали мы все вместе — артельно. По вечерам, когда помещавшихся в других трюмных каютах уголовных арестантов запирали на ночь, нас

* При буксирных пароходах считалось тогда обязательным иметь две особые специальные баржи — одну на 300 и другую на 400 человек. В каждой из этих барж устроены были по три каюты, над которыми на палубе находились две рубки: носовая и кормовая. Плсцадь же между этими рубками, огороженная частой решеткой из толстой проволоки, служила местом для прогулки арестантов.

** Для нижних чинов этапных команд в кормовой рубке находилась особая каюта. Офицер же наш, вместе с начальником общей этапной команды, помещался в одной из четырех кают носовой рубки.

выпускали на прогулку на палубную площадку (между рубками), и мы проводили здесь целые часы под открытым небом, любуясь широко раскинувшимся над обширной водной поверхностью Камы и Волги горизонтом, созерцания которого мы лишены были в течение нескольких лет.

Было лето. Стояли очень теплые дни, и нам доставляло особенное, невыразимое удовольствие ежедневное купание в своеобразном «бассейне», приспособленном для арестантов при арестантских баржах: была отделена от нашей трюмной каюты одна боковая часть, пол в которой, сидевший на глубине двух-трех аршин в воде, как и бортовая стенка, представляли сеть отверстий, через посредство которых вода в этом «бассейне» беспрерывно освежалась. Мы с наслаждением, моментально скидывая с себя одежду, бросались в эту ванну, ныряя, барахтаясь и плавая в ней, сколько кому угодно было.

Жилось нам вообще в этой пловучей тюрьме недурно. О прошлом и будущем мы старались по возможности меньше думать. В настоящем же наше в общем недурное настроение лишь отравлялось кандалами симпатичнейшего нашего товарища Шишко: эти кандалы заметно причиняли ему серьезные страдания, хотя, по свойственной ему деликатной заботливости об окружающих, он всячески старался скрывать от нас свои мучения. В то время как крепкий, уравновешенный и жизнерадостный Союзов не только сам не поддавался унынию, но еще всякими способами нас развлекал, бодро побрякивая своими кандалами и пускаясь по временам даже в пляс, — болезненный Шишко, совершенно расстроивший в тюрьме свое здоровье, молча страдал. Союзов в течение первого же дня пребывания на барже изловчился как-то приводить кандалы в такое состояние, что он во всякую минуту мог без всякого труда скидывать их и затем с такой же легкостью водворять их на надлежащее место, так что на сон грядущий вовсе освобождал себя от них. Шишко никак не мог приспособиться к этому искусству...

Так мы добрались до красивого Екатеринбурга, этого прославленного центра уральских горнопромышленников. Отсюда, после короткой передышки, нас отправили дальше уже новым способом передвижения — на почтовых лошадях: каждого из нас отправляли, в сопровождении двух жандармов, на отдельной «тройке», причем тройка следовала за тройкой, а на последней тройке помещался обыкновенно ради экономии прогонных (в собственную свою, разумеется, пользу) жандармский офицер, замыкавший наш своеобразный поезд.

Тогда, во второй половине 70-х годов прошлого столетия, «великого Сибирского пути» еще не существовало. Екатеринбург не был еще соединен с Тюменью железнодорожной линией, так что на этом участке сообщение производилось исключительно на лошадях, причем «тракт» содержался в образцовом порядке.

Ехали мы днем и ночью, с самыми короткими остановками на станциях, на которых, по телеграфному распоряжению нашего жандармского офицера, для нас заранее заготавливались лошади. Раза два-три в день мы останавливались в прекрасных станционных помещениях на более продолжительное время для обеда и чаепития, причем начальник нашего конвоя заказывал для нас заблаговременно в определенных пунктах по телеграфу обед, меню которого разрабатывал по соглашению с нами.

Впервые я теперь познакомился с удивительно приятной, можно даже сказать поэтической, «сибирской гоньбой», которая в то время (отчасти и теперь) пользовалась широкой славой. Правда, географически Екатеринбург еще, собственно говоря, не Сибирь, а знаменитый пограничный столб, отделяющий Европейскую Россию от Сибири, находился значительно дальше. Но население с «географией» не считается: оно уже этот край признает Сибирью, а себя — сибиряками, что имеет за себя (или, по крайней мере, тогда имело) не мало оснований, так как уральцы в значительной степени заселяли Сибирь и с очень давнего времени между этим районом и районами смежных сибирских губерний, особенно Тобольской, существовали непрерывные сношения.

Лошади в этом крае крепкие, здоровые, выносливые. Мчатся они во весь дух, делая часто по 15—20 верст в час без особого утомления. Сибиряки — большие любители лошадей, умеют их выхаживать и за ними ухаживать. Корма они им не жалеют, отпускают им вдоволь хороший овес, но зато и требуют от них отличной, исправной работы. Когда сибирский ямщик возьмет в свои руки вожжи, крепко натянет их и изо всей мочи крикнет: «ни-у-у, голубчики, рrr-а-б-о-тай!» — тройка его ринется изо всех сил вперед и мчится, как угорелая, без оглядки, без передышки, пока этого сам ямщик не потребует. Особенно поразил меня подъем тройки на гору: не доезжая сажен 10—20 до подошвы горы, ямщик изо всех сил разгонит свою тройку, выпустит вожжи, — и тройка вихрем, напрягая все силы, подымается на гору и лишь на вершине задержится на минуту для передышки.

При такой езде, сопровождавшейся каждые два-три часа перепряжкой и переменой почтовой кибитки, спать очень мудрено. Возможно это еще, пожалуй, когда едешь в собственном «тарантасе», когда экипаж по дороге не меняется и на станциях перепрягают лишь лошадей. Но когда едешь в открытых или полуоткрытых почтовых кибитках, которые на каждой станции также сменяются вместе с лошадьми, причем приходится каждый раз перекладывать и укладывать багаж, то спать (в кибитке) почти невозможно.

Беспрерывная быстрая езда в тряских кибитках до того утомляет, что я, например, уже на третий день постоянно впадал в дремотное состояние; и в последнюю ночь жандармам моим приходилось вносить меня на станцию на руках; там я моментально

на диванчике на 10—15 минут засыпал, как мертвый, и им приходилось опять на руках меня выносить и усаживать в кибитку.

Возле исторического «пограничного столба» мы на несколько минут остановились с разрешения начальника нашего конвоя.

Этот «пограничный столб» представлял собою большую каменную вертикальную колонну на широком каменном пьедестале, на которой имеется соответствующая официальная надпись, гласящая, что здесь, мол, конец Европы, начинается Азия — Сибирь. «Столб» испещрен был массой неофициальных частных надписей, которыми разные «помнящие» и «непомнящие» пожелали увековечить для потомства присутствие свое в этом историческом пункте или давали те или другие указания приятелям, следующим за ними в других партиях.

Память моя надписей этих не сохранила, но помню, что некоторые из них своим лаконически-юмористическим характером и чрезвычайной меткостью вызывали с нашей стороны гомерический хохот.

Не у одного из нас екнуло сердце при созерцании этой эмблемы предстоящей нам очень продолжительной (а, может быть, и вечной) подневольной жизни.

Что-то ждет нас впереди, за этим столбом, — невольно думалось каждому из нас!..

4

И вот мы в самом первом заселенном пункте Сибири — в основанной царскими воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным еще в 1585 году (вскоре после смерти Ермака Тимофеевича) богатой и торгово-промышленной Тюмени, в первом на нашем пути сибирском городе.

Тюмень — один из самых «крупных» окружных * городов Тобольской губернии, в которой должна была осесть половина нашей партии: Волховский, Осташкин, Стопане, Чернявский и я. Выражение: «самый крупный» не должно, впрочем, вводить в заблуждение читателя. Оно может быть употреблено здесь лишь сравнительно, ибо этот промышленный и торговый пункт Тобольской губернии, славившийся своими коврами и своим гончарным производством, насчитывал в то время всего около 14.000 жителей обоого пола. Однако после Тобольска (с населением в то время около 17.000 жителей) Тюмень был самый населенный город в губернии.

Тройки наши остановились возле одного своеобразного архаического учреждения, специально ведавшего ссылаемых в Сибирь на жительство и поселение и в каторжные работы, — возле «Приказа о ссыльных», помещавшегося в одном из лучших тюменских зданий.

* В Сибири уезды назывались «округами», а административные центры — «окружными городами».

Во главе «приказа» стоял советник, в распоряжении которого находился целый штат служащих, влачивших самое жалкое существование, так как крайне мизерные оклады давали возможность только кое-как с грехом пополам сводить концы с концами; перебивались, что называется, с хлеба на квас, и то благодаря лишь тому, что жизнь в Тобольской губернии отличалась тогда необыкновенной дешевизной.

«Приказ» представлял из себя учетное и распорядительное учреждение. При помощи и содействии тобольской, томской, красноярской и иркутской экспедиций о ссыльных учреждение это принимало, распределяло и наблюдало за всеми ссыльными, разбросанными по всей обширной Сибири и представлявшими, по выражению Пушкина, смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний, из хат, из келий, из темниц. В этом «приказе», при всей ограниченности его штата, велась обширнейшая переписка и фабриковались целые тысячи дел. Он получал уведомления от всех судебных мест нашей обширной родины о преступниках, приговаривавшихся ими к ссылке в Сибирь. Имена ссыльных, на основании этих сведений, вносились «приказом» в предварительный алфавит. Затем, по прибытии в Тюмень лиц, занесенных в этот алфавит, «приказ», тщательно проверив их приметы, заносил их уже в другой список — распорядительный алфавит, в котором отмечались и те сибирские губернии, в которые они назначались «приказом», руководствовавшимся при этом особо преподанными ему правилами и соображениями. Прodelав эту процедуру, «приказ» пересылал преступников при особых, так называемых статейных списках* в соответствующие экспедиции. Последние назначали уже присланных к ним ссыльных в соответствующие округа, волости или города своих губерний, уведомляя об этом «приказ», который уже тогда полученные новые сведения вносил в алфавит окончательный.

Из изложенного очевидно, что на обязанности «приказа» лежало вести учет ссыльных и распределять их, при содействии экспедиций, по разным районам Сибири, в пределах, конечно, приговоров соответствующих судебных мест. При этом предполагалось, что как «приказ», так и экспедиции руководствуются при распределении ссыльных не одними лишь соображениями о степени населенности того или другого пункта, но и субъективными свойствами ссыльных — их пригодностью для того или другого рода занятий, образа жизни и т. п. Получалось, однако, на деле совсем не то. Эти архаические учреждения распределяли своих опекаемых чисто механическим путем. Ссыльные направлялись ими просто наугад, куда попало. Сплошь и рядом наблюдалась такая картина: прислуга — повара, кухарки, горничные,

* В статейном списке обозначалось преступление, за которое судился ссылаемый, указывались его приметы, лета, место рождения, звание и присужденное ему наказание.

лакеи и т. п. — попадали в глухие волости или в несчастные захолустные городишки, вроде Березова, Сургуты или Обдорска, где на их профессии решительно никакого спроса не существовало, а между тем в Томске, Иркутске, Енисейске или Чите на них был бы спрос и они могли бы приложить к чему-либо свою профессию; землеробы попадали в разные глухие городки, где еще с грехом пополам могли бы найти себе занятие слуги, но пахарю буквально нечего было делать. Их водворяли в такие пункты, где требовались скотоводы и охотники, но отнюдь не земледельцы. Какой-нибудь одесский или таганрогский матрос попал на Байкал, на Ангара или на Обь, где он все-таки мог бы найти для себя какое-либо подходящее занятие, а в города Туринск, Тару или Курган, где ему решительно нечего было делать при всем его желании. Степняка-херсонца водворяли в дремучей цelyмской тайге, а какого-нибудь лесного вятича или костромича назначали в район барабинской степи, и т. д. и т. д. В результате и получалось столь обычное в Сибири явление, что ссыльные очень редко оседали в пунктах, куда их водворяли «приказ» и экспедиции*, а в громадном большинстве случаев они пускались в бега, образуя особый своеобразный класс беглых и бродяг, причем, как выразился один официальный документ, в Сибири не бегают только те, кто на это не согласен.

С этим явлением я в деталях ознакомился, конечно, лишь впоследствии, когда я занялся изучением Сибири, но я не мог не остановиться на нем хоть вскользь здесь, говоря об историческом «приказе», ведавшем судьбы «несчастненьких».

Политические ссыльные состояли в непосредственном заведывании шефа жандармов, который или распределял их непосредственно сам, или предоставлял это распределение сибирским генерал-губернаторам. Шеф же жандармов, или, правильнее говоря, III отделение, во главе которого он стоял, имело непрерывное и недреманное наблюдение за пребывающими в Сибири политическими ссыльными. Учет же политических ссыльных, как и учет всех вообще ссыльных, сосредоточивался в том же «приказе», почему нас, по прибытии в Тюмень, прямо туда и доставили.

Получив от начальника нашего конвоя соответствующие сведения и сделав в своих «алфавитах» соответствующие отметки, «приказ» направил нас в тюменскую пересыльную тюрьму. Шипко и Союзов через два-три дня в тех же кандалах отправлены были дальше — на Кару — под конвоем того же жандармского офицера. Вскоре после них отправлены были в Иркутск в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири Лукашевич и Рабинович. Нам же всем остальным пришлось погостить в тюменской тюрьме впредь до распределения по Тобольской губернии.

* Оседало обыкновенно, по официальным данным, не более пятой или шестой части.

Тюменская пересыльная тюрьма принадлежала в то время к самым скверным по своим санитарно-гигиеническим условиям. Находясь в пункте, через который беспрерывно двигались с запада на восток всякие арестантские «партии», тюрьма эта всегда бывала чрезмерно переполнена и вмещала в несколько раз больше народа, чем сколько она могла бы вместить по своему кубическому объему; в тесных камерах на так называемых нарах (кровати составляли здесь чрезвычайно редкую роскошь) приходилось спать почти вповалку. Всегда битком набитые камеры содержались грязно и крайне неопрятно: вентиляция была первобытная, а воздух стоял всегда спертый и душливый. Кормили здесь из рук вон плохо.

Так как мы были «политические», то тюремная администрация считала, уже по раз заведенному порядку, необходимым всячески изолировать нас от «уголовных». В виду же того, что последних было слишком много и они в тесных, переполненных камерах своих почти задыхались от духоты, им разрешалось оставаться на дворе — на прогулках — в течение целого дня, и мы лишались тем самым возможности пользоваться прогулками, так как, в противном случае, по мнению тюремной администрации, она должна была бы уголовных на время наших прогулок держать под замком в камерах, на что мы сами не нашли возможным согласиться, когда нам предоставлено было решить эту проблему. Волей-неволей пришлось мириться с этим положением, довольствоваться прогулками по тесному и мрачному своему коридорчику и... ждать.

Наконец, в один прекрасный день нам объявили, что я и Чернявский назначены на житье в г. Ялуторовск, один из ближайших от Тюмени городов, на расстоянии от нее всего в 80 верстах, что Волховскому назначен местом жительства г. Тюкалинск, путь в который лежал через Ялуторовск, и Осташкину местом водворения назначена Тара.

5

Распростились мы с товарищами и двинулись в путь. Одновременно я, Чернявский и Волховский расстались с тюменской пересыльной тюрьмой и отправились в двух кибитках в сопровождении местных полицейских, — я с Чернявским в одной кибитке и Волховский — в другой.

Вечером того же дня мы были уже в Ялуторовске⁵⁶. Напившись на станции чаю и обменявшись на память ложками (ничего другого при нас не было), мы с Волховским крепко расцеловались и, сердечно обнявшись, расстались, торжественно объявившись взаимно вести частую переписку, хотя нам и объявлено было, что корреспонденция наша вся будет обязательно подвергаться просмотру местной полиции и что мы-де не имеем права вести переписку с кем бы то ни было помимо полиции.

Распроставшись с Волховским, я с Чернявским отправились в сопровождении нашего конвоира для явки в полицейское управление. Здесь мы приняты были под расписку помощником исправника и отпущены были на все четыре стороны с обязательством, по приискании квартиры, сообщить немедленно полиции свой адрес.

Переночевать пришлось, конечно, на почтовой станции, — благо последняя помещалась в просторном доме, отдельном от жилья многосемейного хозяина, состоявшем из нескольких свободных, чистых и высоких комнат, одну из которых почтосодержатель предоставил нам до приискания квартиры.

Хозяин станции — крепкий, коренастый старик лет шестидесяти, прибывший в Сибирь много лет назад как ссыльный, давно уже в Ялуторовске обжившийся и уже превратившийся в «старожила-хозяина» — отнесся к нам довольно радушно. Он угостил нас сытным ужином, в меню которого вошли, конечно, пресловутые сибирские «пельмени» и водка, и за ужином посвятил нас во все далеко не сложные тайны нашего отныне Ялуторовска. С первого же абцуга и прежде всего он с нескрываемой гордостью посвятил нас в свои знакомства с сибирскими губернаторами и генерал-губернаторами, которые-де его «очень любили» и всегда удостаивали его чести по пути в Россию и обратно «закусывать» у него и получать от него «дорожный запас» из двух-трех «мешков» бульона, супа и пельменей. Нужно заметить, что так как передвижение по Сибири (в особенности зимою) производилось в то время исключительно на лошадях*, а большие почтовые станции встречались не часто, то сибиряки и другие проезжающие, отправляясь в путь, считали нужным брать с собою в дорогу значительные запасы провизии: помимо всевозможных печений, сахару, чаю и неизбежной водки или рома, заготавливались целые ведра борща или супа, которые замораживались и, при продолжительных крепких сибирских морозах, могли оставаться целые месяцы в таком виде; большими глыбами, чаще кружками, борщ или суп укладывались в мешки, которые преспокойно упаковывали в тарантасы; также сотнями заготавливались в дорогу пельмени, которые в замороженном же виде (сырые) укладывались также в мешки. Когда проезжий останавливался на какой-нибудь станции для обеда или для ужина, он поручал хозяйке разводить огонь, топором откалывал из мешка кусок замороженного борща или супа, опускал куски эти в горшки, которые ставили в печь, — и через 5—10 минут готово было горячее жидкое, с особенным аппетитом поглощавшееся после езды по морозу. Вытаскивались из мешка также куски смерзшихся пельменей, которые, прокипятившись в горячем бульоне несколько минут, являлись весьма

* Летом между Тюменью и Томском существовало пароходное сообщение.

лакомым блюдом, истреблявшимся также с большим аппетитом при неизменной приправе крепкой сибирской водки.

Старик с особенно приятным чувством вспоминал о восточно-сибирском генерал-губернаторе Корсакове, который «летал» по Сибири «вихрем», загоняя по пути не одну тройку почтовых лошадей и умудряясь будто бы добираться из Иркутска до Петербурга в 10—12 дней, останавливаясь лишь для обеда раз в день, и в том числе обязательно и у него в Ялutorовске...

Впервые, наконец, мы очутились, после многих лет тюремной жизни, «на воле», — в комнате без решеток в окнах, при свободном и достаточном освещении, без присмотра стражи, без надзгляника, одни, сами по себе! Мы смотрели в открытые окна, любовались в теплую летнюю ночь широким небесным сводом, созерцая улицу и окрестные дома, и испытывали какое-то странное чувство при мысли, что вот-де «вдруг» мы «на свободе», что никто не препятствует нам раскрывать свои окна, высовывать свою голову. В этот момент (и, конечно, на самый короткий момент) забыто было все: и прошедшее, и будущее, и даже настоящее. Мы ощущали какое-то полное физическое довольство — довольство самим фактом своего существования.

С наслаждением мы смотрели, как «хозяйка» приготовляла для нас постели на широких объемистых кроватях, покрывая хорошие пружинные матрацы чистыми простынями, высоко взбивая пуховые мягкие подушки в белых свежих наволочках. От этого наш глаз давно отвык!

Я разделся, улегся, с наслаждением растянул на чистой простыне свои усталые члены и после дневного 80-верстного путешествия в тряской кибитке, продолжительной беседы с хозяином, со смаком посвящавшим нас в тайны предстоящей нам «новой» жизни, скоро заснул крепким, сладким, безмятежным сном...

Шел ведь тогда мне только 28-й год!..

6

Выспались мы на славу! Сон наш давно уже не был так крепок и сладок, мы проснулись свежими и бодрыми. Чувствовалось, что как будто какая-то гора с плеч свалилась. Мы поднялись не сразу, а лежа с закрытыми глазами, как-то особенно радостно думали о том, что вот-де мы встанем, сядем за самоварчик, будем в двоём калякать, сколько душе угодно, потом мы сами, одни, выйдем на улицу, на простор, будем ходить по улицам без конвоя, без провожатых, будем как будто на положении свободных людей.

Нас охватило эгоистически-радостное чувство. Мы даже на миг как бы забыли о своем подневольном положении и наслаждались ощущением своего физического бытия. Такого состояния мне не приходилось еще испытывать. Надо полагать, что мы тогда испытывали то самое чувство, которое испытывают люди после продолжительной и тяжелой болезни, когда, выздоровев-

ши, они получают разрешение врача впервые выйти из опостылевшей им комнаты на вольный воздух...

Сладко потягиваясь и перекидываясь отрывочными фразами, мы довольно долго еще провалялись в своих мягких постелях. Наконец, мы вскочили, встряхнулись, умылись холодной свежей водой, оделись и принялись строить планы насчет ближайшего будущего.

Хозяйка принесла большой прекрасно вычищенный самовар, который весь пыхтел и клокотал. Это была чрезвычайно приятная для нас музыка! Ведь около пяти лет мы уже «за самоваром» не сидели.

На столе, на белоснежной скатерти, аппетитно расположена была на нескольких тарелках знаменитая сибирская «прикуска»: плававшие в масле жирнейшие «олады» и жирные мясные пирожки; тут же стоял большой кувшин с прекрасными сливками.

С наслаждением выпили мы по несколько стаканов чая, «прикусив» бессметное количество оладий и пирожков. После чая отправились осматривать свой город и приискивать для себя помещение.

«Осматривать» долго не приходилось, так как весь город Ялutorовск состоял, строго говоря, из одной главной (так сказать, центральной) улицы и двух боковых от нее улиц, по обеим сторонам которых расположены были почти сплошь деревянные постройки с обширными при них дворами, почти в каждом из которых находился садик и огород. Дома эти были весьма непримечательной архитектуры и состояли из нескольких просторных комнат, в которые вели крылечко и сени.

На одном конце широкой центральной улицы виднелось полицейское управление и помещение при нем пожарной команды с его общероссийской «каланчой», а на незначительном от него расстоянии на площади красовался не поражающий особенной чистотой базар и ряд лавочек со всевозможным в каждой бакалейным, галантерейным, мануфактурным и всякого рода иным товаром.

За площадью на другом, противоположном, конце этой центральной улицы обращало на себя внимание самое видное и внушительное белое каменное здание, состоявшее из нескольких корпусов и окруженное со всех сторон высокой каменной оградой. Это был, разумеется, тюремный замок, который во всех расположенных на тракте сибирских городках прежде всего обращал на себя внимание солидностью и прочностью своей постройки *.

* Во время генерал-губернаторства генерал-лейтенанта Густава Христиановича Гасфорда (1851—1861 гг.) воздвигнуты были во всех городах Западной Сибири по одному нормальному и совершенно однородному плану обширные каменные тюрьмы. Все они 3-этажные, крытые железом, прекрасно выштукатурены и окружены высокими каменными стенами.

Тут же невдалеке находилось небольшое довольно мелкое озеро, всегда переполненное такою массою диких уток, что ялуторовцы прямо били их палками и собирали десятками в свою «посудину».

Кроме центральной и двух боковых улиц, составлявших, собственно говоря, весь «город», на окраинах находилось еще несколько улочек и переулочков с жалкими на них маленькими ветхими избушками, в которых ютилась сплошь бездомная сибирская голытьба — почти исключительно уголовно-ссыльная братия.

Наконец, за озером, саженьях в 200—300 от города, находилась небольшая «слободка», состоявшая из 20—30 домишек, при которых находились кузницы, а при некоторых и столярные мастерские. Это была специально кузнечная слободка. Здесь жили исключительно кузнецы (отчасти столяры), занимавшиеся ковкою лошадей, саней, телег и повозок, которые некоторые из них сами же изготовляли не только для города, но и для всей «округи» и даже для Тобольска, так как репутация слободки по этой части была прочно установлена.

Почти все солидные ялуторовские жители имели собственные дома, которые и строились ими исключительно для собственных своих надобностей. В очень немногих наемных помещениях проживали пришедшие чиновники, временами наезжавшие сюда торговцы и ссыльные.

По данным нам хозяином почтовой станции указаниям мы с Чернявским направились в дом одного местного мещанина. Главный корпус нанимал у него уездный казначей, во флигеле же жил сам хозяин, который, как нам говорили, не прочь был сдать часть этого флигеля.

На стук наш вышел к нам человек средних лет, весьма крупных размеров — рослый, коренастый, широкоплечий, весь заплывший жиром и, повидимому, не совсем трезвый. Покалякав с нами немного на крыльце и расспросив нас, «чи» мы будем*, мещанин ввел нас во флигель и показал ту его половину, которую он не прочь был нам сдать. Состояла она из сеней и двух небольших, довольно светлых комнаток с окнами на улицу и во двор.

Мы разговорились с хозяином и предложили ему назначить цену «за все», т. е. за квартиру с самоваром, обедом, прикусой и ужином, даже со стиркой белья. Хозяин немного нерешительным голосом назначил с нас двоих 15 рублей в месяц, т. е. по 7 руб. с полтиной с человека. Мы в России не привыкли к столь низким ценам и без всяких дальнейших разговоров изъявили свое согласие, что, повидимому, даже удивило хозяина. Так как и я и Чернявский могли рассчитывать получать из дому рублей по десяти в месяц, то, стало быть, мы могли считать материальное

* Первый обычный вопрос, с которым тогда обращались в Сибирь ко всякому при первом знакомстве, был: «чи вы будете?» Вопрос этот на первых порах меня довольно шокировал.

свое существование обеспеченным, тем более, что, в крайнем случае, мы имели право на «казенное пособие» в размере шести рублей в месяц, которые тогда полагались «привилегированным ссыльным».

Впоследствии мы поняли, что цена в 15 рублей с двух в Ялуторовске была отнюдь не низкая, а скорее даже высокая: в то время там пуд хорошего мяса стоил 60—80 коп., пуд муки—40—60 коп., дикая утка — 3 коп., фунт масла — 15—20 коп., кувшин молока — 2—3 коп. Дрова были почти без цены, так как они вдоволь добывались в ближайшей роще, и т. д.

Мы ударили по рукам. Мещанин угостил нас «водочкой», «солененькой» закуской и предложил даже свою лошадь для перевозки со станции нашего имущества, что было не лишнее, так как тогда еще в Ялуторовске никаких извозчиков не было.

Мы переехали, сообщили полиции свой «адрес» и зажили «на свободе»...

7

На другой же день наша «свобода» была немного конкретно иллюстрирована.

Еще в крепости у меня разболелись глаза. Боль эта давала себя чувствовать с каждым днем все больше и больше. Местный врач Кудрявцев, к которому я на другой же день по прибытии в Ялуторовск обратился за помощью, посоветовал мне некоторое время воздержаться от чтения и проводить возможно больше времени на берегу реки, протекавшей в 1—1½ верстах от города, созерцая ее гладкую и спокойную поверхность.

Не долго думая, мы с Чернявским на другой же день после переезда на квартиру двинулись на эту речку. Чернявский захватил с собой книжку и читал ее, я же разлегся ничком на берегу и созерцал поверхность реки.

Не прошло и часа времени, как послышался шорох, и мы увидели приближающегося к нам полицейского надзирателя. Сладко улыбаясь, он протянул нам письма: вот-де я узнал, что вы на реке, и принес вам полученную корреспонденцию.

Мы вспыхнули. Мы решительно никому не сказали, куда и зачем мы отправляемся. Ясно, стало быть, что за нами зорко следят и знают каждый наш шаг.

Мы резко заявили надзирателю, что он мог письма наши оставить на квартире или сообщить там, чтобы мы пришли за ними в полицию, а не разыскивать нас, тем более, что мы условились с исправником, что будем по очереди ежедневно приходить за корреспонденцией, что и должно было заменить надзор за нами.

Надзиратель, ухмыляясь, спокойно заявил нам, что на него полицией возложен надзор за нами, и он должен строго исполнять свои обязанности, что мы, в сущности, не имеем права отлучаться за черту строений города, и ему придется доложить исправнику о нашей отлучке.

На этот раз дело, однако, обошлось благополучно. Мы заметили только, что наш хозяин почти не спускал с нас своих глаз; на сделанное нами ему по этому поводу замечание он объяснил, что за нашу отлучку на реку ему «досталось» и что ему приказано, под страхом «каталажки», доносить полиции, куда и когда мы отлучаемся.

Когда мы явились в полицию для объяснений, нам ответили там, что каждому его шкура дорога, что в Ялуторовске-де проживала незадолго до нашего прибытия осужденная по процессу 50-ти Ольга Спиридоновна Любатович; полиция предоставила-де ей полную свободу, а она «злоупотребила доверием» и убежала. И вот теперь из-за нее масса неприятностей, хотя она и оставила на имя проживавшей в Таре сестры своей Веры Спиридоновны письмо, в котором она объясняет, что она не в силах-де больше переносить муки ссылки жизни и решила покончить с собой*. Потому-то волей-неволей за нами приходится учинить строжайший надзор, и с этим мы должны мириться, — полиция отнюдь не намерена отвечать за нас...

Последнее для нас было само собою ясно. Мы «мирились», мирились даже с тем, что не один раз, привлеченные шорохом возле наружных стен наших комнат, мы замечали, как надзиратель, а то и сам исправник, собственной грузной своей персоной осторожными тихими шагами подкравшись к нашим окнам, вперяли свои очи в щели ставней; неудержимый хохот с нашей стороны побуждал их лишь при этом поспешно ретироваться.

Наш хозяин, за условленные семь с полтиной, кормил нас положительно до отвала. К утреннему чаю (обязательно со сливками) подавались две-три тарелки с целыми горами жирных оладий; обед состоял из двух мясных блюд, при чем мяса подавалось столько, что при всем нашем на первых порах волчьем аппетите мы не съедали и половины подаваемого; к вечернему чаю опять полагались сливки и прикуска, а затем обильный мясной ужин. В праздничные и воскресные дни трапеза принимала гомерические размеры.

Пробовал было наш хозяин (вероятно, по совету полиции) сойтись с нами «поближе», но мы систематически отклоняли все попытки его в этом направлении. Как-то раза два или три он настойчиво через перегородку усиленно звал меня к себе, объясняя, что у него на столе штоф и что один им уже выпит, а он-де в этом состоянии только и бывает «умен» и хотел бы с «умными» людьми потолковать, но я предпочел его любезные приглашения отклонять, ссылаясь на нездоровье, что, впрочем, отнюдь не повлияло на обильную его кормежку за наши семь с полтиной...

* Сама полиция письму Ольги Спиридоновны (если таковое и существовало) никакого серьезного значения не придавала и была с первого же момента уверена в ее побеге, но еще долго, ради самооправдания, баграми разыскивала в реке ее труп, неукоснительно донося губернской администрации о своих поисках.

Однако, не о хлебе едином человек жив бывает. Надо было подумать и о какой-нибудь духовной пище. Нам хотелось прежде всего добыть какую-нибудь газету, и нам указали на любознательного «купца» Потемкина, любителя-де политики и чтения. Познакомились мы с ним. Оказалось, что он действительно тронут «духом времени» и выписывает тощий и дешевенький «Сын Отечества» (издававшийся, кажется, в то время Старчевским) и охотно согласился снабжать нас этой газетой, пока мы выпишем свою. Как ни тоща и ни жалка была тогда эта газетка и по объему и по содержанию своему, но мы, однако, с жадностью набросились на предоставленные нам несколько десятков последних номеров: как-никак, а все же при ее помощи можно было узнать о внешнем положении вещей на белом свете.

Этот Потемкин был из уголовных ссыльных. В Сибирь попал он еще юнцом за какие-то «делишки». Зброшенный в Ялуторовск, он прослужил несколько лет «мальчиком» в лавке старожилы-купца Родионова, приглянувшись племяннице последнего — сироте, тоже служившей в лавке, женился на ней и, сколотив обычным путем маленький капитал, открыл собственную торговлю, которая, благодаря его словоохотливости и балагурству, пристрастию его к «политике» и умению показывать товар лицом, шла у него довольно бойко, так что он понемногу становился «купцом», начал играть роль в этом глухом городишке и уже предавался заманчивой мечте попасть в «голызы». Мешало осуществлению этой мечты одно лишь маленькое обстоятельство: хотя он передвигался уже свободно по Сибири, ездил на ярмарки в Ирбит, побывал даже раза два на Нижегородской ярмарке, но «права» ему еще не были возвращены, а без «прав» никак нельзя было сделаться «головой».

Когда мы прибыли в Ялуторовск, дела Потемкина в этом направлении уже «налаживались»: проживавший раньше нас в административной ссылке в Ялуторовске известный русский издатель Павленков состоял с ним, по его уверению, в хороших отношениях и, возвращаясь в Россию, пообещал ему похлопотать о нем в Петербурге. Действительно, Потемкину скоро возвращены были «права», и он уже имел все шансы на то, чтобы очутиться в роли ялуторовского городского головы, каковым лет через пять-шесть и стал...

Итак, мы свели знакомство с Потемкиным и еще с некоторыми местными «купцами», посвящавшими нас во все тайны местной жизни, что дало мне возможность принятая, с большими предосторожностями, за корреспонденции в столичные газеты. Через некоторое время мы стали получать газеты и журналы, и дни наши стали протекать уже не так скучно и однообразно.

В скором времени в Ялуторовск привезли Сергея Александровича Жбунева, прекраснейшего товарища и идеалиста до мозга костей. Мы решили поселиться втроем, и так как у Черняв-

ского, как бывшего студента Технологического института, явилась мысль открыть токарно-столярную мастерскую, то мы считали целесообразным нанять целый дом, что должно было поднять и престиж наш в глазах местного населения.

Поиски наши увенчались успехом. Мы нашли свободный громадный дом (правда, далеко не новый), состоявший из шести обширных комнат с разными чуланчиками и кладовками; при доме этом был обширнейший двор, значительная часть которого (площадью, если не ошибаюсь, в 1.200—1.500 кв. саж.) занята была старым и довольно запущенным садом, а также обширным огородом. Кроме нашего дома, во дворе находился еще флигелек, в котором мы и решили устроить мастерскую, а за оградой возле бани (в Ялуторовске, как и вообще в сибирских городах, при каждом доме имелась тогда своя баня) стояла просторная изба, которую занимал старик Осип, заведывавший этим домом, владелец которого проживал, кажется, в Тобольске, куда он переехал, получив там какую-то «службу».

За весь этот дом с обширными при нем службами (сараем, копышней, банею, сеновалом, прачечной) Осип запросил с нас... пять рублей в месяц! Цена, конечно, была вполне для нас подходящая, и мы здесь устроились уже более прочно, благо скоро в Ялуторовске же водворили осужденную по делу Ковальского Александру Владимировну Афанасьеву (вышедшую здесь впоследствии замуж за Чернявского).

Чтобы не заводить на первых порах собственного хозяйства, мы приняли предложение Осипа: он взялся кормить нас и поить, давать чай, обед, ужин, стирать наше белье и пр., получая «за все про все» по шести рублей с человека в месяц.

Этот Осип представлял собою преоригинальный и любопытнейший тип. В Ялуторовске он жил уже лет двадцать или больше. Попал он сюда, как бывший крепостной, по воле своего помещика за какую-то историю, про которую Осип никому не любил рассказывать. Осевши в Ялуторовске, Осип, имея несколько десятков рублей, вздумал пустить их в выгодный оборот и занялся покупкой и продажей овса ямщикам ближайших станций, в особенности «романовским». «Начал я,— рассказывал мне Осип, когда мы с ним раз парились в бане,— с маленького, взмолился Николаю угоднику: помоги мне, св. Николай, заработать на три рубля два рубля, поставлю я тебе тогда свечку,— и что же ты думаешь,— ведь помог!» Тогда Осип расширил операции, опять пообещав Николаю угоднику «большую свечку», если он поможет ему заработать рубль на рубль.— «И что же ты думаешь? Ведь помог же!»—с пафосом восклицал Осип. И вот, ставя от времени до времени Николаю угоднику свечки, Осип потихоньку да помаленьку увеличивал свое благосостояние на счет «романовских» ямщиков, продавая им овес за двойные и тройные цены, а тут, «бог дал, познакомился» он с «добрым человеком», от которого он просветился насчет существования векселя и его

значения, и стал он отпускать уже более уверенно овес «под вексель», и дела его пошли уже совсем хорошо!

Когда мы познакомились с Осипом и поселились в доме, которым он заведывал, у него, повидимому, был уже довольно порядочный капиталец (хотя он это и отрицал); торговля его тогда уже не особенно интересовала,— он собирался женить сына, учительствовавшего в одной из сельских школ округа, а сам—еще крепкий и бодрый старик, невзирая на довольно преклонный возраст (полагаю, ему перевалило тогда много за шестьдесят лет)—наслаждался сожительством с молодой бабой, муж которой, отставной солдат, вместе с нею же проживал в избе Осипа, занимаясь починкою сапог...

Одно лишь очень огорчало Осипа, почему он неграмотный. «Кабы я, братец ты мой, знал грамоту, каких бы я делов понаделал»,—говаривал он мне неоднократно. И из некоторых его намеков я понял, что у него явились виды на меня и на мою «грамоту», чтобы в компании со мною раскинуть подальше свои сети и приняться за более широкие «дела».

8

Вскоре после переезда нашего на новоселье произошло первое серьезное столкновение между нами и исправником.

В 50—60 саженьях от крайних строений города, но, безусловно, в черте города, почти vis-à-vis «красы» Ялуторовска—далеко видневшегося тюремного замка, начиналась прекрасная роща, тянувшаяся на довольно значительное расстояние вдоль тракта. Лишенные в течение почти пяти лет свежего воздуха, мы, естественно, с наслаждением пользовались этой рощей для прогулок и проводили в ней летние вечера, любуясь прекрасной природой и восхищаясь артистическим пением соловьев.

Казалось бы, что в таком невинном времяпрепровождении ни с какой логической точки зрения нельзя было усмотреть что-либо предосудительное. Но не такого мнения был ялуторовский исправник Розанов, с особенной гордостью подчеркивавший при всяком удобном случае, что он во время оно состоял в течение двух лет студентом или вольнослушателем Казанского университета.

Как-то раз вечером на рысаке подъехал к роще исправник и тучной фигурой своей, в сопровождении стражника, направился навстречу к нам. Сухо поздоровавшись с нами, он заявил нам, что прогулки наши в роще он находит «неудобными», в особенности по вечерам, так как роща-де находится за чертой городских строений, а нам, мол, за черту эту выходить не полагается. Мы возразили ему, что та часть рощи, в которой мы гуляем, находится в черте города, что «местом жительства» назначен нам «город Ялуторовск», а не «черта» городских строений, что роща здесь единственное место для прогулки и лишение нас этой возможности подышать в ней свежим возду-

хом является с его стороны совершенно бесцельной и ничем не оправдываемой жестокостью.

Тогда Розанов после непродолжительных пререканий с нами, возвысив голос, сурово начальническим тоном заявил, что еще раз повторяет, что он считает наши прогулки в роще «неудобными» и прогулки эти категорически нам запрещает. На это заявление я, в свою очередь, возразил, что для нас отнюдь не важно, что он считает «удобным» или «неудобным»; для него, может быть, всего удобнее было бы, чтобы мы водворены были за тюремной оградой и совсем в город не показывались бы, но это было бы для нас не совсем удобно, и что мы вообще считаем для себя обязательными лишь законные распоряжения полиции и подчиняться будем лишь таким ее распоряжениям. Тогда Розанов уже более грозным голосом заявил, что он, как начальник полиции, не позволяет нам гулять в роще, что он предупреждает, что, буде полиция будет заставлять кого-либо из нас в роще, она без всяких разговоров будет нас арестовывать. Тогда и мы категорически заявили, что распоряжению этому мы подчиняться не будем, пока он, исправник, не докажет нам, что оно не плод одного его усмотрения, а основано на каком-либо законе. Сердито отвернувшись от нас и направляясь обратно к своим «бегункам», Розанов на ходу кинул нам: «Приходите завтра утром в полицейское управление, и я покажу вам те законы, на которых основано мое распоряжение».

Как во всяком захолустном городишке, и в Ялutorовске малейший факт, мало-мальски выходящий из ряда повседневной обыденности, немедленно становился достоянием общей молвы. О столкновении между «политическими» и исправником здесь все говорили уже в тот же вечер, и так как еще со времен декабристов, из которых некоторые проживали и в Ялutorовске, политические ссыльные пользовались расположением и симпатиями местного населения, то ялutorовцы чрезвычайно заинтересовались этим инцидентом, в особенности заинтригована им была чиновная мелкота, относившаяся крайне недружелюбно к исправнику за его заносчивое и высокомерное обращение.

Когда мы на другой день явились в полицейское управление, чиновники встретили нас особенно почтительно; на всех лицах написано было нетерпеливое ожидание чего-то для них редкого и пикантного.

Исправник пригласил нас в «присутствие» и с обычной уже в отношении к нам любезностью поздоровался с нами и предложил присесть. Торжественно потребовал он у секретаря соответствующих томов свода законов и глубокомысленно принялся рыться в них. Поиски его оказались, однако, крайне неудачными, и он не мог найти буквально ни одной подходящей статьи закона. Начал он было напирать на общее положение, что все обязаны подчиняться законным распоряжениям полиции, но мы заявили ему, что и мы этого положения отнюдь не отрицаем и его «за-

конным» распоряжениям беспрекословно будем подчиняться. Но дело-то в том и состоит, что в данном случае распоряжение его незаконно. Чтобы как-нибудь и хоть внешне соблюсти свой престиж, Розанов торжественно отчеркнул и прочел, что на обязанность полиции возлагается блюсти за тем, чтобы на улицах не нарушали тишины и порядка. Заметив при этом выражение глубокого изумления не только на наших лицах, но и на лицах его помощника и секретаря, Розанов присовокупил:

— У нас, видите ли, городок мирный, тихий и спокойный, ложатся здесь все рано спать и очень рано встают, вы же поздно гуляете и поздно домой возвращаетесь, при вашем возвращении собаки лай поднимают, а этим самым нарушаются желательные тишина и порядок.

Мы не могли удержаться от гомерического хохота.

— Позвольте,—возразил я,—в таком случае вам следует обратить внимание на собак, а не на нас: не мы же, стало быть, нарушаем тишину, а они. Ведь если исходить из вашего рассуждения, то не следует и днем показываться на улице, так как чересчур многочисленные в городе собаки неизбежно поднимают при этом яростный лай, и мы тут уже решительно ничего поделать не можем!

Заметив, в какое комическое положение он попал, и видя, как из соседних комнат все чиновники и ожидающая по делам публичка столпились у дверей и с сочувственной улыбкой прислушиваются к нашим объяснениям, багрово-красный Розанов, весь пыхтя и отдуваясь, опять напустил на себя суровую важность и, поднявшись со своего кресла, внушительно и торжественно заявил нам:

— В присутствии полицейского управления и перед зеркалом я, как начальник полиции, заявляю вам, что я запрещаю вам гулять в роще. Прошу вас помнить, что вы не в России, а в Сибири; тут полиция — закон, я могу не только вам, но и всякому даже обывателю запретить выходить из дома позже 9 часов.

Поднялись, в свою очередь, и мы, и я от имени товарищей столь же торжественно и отчеканивая каждое слово ответил:

— С таким широким вашим правом мы можем только поздравить сибирского обывателя, но мы право это по отношению к нам решительно отрицаем и, с своей стороны, в присутствии полицейского управления и перед тем же зеркалом заявляем, что мы распоряжению вашему относительно прогулок в роще, как незаконному, подчиняться не намерены и не будем.

С этими словами, отвесив ему и другим присутствующим поклон, мы удалились, сопровождаемые почтительными поклонами чиновников и злорадным хихиканьем публики.

В тот же день инцидент этот стал достоянием всего города и передавался из уст в уста в значительно еще, разумеется, прикрашенном виде. «Престижу» полиции и исправника нанесен

был чувствительный удар, наша же популярность сразу значительно поднялась. Ялуторовцы нами очень заинтересовались и стали всячески добиваться знакомства с нами.

В конце-концов погорячившийся Розанов понял весь комизм своего положения и всю несуразность предъявленного нам требования и махнул на нас рукой. Прогулки наши в роще продолжались беспрепятственно, и еще много летних вечеров мы внимали концерту ялуторовских соловьев...

9

Если Ялуторовск был совершенно ничтожный «город» по своим размерам, то еще более ничтожен был он по количеству своего населения. Насколько я помню, в нем, по статистическим данным, числилось около двух с половиной тысяч душ населения обоого пола и всех возрастов; а так как это население состояло на три четверти из уголовных ссыльных, из коих 800—1.000 душ всегда находилась в «бегах», то можно безошибочно определить оседлое население в то время в 1.000—1.500 душ. Значительная часть состояла из служащих в разных учреждениях: полиции, городской думе, мещанской управе, акцизном ведомстве, суде, казначействе. Остальные занимались торговлей и ремеслами. На весь городок имелся один портной (да и тот частенько оставался без работы), два сапожника, одна столярная мастерская и около 20 кузниц в слободке.

Никакого торгово-промышленного значения Ялуторовск сам по себе не имел. Основанный в 1659 году на левом нагорном берегу реки Тобола (в пяти верстах от реки Исети), он представлял из себя на первых порах только «острожок», а в «город» его превратили лишь в 1782 году, и он играл лишь роль административного центра для своего обширного и выдающегося по торгово-промышленному значению округа с обширной площадью в 18.353 кв. верст, с населением около 160 тысяч душ (по 10-й народной переписи), с сильно развитым хлебопашеством, богатой промышленностью, многочисленными сельскими ярмарками, массой салотопенных и кожевенных заводов, множеством ветряных и водяных мельниц.

Ялуторовские торговцы и ремесленники существовали не столько городом, сколько «округой», изобиловавшей значительными селами и деревнями, по размерам и населению значительно превышавшими самый Ялуторовск. В базарные дни (кажется, по субботам) наезжала сюда из ближайших селений с разными продуктами масса крестьян, которые большую часть выручки своей в Ялуторовске же и расходовали на бакалею, галантерею и мануфактуру, являясь главными их потребителями.

При всей мизерности города, в нем находились приходское и уездное училища и... женская прогимназия. Да, п р о г и м н а з и я! Это один из тех фактов, которые на первых порах больше всего нас поражали. В самом ничтожном сибирском уездном

городишке находилась женская прогимназия, и девочек обучали здесь не менее охотно, чем мальчиков.

Это было прекрасное наследие от декабристов, невольное пребывание которых в Сибири внесло очень много в дело культуры, развития и просвещения этой отдаленной окраины, и недаром благодарная память об этих предтечах наших свежо еще сохранилась и при нас в местном населении. С чувством благоговения и с умилением старики вспоминали об этих благородных людях и указывали на те дома (и даже следы домов), в которых те жили и коротали свой век.

В Ялуторовске из декабристов жили: Пущин, Тизенгаузен, Якушкин, Янтальцев. Последний здесь сошел с ума и закончил в этом захолустьи свои печальные дни. Самая теплая память сохранилась здесь о Пущине и Якушкине. Как Юшневский и Поджио в Иркутске и Д. Завалишин в Чите, так и Якушкин в Ялуторовске занимался ревностно обучением ребятишек грамоте. Он устроил здесь две школы — одну для мальчиков в 1842 г. и другую для девочек в 1846 г. Впервые он познакомил Сибирь с ланкастерской системой, по которой он обучал детей целых 14 лет, популяризируя эту систему и в других районах. Исследователь Сибири Максимов констатирует, что за эти 14 лет в основанной Якушкиным школе перебивало 1.600 учащихся и что, несмотря на все внешние препятствия со стороны администрации, ему удалось сильно поднять в округе уровень образования, — даже в кузнечной слободке, кажется мне, все были грамотны. Якушкин не ограничивался, однако, одним обучением в своих школах; он устроил еще в Ялуторовске гальванический аппарат и успешно занимался здесь гальванопластикой. Он составил здесь также оригинальный учебник географии и интересный гербарий ялуторовской флоры и т. д.

Пробуждению в окрестном населении интереса к науке немало содействовал и Пущин, устроивший в Ялуторовске чуть ли не первую в Сибири метеорологическую станцию, которая в свое время породила целый ряд трагикомических эпизодов, с большим юмором изображенных в попадавшейся мне в Сибири книжечке (заглавия ее уже не припомню, — кажется, «Из жизни странных людей»), в которой выведены все декабристы под довольно прозрачными псевдонимами, а Ялуторовск фигурирует под названием «Полуторовск». Эта метеорологическая станция причинила Пущину массу тяжелых огорчений и послужила в руках злобной администрации орудием к возбуждению против декабристов суеверной части крестьянства...

Декабристы же в Ялуторовске при уездном училище положили начало довольно приличной библиотеке, которая после них, увы! пришла в большой упадок, была расхищена, — и в ней к нашему приезду сохранились уже очень немногие ценные книги, да и теми пользовался лишь учебный персонал училища и более влиятельные чиновники.

Существовал еще при нас в этом городе местный дамский кружок «Красного креста», имевший собственное свое помещение, отчасти приспособленное и для театральных представлений, так как почти все члены кружка в то же время были и «любителями» и от времени до времени угощали население «любительскими спектаклями», ничем по характеру своему не отличавшимися от подобных же любительских зрелищ в любой российской глуши.

Местная «интеллигенция» на первых порах нас, повидимому, чуждалась и не без опаски встречалась с нами, так как происшедший незадолго до нашего прибытия побег из Ялutorовска Ольги Спиридоновны Любатович причинил кое-кому из ее среды большие неприятности (их привлекали к дознанию в качестве свидетелей и довольно сурово допрашивали). Особенно косо стала она смотреть на нас, когда в газетах стали появляться корреспонденции мои из Ялutorовска. Хотя последние являлись, конечно, без подписи, но ялutorовцы не без основания решили, что они исходят от кого-либо из «политических», и так как в них выносился «сор из избы», то задетые «интеллигенты» предпочли держаться от нас подальше («как бы чего не вышло!»).

Из местных «кушцов» охотно поддерживал с нами знакомство Потемкин, так как, с одной стороны, мы являлись для него интересными клиентами, а с другой стороны, он очень дорожил своей перепиской с Павленковым и этим самым считал себя как бы прикосновенным к «политическим», да и с кем же вольготнее было покалякать о «политике», как не с ними?

Очень льнул к нам еще некий «доверенный», управлявший «на отчете» лавкой одного тюменского купца. Это был прекурьезный тип, постоянно напоминавший мне того российского портного на которого натолкнулся в Париже Глеб Успенский. В голове этого субъекта царил вечно какой-то невообразимый сумбур. В нем вечно боролись необыкновенно заячья трусливость и непреодолимая страсть к новому, еще им никогда не испытанному. Начавшиеся тогда в России террористические акты совсем сбили его с толка... Бывало, когда совсем стемнеет, «доверенный» этот, пугливо озираясь по сторонам, таинственно тихо подойдет к нашему дому и чуть-чуть стукнет в ставню. Мы открываем окно, и наш «доверенный» попотом справляется: одни ли мы дома, и удобно ли зайти к нам «потолковать». Убедившись, что мы одни, он, крадучись, забирается к нам и замогильным шопотом просит объяснить ему разные разности, которые ему пришлось прочесть в газетах. Неоднократно бывало, он вдруг прерывает наш разговор и таинственно шепчет: «А, знаете, я думаю купить левольвер и поехать в Петербург; да, да, надо купить левольвер». Галиматья его стала нас скоро сильно

тяготить. К нашему великому удовольствию, доверитель его скоро перевел его в Тюмень...

С местными чиновниками мы предпочитали не знакомиться, так как все их времяпрепровождение сводилось к беспробудному пьянству и азартной картежной игре, которая, в свою очередь, связана была с почти поголовным взяточничеством. По этой части подвизались особенно успешно исправник и его присные, а также судейские «заседатели». Последние получали грошевое жалованье (кажется, 18 или 20 рублей в месяц) и, тем не менее, умудрялись при этом проигрывать в карты в один вечер по несколько сот рублей. Припоминается мне в особенности один из этих «заседателей», еще сравнительно очень молодой и не глупый человек, Ш[алабано]в, окончивший тобольскую семинарию. Частенько приходилось мне встречаться с ним. Почти всегда он бывал навеселе, в расстегнутом сюртуке с сильно оттопыренным боковым карманом. Весело подмигивая, остановит он бывало меня, поздороваается, хлопнет себя по карману, вытаскивает оттуда толстую пачку ассигнаций и, ухмыляясь, говорит мне: «Не думайте, С. Л., что здесь одни только взятки, — нет, тут есть кое-что и заработанное, я ведь и жалованье получаю. Ха-ха-ха!»...

Одним из главных источников дохода как для чинов полиции, так и для судейских «заседателей» * был местный крез-старообрядец К... в. Это был необыкновенно толстый, жиром заплывший человек, за которым постоянно водилась масса самых каверзных уголовных дел (преимущественно по растлению и изнасилованию). Он купно с братьями владел в округе обширным кожевенным, салотопенным и конским заводами, слыл за большого богача и для полиции и суда являлся чрезвычайно жирной, неисчерпаемой статьей дохода.

При нас «судьей» (председателем «окружного суда» старого типа) назначен был молодой человек прямо со студенческой скамьи Ч[е]пе'га: окончивая Киевский университет по юридическому факультету, он как-то познакомился с одним из приближенных к тогдашнему западно-сибирскому генерал-губернатору Казнакову, который от имени последнего и пригласил его на службу в Сибирь, пообещав ему быструю и хорошую карьеру. Мы уже немного пообжились в Ялutorовске, когда туда приехал Ч[е]пе'га. Он сделал нам визит, объясняя его желанием иметь возможность от времени до времени покалякать с интеллигентными людьми в этой захолустной глуши. Мы отплатили ему визит, и между нами завязалось знакомство.

Этот Ч[е]пе'га на первых же порах поразил нас своей младенческой наивностью. Как-то в разговоре с нами он предложил

* Кроме судейских заседателей, в Сибири были полицейские «заседатели», соответствовавшие нашим станovým приставам. В руках «заседателей», как и полиции вообще, сосредоточивались тогда и функции судебных следователей.

устроить для нас занятия у К...ва. Когда мы высказали свои сомнения относительно возможности пользоваться услугами подобного субъекта, Ч[е]га крайне изумился, так как он считал К...ва весьма приличным и обязательным человеком. В подтверждение основательности своего мнения о нем он нам сообщил, что как только он, Ч[е]га, приехал в Ялutorовск, К...в немедленно явился к нему с визитом и, в виду необходимости в Сибири теплой одежды, уступил ему «лишнюю» хорошую соболью шубу за совершенный бесценок, а теперь вот прислал ему из своего завода пару чудных рысаков, назначив за нее ничтожную цену — около ста рублей. Мы, в свою очередь, высказали Ч[е]ге свое удивлению по поводу такой его наивности, рассказали ему все, что знали о К...ве, и посоветовали ему разыскать в том самом суде, которым он заведует, скрываемые, повидимому, от него «заседателями» и секретарем дела. Наше сообщение сильно смутило Ч[е]гу, так как он понял, в какую скверную историю он чуть было не влопался, очевидно, по проискам исправника и «заседателей», находивших нужным этим путем обезвредить Ч[е]гу в процессе доезния К...ва. Ч[е]га возвратил последнему его пару рысаков и стал очень сдержан в своих отношениях к нему.

Наивность Ч[е]ги проявлялась, впрочем, и в других менее щекотливых видах. Посещая нас на первых порах довольно часто, он, как украинец, очень любил угощать нас украинскими песнями. Жебунев, тоже украинец и тоже большой любитель украинских песен, пытался от времени до времени затягивать некоторые любимые им «вольнодумные» песни. Ч[е]га в этих случаях спокойно останавливал его замечанием, что эти песни запрещенные, и затягивал другую, «разрешенную» песню. И он, очевидно, твердо при этом был уверен, что раз он, бывая у нас, не будет петь с нами «революционных» песен, не будет принимать участия ни в каких «революционных» делах, он всегда может рассчитывать на неуязвимость в глазах начальства!..

11

Чернявский принял меры к осуществлению своего проекта об устройстве в Ялutorовске собственной столярно-токарной мастерской. Частью на свои средства, полученные им от сестры, частью на присланные Жебуневу деньги заказаны были станки, приобретены были столярные инструменты и лес, и, наконец, в кузнечной слободке нанят был для обучения нас и руководства вообще работами рабочий Иван, пользовавшийся широкой известностью как хороший столяр и как... большой пьяница! Чернявский и Жебунев были убеждены, что раз Ивана освободят от кабалы, в какой его держали, как «варнака»-поселенца, и создадут ему сносную обстановку, он будет вести себя прилично и не будет пьянствовать.

Иван, конечно, с восторгом согласился за 15 рублей в месяц (в Ялutorовске это была тогда крупная плата!) перейти в нашу мастерскую и, обучая нас мастерству, работать в то же время вместе с нами для рынка. Надежда Чернявского и Жебунова, конечно, не оправдалась. Иван попрежнему продолжал пьянствовать, часто совсем не являясь на работу, или являясь в полупьяном состоянии. На все наши урезонивания он твердо держался одного: «здесь, И. Н., иначе никак невозможно. Уж тут климат такой. Это же, ведь, С. Л., как ни на есть самая Восточная Сибирь!»... И хотя мы его всячески убеждали, что Ялutorовск почти вовсе не Сибирь, и уже — во всяком случае — не Восточная, и что «климат» здешний отнюдь не требует обязательно пьянства, Иван оставался тверд в своих географических познаниях, и в тех выводах, которые он из них делал, и продолжал пить горькую, резонируя, что всегда-де это так было здесь с того самого времени, как «Ермак Тимофеевич был здесь генерал-губернатором!» (sic!!).

Тем не менее Жебунев и Чернявский делали заметные успехи в столярном искусстве и, при помощи Ивана, стали скоро работать по заказам, которые «интеллигенция» нам охотно доставляла. Я же оказался никуда не годным по этой части. Помимо крайне слабой мускулатуры, у меня и глаз был очень неправильным, — я стругал и пилил вкривь и вкось, так что ничего путного у меня не выходило. Первый (и последний) плод моей работы — стул — оказался столь диковинным, что ялutorовцы ходили смотреть на него, как на что-то совершенно необычайное. На зрелище явился даже и сам исправник Розанов, немного наладивший свои отношения к нам, в особенности после открытия мастерской, которое, по его мнению, знаменовало с нашей стороны серьезное намерение осесть прочно на месте, так что ему уже можно было не опасаться «побега» и сопряженных с ним «неприятностей». Чтобы доставить мне удовольствие, Розанов грузно опустился на мой замечательный стул. Последний не выдержал, конечно, тучного тела начальника полиции и вдребезги разбился, повергнув его наземь.

На этом опыте активное участие мое в мастерской прекратилось. Мне предоставили читать запоем газеты и журналы, которые и родные, и знакомые присылали нам в большом количестве, и возложили на меня весьма охотно принятую мною на себя обязанность рассылать эти газеты и журналы по разным углам Сибири, а также вести систематическую переписку с разбросанными по Сибири товарищами и сообщать им все «новости», какие получались нами с разных мест. Я по себе знал, какое громадное значение в нашем положении имели такие «новости», и старался быть по этой части возможно более аккуратным и щедрым, чем приводил в ужас исправника и его помощника, так как в то время вся переписка поднадзорных политических обязательно доставлялась на их просмотр, и им, разумеется, отнюдь не доставляло удоволь-

ствия то, что им приходилось ежедневно перечитывать три-четыре моих письма в два-три и более листов каждое, не считая писем, получавшихся для нас. Посылать же из такой глуши, как Ялutorовск, помимо полиции, письма, в особенности письма ссыльных же, по Сибири разбросанным, было более чем рискованно, в особенности на первых порах, пока мы не успели еще записаться разными обывательскими адресами для таких случаев.

12

Вскоре после открытия нашей мастерской колония наша увеличилась еще четвертым членом — Александрой Владимировной Афанасьевой.

В определенные дни по тракту из Тюмени прибывали партии ссыльных, направлявшиеся в разные пункты Сибири через Ялutorовск, являвшийся временной для них стоянкой. Мы не пропускали встречи «партий», так как знали, что после целого ряда политических процессов в России накопилось не мало политических партий, подлежащих отправке в Сибирь. И вот однажды мы встретили небольшую партию, в состав которой входили некоторые из осужденных в Одессе по делу Ковальского (по вооруженному сопротивлению) и между ними две женщины, Виттен и Афанасьева, из коих первая обращала на себя внимание высоким ростом и крупной фигурой, а последняя — своей крайней худобой и совершенно истощенной, болезненной фигурой. Виттен с товарищами скоро двинулась дальше, Афанасьева же схватила тиф, почти всегда свирепствовавший в сибирских пересыльных тюрьмах, и оставлена была в ялutorовской тюрьме.

Мы, разумеется, всячески старались быть ей полезными, и когда мы узнали от врача, что положение ее стало почти безнадежным и что, при условиях тюремной обстановки, смертный исход для нее неминуем, мы обратились к исправнику с настоятельным ходатайством о выдаче ее нам, под наше поручительство, до выздоровления. Исправник по телеграфу поддерживал наше ходатайство перед тобольским губернатором, который ходатайство наше уважил. Мы перевезли Афанасьеву в свой дом, поместили ее в лучшей комнате и обставили ее всеми удобствами, какие только возможны были в Ялutorовске. Местный врач Кудрявцев отнесся к больной чрезвычайно гуманно, посещал ее по нескольку раз в день, категорически отказываясь от всякого гонорара за лечение. Мы устроили строгое дежурство, и своим образцовым уходом, приводившим в удивление и умиление Кудрявцева, помогли-таки Афанасьевой в конце-концов выздороветь и встать на ноги. В это время Ялutorовск посетил губернатор Лысогорский и разрешил Афанасьевой, по ее просьбе, остаться совсем на жительство в Ялutorовске.

Оправившись окончательно от болезни, Афанасьева в скором

времени вышла замуж за Чернявского *, и дом наш стал тогда совсем на семейную ногу, так как Афанасьева-Чернявская оказалась образцовой хозяйкой и прекраснейшим товарищем. Она была крайне щекотлива и щепетильна и никак не могла и не хотела мириться с тем, что она будет жить на средства других. По ее настоянию мы согласились на некоторую перемену в нашем обиходе. Она приняла на себя заведывание всем хозяйством, а от услуг Осипа мы отказались. А. В. сама покупала провизию, сама стряпала обед и смотрела за всем домом. Стряпухой она оказалась весьма умелой и искусной, так что наш стол не только обходился значительно дешевле прежнего, но еще много выиграл в разнообразии и вкусе.

С появлением А. В. жизнь наша стала как-то полнее. Вставали мы очень рано. Напившись чаю, Жебунев и Чернявский отправлялись в мастерскую и принимались там за свою работу, я отправлялся в полицейское управление сдавать и получать письма, а затем, просмотрев газеты, садился за корреспонденцию, а Чернявская возилась на кухне. В полдень мы обедали и немного отдыхали. До вечера затем мы опять находились за работой. После вечернего чая мы отправлялись в рощу на прогулку, а часов в десять ложились спать.

Мастерская наша помогла нам скоро сойтись с кузнечной слободкой. Жебунев, по присущей ему способности быстро сходиться с «народом», завязал там очень скоро весьма близкие отношения, принявшись, по обыкновению, за обучение молодежи и снабжая грамотных дешевыми народными книжками, которые нам присылали из России. Кузнецы частенько посещали нас и распивали у нас чай, калякая о разных разностях. По воскресным и праздничным дням и мы ходили к ним. Там мы бывали всегда вполне желанными гостями. Одно лишь немного тяготило нас в слободке: считалось как бы обязательным, раз мы уже являлись туда в праздничный день, перебивать в гостях у всех по-очереди; если к кому-либо не зайдешь, то это принималось за обиду, а, между тем, явившись в гости, никак нельзя было, по сибирскому обычаю, отказываться от угощения, — у каждого приходилось выпить хоть по одной рюмке наливки, да чем-нибудь «прикусить», а так как из двадцати домов слободки мы близко знакомы были, по крайней мере, с десятью, то эти праздничные посещения оканчивались обыкновенно для нас довольно веселым настроением. Большею частью тут же в слободке, в более просторном дворе, устраивались разные игры и хороводы, в кото-

* Когда в церкви собрались для венчания, священник Николай вдруг неожиданно предложил им исповедаться, сознаться в своих государственных преступлениях и покаяться в таковых, грозя в противном случае донести губернатору. Чернявские, во избежание скандала, пробормотали несколько слов, и «духовный отец» на этом помирился!..

рых обязательно приходилось участвовать и нам, в особенности Жебуневу, ставшему любимцем всех слободских парней и девушек.

Мирное житье наше в Ялutorовске нарушалось одним лишь очень тягостным для нас обстоятельством, о котором (как это ни тяжело), я не считаю себя в праве умолчать.

Проживал в Ялutorовске прибывший туда раньше нас «политический» Павлов, которого мы, с первой же встречи с ним, не признали «своим». Это был очень тупой и ограниченный малый, — одна из тех несчастных жертв, без которых не обходится ни одно более или менее широкое народное движение, в которое, наряду с здоровыми элементами, неизбежно втягиваются и недоброкачественные элементы, — по пословице: «где лес рубят, щепки летят!»

Во время оно Павлов был рабочим на какой-то ткацкой фабрике в Петербурге. Когда «народническая» пропаганда разлилась в среде рабочих, она стихийно задела и Павлова, который очень скоро был арестован, попал под суд, был приговорен к ссылке на житье в Тобольскую губернию и очутился вместе с Ольгой Спиридоновной Любатович в Ялutorовске, где мы его и застали.

На первых порах Павлов к нам и не являлся. Мы знали, что это крайне тяжелый и неприятный субъект, и тоже всячески избегали встречи с ним. Но когда мы стали обживать в Ялutorовске, Павлов вдруг в один прекрасный день к нам явился и затем зачастил свои посещения. Видя в нем несчастную жертву нашего же движения, мы старались помогать ему, чем только могли. Но претензии Павлова росли с каждым днем. Он стал требовать от нас определенного ежемесячного пособия, которое мы де получаем на его долю от какого-то «революционного комитета» и т. д. От всякой работы он отлынивал, считая ее ниже себя, третируя при этом демонстративно всех местных рабочих, как «дураков», неспособных даже «понимать» его, хотя сам он был довольно невежествен, и все его «развитие» зиждилось на десятке-другом ходко циркулировавших в то время между рабочими брошюрок.

Наконец, нам стало невтерпёж, и мы заявили Павлову, что мы категорически отказываемся впредь помогать ему чем бы то ни было (он получал казенное пособие) и согласны лишь на одно: мы будем платить за его содержание и поместим его к лучшему мастеру в слободке, чтобы тот обучал его кузнечному и столярному ремеслам. Павлов ультимативное предложение наше принял, поселился у Артамона и проработал у него несколько месяцев. Но в один прекрасный день он вдруг опять явился к нам и заявил, что он бросил мастерскую, так как Артамон стал-де кормить его постной пищей (это было в пост), а он, Павлов, не такой «хам», как они, и на такую пищу не согласен. Все наши ре-

зоны остались гласом вопиющего в пустыне. Мало того, Павлов при этом случае не преминул опять возобновить (и в самой настойчивой форме) свое нелепое требование о ежемесячном «жалованье», посылаемом нам для него из «комитета».

Возмущенные его нахальством по отношению к Артамону и его рабочим и понимая, что всякая дальнейшая уступка с нашей стороны поведет лишь к окончательной гибели Павлова, мы категорически отказали ему в его домогательствах. Тогда он, из злобного желания досадить нам и учинить нам «демонстрацию», разыскал арестантский халат (с «бубновым тузом»), в котором он прибыл в Ялutorовск, и в этом халате дефилировал ежедневно по несколько часов мимо окон нашего дома, рассказывая всем любопытным зевакам о наших несправедливых к нему отношениях, об отказе нашем помогать ему и присвоении его «жалованья», громогласно высказывая свое презрение к нам «буржуям-эксплуататорам», с которыми он, Павлов, «сознательный рабочий», ничего общего иметь не желает...

Мы заподозрили, что с Павловым дело обстоит неладно, что он, по видимому, начинает сходить с ума. Действительно, вслед за этой «демонстрацией» Павлов подал исправнику прошение, в котором он требовал, чтобы его свели с Любатович, которую де полиция умышленно от него скрывает, хотя она его невеста и вовсе не думала убежать. Если же она действительно убежала, то пусть исправник или губернатор найдут ему другую невесту, но такую, которая принесла бы ему в приданое сапоги и брюки; в противном же случае, он предупреждает, что не останется в Ялutorовске, а убежит в Россию.

Для исправника стало ясно, что Павлов свихнулся. Он переслал прошение его тобольскому губернатору, а в виду угрозы его побегом, Розанов, во избежание «неприятностей», пока что заключил его в тюрьму*.

Ни мастерская, ни слободка, ни даже обширная «корреспонденция» не могли, однако, сколько-нибудь удовлетворить нас. Утомительно однообразная жизнь начинала заметно тяготить нас. Мы стали впадать в тоску. С каждым днем давала себя все больше и больше чувствовать потребность приняться за что-либо более жизненное и реальное и так или иначе по-

* По сведениям Био-библиографического словаря деятелей революционного движения в России (изд. Политкаторжан), Василий Павлович Павлов был арестован в Ялutorовске 30 мая 1879 г. за сношения с Ив. Цыпловым, оказавшим вооруженное сопротивление. (Ив. Цыплов, уголовный, распропагандированный в Ново-Борисоглебском центральном Ив. Папиным. В 1878 и 1879 гг. сблизился с Жебуневым, Чудновским и Чернявским и по их поручению распространял нелегальную литературу). Р е д.

ложить конец нашему прозябанию. А тут еще подвернулся крайне прискорбный инцидент с Павловым.

И вот тогда-то разыгралась катастрофа, развязавшая нас с Ялуторовском скорее, чем мы ожидали, и совсем не так, как мы ожидали.

В один из печальных ненастных дней, когда мы сидели все дома и совместно придумывали исход из угнетавшего нас положения, к нам явился субъект, произведший на меня лично всем своим внешним обликом далеко не благоприятное впечатление, которое еще более усилилось, когда мы разговорились с ним, так как меня шокировали грубость и вульгарность его языка, показная бравурность и претензия на эффекты.

Субъект этот доставил нам письмо от кого-то из политических ссыльных, рекомендовавшего подателя этого письма, как человека, к которому можно отнестись с доверием.

Назвался наш посетитель Цыпловым и тут же объяснил, что настоящая его фамилия Гарманов. Несколько лет тому назад он судился в одном из российских судов за разбой и грабеж, приговорен был к многолетней каторге на заводы, пробыл там несколько лет, потом, бежав, был пойман, при вторичном следовании по Владимирке «сменился» с кем-то из следовавших на поселение под фамилией Цыплов, на поселении или в центральной тюрьме сошелся с кем-то из политических, которые оценили его, как смелого до дерзости человека, и решили воспользоваться им для устройства побегов из Сибири. Командировали его с этой целью на Урал к служившему там старому революционеру К[ри]лю, который, в свою очередь, направил его в Петербург. Там Цыплов произвел благоприятное впечатление, расположил к себе некоторые активные кружки, которые снабдили его кое-какой нелегальщиной и письмами, между прочим, и к Чернявскому в Ялуторовск. Цыплов заявил, что он предоставляет себя в распоряжение политических ссыльных, в которых он слепо уверовал.

Мне припомнился процесс Гарманова, произведший на меня в свое время очень сильное впечатление. В памяти моей сильно врезалась необычайно дерзкая выходка его по отношению к присяжным заседателям, которым он пригрозил за суровый приговор местью, когда он убежит из Сибири и вернется на родину. Я высказался поэтому против доверчивого и интимного отношения к Цыплову, опасаясь, чтобы он в той или иной форме раньше или позже не скомпрометировал не только нас, но и дело, которому мы служим.

Оба Чернявские и Жебунев решительно восстали против моего необоснованного недоверия к Цыплову, полагая, что во мне говорит просто предубеждение против человека, когда-то осужденного за грабеж, хотя теперь, повидимому, уже совершенно переродившегося и готового душой и телом служить тому делу, ради которого его и направили к нам. Чернявские и Жебунев

высказывали твердое убеждение свое, что Цыплов в роли организатора побегов может оказаться незаменимым человеком и что при нашем содействии и руководительстве он сумеет успешно выполнить эту роль, и полагали, что, не имея теперь никакой другой реальной деятельности, мы не в праве отказываться от содействия инициативе Петербурга и задачам Цыплова.

Хотя товарищам и не удалось рассеять мое предубеждение против последнего, но так как и у меня, кроме субъективных впечатлений, ничего более осязательного против Цыплова не имелось, то я, скрепя сердце, подчинился их решению и принял на себя даже письменное изложение намеченного плана и рекомендацию Цыплова ссыльным, жившим по тракту в Ишиме, Тюкалинске и других пунктах.

Цыплов пробыл у нас несколько дней, и хотя он днем не выходил, но по вечерам гулял, а в таком захолустном городке, как Ялуторовск, появление на улице всякого нового человека не могло не обратить на себя внимания. К тому же, как оказалось впоследствии, муж сожительницы Осипа, живший с нею в избе последнего, служил в полиции и был откомандирован специально для наблюдения за нами.

Мы приготовили письма, снабдили ими Цыплова, вручив ему также нелегальщину, деньги и провизию. На третий или четвертый день пребывания у нас он рано на рассвете распростился с нами и пешком двинулся по направлению к Ишиму. Когда он отошел несколько верст от города, его возле одной деревни нагнала подвода, которая якобы направлялась туда же, куда и он. Сидевший в повозке «проезжающий» (впоследствии оказавшийся мужем сожительницы Осипа) предложил Цыплову присесть, что он-де его подвезет. Цыплов предложение принял и присел. Скоро, однако, попутчик показался ему немного подозрительным, и Цыплов уже под самой деревней соскочил, побежал в деревню и хотел было в первой попавшейся хате нанять лошадей. Но сыщик его нагнал; по его требованию хата окружена была народом; «чалдонь» хватили Цыплова сзади по голове поленом. Он успел раз выстрелить из револьвера и ранить одного крестьянина, но толпа этим не смутилась, выбила из его рук револьвер, повалила его на землю, избива до полусмерти и, связав по рукам и ногам, бросила его в телегу, и сыщик повез его обратно в Ялуторовск. Все эти подробности мы узнали, конечно, позже...

Проводив Цыплова, мы еще пару часов поспали; затем встали и принялись за чай. Раньше обыкновенного, когда мы еще не покончили с «прикусой», явился к нам из полицейского управления рассыльный, который пригласил нас всех к исправнику за получением корреспонденции, денег и пр.

Ничего не подозревая и совершенно спокойные за Цыплова, мы отправились в полицейское управление, где под разными предлогами нас задержали довольно долго, а когда мы возвращались домой, то, не доходя еще до дома, поняли, что случилось не-

что необычайное: наш дом со всех сторон окружен был солдатами в полной боевой амуниции. Очутившийся возле нас полицейский надзиратель предложил нам войти к себе. Там ждал уже нас исправник и его помощник, стряпчий (игравший при старом суде роль товарища прокурора), местный воинский начальник и несколько офицеров. Все комнаты и сени переполнены были солдатами и полицейскими*.

Произведен был во всех комнатах самый тщательный обыск. Перерыли все углы, все чуланы, мастерскую, службы, даже отхожее место. Обшарили все наши карманы, сняли даже с нас сапоги! Наконец, составлен был протокол, что предосудительного у нас ничего не нашли, и заявили нам, без объяснения причин, что мы должны быть арестованы. В виду резкого протеста с нашей стороны, исправник, по соглашению со стряпчим, решил оставить нас под домашним арестом и обратился в Тобольск по телеграфу к губернатору с запросом насчет дальнейшего. На другой день нас всех, вследствие телеграфного распоряжения губернатора, заключили в ялutorовский тюремный замок⁵⁷.

15

И вот, после 10-месячной передышки, я опять за решеткой, опять под замком, опять с неизменной «парашей» в камере!

Рассадили нас, разумеется, поодиночке. Но если одиночное заключение и в таких «образцовых» тюрьмах, как дом предварительного заключения или «Петропавловка», не удается сохранить строго «одиночным», то тем более это было немисливо в ялutorовской тюрьме — «пересыльной», в которой, уже по самому ее характеру, постоянный, так сказать, контингент населения самый ничтожный и 99% состоит из вечно сменяемых «партий», не признающих никакой дисциплины и весьма опытных по части обхода всяких тюремных «инструкций».

На другой же день нам удалось повидаться с заключенным там же (отдельно и «весьма секретно») Цыпловым, который и посвятил нас в вышеприведенные подробности своего ареста. На нем красовалось еще несколько повязок, наложенных на него после жестокого избиения его при аресте. Мы от него узнали, что письма наши ему не удалось уничтожить и они (конечно, не подписанные) находятся теперь у исправника, что он, Цыплов, категорически отрицает всякое знакомство свое с нами, а относительно происхождения найденных у него писем, как и цели его путешествия, отказался дать какие бы то ни было показания. При этом Цыплов заверил нас, что он останется нем, как рыба. Само собою разумеется, что и мы решили держаться в показаниях той же системы.

* «Предосторожности» все вызваны были подозрением полиции, что у нас имеется оружие и мы можем оказать вооруженное сопротивление.

В скором времени приехал из Тюмени жандармский майор (помощник начальника тобольского губернского жанд. управления) для производства дознания по делу Цыплова. Мы категорически отказались от всякого знакомства с последним; равным образом отрицали мы авторство перехваченных у него писем и знакомство с содержанием последних, как и самое участие в подготовке побегов из Сибири.

Закончив дознание, жандармский майор уехал, а мы, в ожидании своей участи, коротали скучные дни в разговорах через окна, совершенно игнорируя запрещения и угрозы смотрителя. Беседовал с нами и Павлов, ждавший здесь очередной партии для отправки в Якутскую область по распоряжению министра внутренних дел за угрозу бежать из Ялutorовска. На Павлова тюремное заключение оказало немного умиротворяющее и успокаивающее действие. Он извинялся перед нами за свое несправедливое к нам отношение, выражал нам свое сочувствие и даже покался перед нами, что некоторое время он считал нас виновниками своего заключения в тюрьму...

Исправник донес губернатору, что он лишен всякой возможности изолировать нас друг от друга, что мы упорно переговариваемся между собою не только на русском языке, но и «на разных других языках», непонятных ни смотрителю, ни надзирателям.

Губернатор снесся с генерал-губернатором Казнаковым, который распорядился, чтобы, заковав нас в ножные кандалы, развести по разным тюрьмам: Цыплова в тобольскую, где над ним должен был состояться военный суд* за оказанное при аресте вооруженное сопротивление, меня в курганскую, Жебунева в тарскую, а Чернявских в ишимскую.

Штатный, так сказать, тюремный кузнец отказался заковывать нас. Отказались и некоторые другие. В слободке нашелся один лишь кузнец (Егор), который согласился на эту роль. Он и раньше внушал нам недоверие к себе, и мы его чуждались. В

* Военный суд, как мы узнали впоследствии, приговорил Цыплова к смертной казни. Генерал-губернатор заменил последнюю восьмилетней каторгой. Я был рад, что предубеждение мое против Цыплова не оправдалось. Он все время держал себя прекрасно. Хотя пришлось ждать конфирмации приговора целых двадцать дней, в течение которых над ним висел страшный призрак смерти, и хотя власти всячески старались, пользуясь психологическим моментом, выпытать от него желательные показания, суля за это пощаду жизни, — Цыплов не проронил ни единого слова. За эту стойкость и верность «новым убеждениям» простятся ему многие его грехи, так как он, бесспорно, имел возможность впутать в свое дело много причастных к нему лиц...

От редакции. Цыплов «верность новым убеждениям» до конца не сохранил и, отбывая каторгу на Каре, разошелся с политическими, подал прошение о помиловании и просил о переводе в уголовную тюрьму, в которую он был переведен по требованию политических в 1886 г.

один прекрасный день он явился в тюрьму со всеми нужными принадлежностями.

Вызвали нас в контору, где и совершили эту гнусную, совершенно беспечную и ничем не оправдываемую операцию.

Вновь прибыл из Тюмени жандармский майор с жандармскими нижними чинами. Майор разрешил нам общее свидание. Мы провели около часа в задумчивой товарищеской беседе, крепко обнялись и распрощались.

За тюремной оградой ждали нас три почтовых тройки, запряженных в сибирские кибитки: одна для Жебунева, другая для меня и третья для Чернявских. На каждой кибитке находилось по два жандарма.

Кузнечная слободка вся почти оказалась возле тюрьмы и низко, почтительно раскланивалась с нами. Слободская молодежь проявила при этом к нам особенно трогательное внимание, которое сильно смягчило горечь разлуки.

Раздалась команда, ямщики гикнули, и лихие тройки стрелой помчались.

Прощай, Ялуторовск!

ГЛАВА X

1

В 1879—80 гг., вскоре после покушений Соловьева и Халтурина и участвовавших террористических актов, стали выхолзывать из разных щелей всевозможные «ловцы момента», всячески приманивавшиеся к разыгравшейся реакции. Уже и тогда всевозможные «добровольцы» (и в их числе не мало городских и сельских «батьюшек»), хотя еще не в таком масштабе, как впоследствии, принялись науськивать темную массу на «интеллигенцию» вообще и на «политических» в особенности, распространяя разными путями, прямо и косвенно, при помощи слухов и намеков, всевозможные небылицы о вражде их к «народу», к «крестьянству». «Политические», — инсинуировали они, — враждебно выступают против императора Александра II, мстя ему за освобождение крестьян, которых они, «политические», не прочь бы вновь закабалить», и т. п.

То враждебное отношение, которое было проявлено ко мне и моим ялуторовским товарищам по ссылке, корнем своим имело проповедь, произнесенную в ялуторовском соборе стариком протоиереем по поводу спасения Александра II от покушения Соловьева. В этой проповеди весьма прозрачно и тонко делались намеки на то, что ко всем подобного рода делам не в малой мере причастны всякого рода «политические» вообще.

И сельские батюшки, в свою очередь, признавали своим долгом прибегать к подобного рода инсинуациям, не остававшимся без последствий. При переезде моем из Ялуторовска в Курган на многих почтовых станциях толпами собирались крестьяне глазеть на «господина в кандалах», сопровождаемого двумя жандармами в полной форме. В некоторых местах крестьяне эти демонстративно проявляли свое враждебное ко мне отношение, а на одной станции толпа выказала особую ко мне враждебность. Мои жандармы нашли нужным грозно заявить, что никому до меня никакого дела нет, никто не имеет права оскорблять меня и называть меня «поджигателем» (из среды толпы раздавался и такой зловеющий возглас!) и для всякой расправы установлены определенные власти, самоуправствовать же воспрещается, за меня они отвечают и т. д.

В общем, впрочем, переезд мой из Ялutorовска в Курган был скорее благоприятным. Жандармы были вежливы, заботились о моих удобствах, старались приобрести для меня хорошую и доброкачественную провизию и т. п. Далекие от центра активной борьбы с «крамолой», провожатые мои относились ко мне довольно доброжелательно, с некоторым даже уважением. Не мало я хохотал, когда эти простоватые тюменские жандармы наивно и серьезно убеждали меня, что по всем видимостям приближается время пришествия антихриста, причем один из сильнейших и наиболее веских аргументов с их стороны в пользу этого утверждения являлась ссылка на... нас же, «политических». — «Вы, «политические», живете совсем не как обыкновенные люди; у вас все — о б щ е е, вы друг с другом всем делитесь; чужие вы ведь друг другу, нет между вами ни родства, ни свойства, а любите друг друга, к а к б р а т ь я! Все это неспроста! Все это знаменует близкое пришествие царствия антихриста»...

Так как «старшого» не было, то мы не особенно торопились. Жандармы не видели никакой надобности в том, чтобы отказывать себе и мне в нужном отдыхе. Мы частенько на больших станциях останавливались, с прохладцем распивали чай с «шаньгами», закусывали и преспокойно высыпались. Погода стояла чудная, лошадей нам давали («по казенной надобности») отменно хороших, дорога была прекрасная, и мы, несмотря на частые остановки, скоро (кажется, на третьи сутки) прибыли в Курган.

2

Так как курганская тюрьма не лежала на тракте и не была «пересыльной» по существу, то она оказалась далеко не так переполненной, как ялutorовская, а в санитарно-гигиеническом отношении обставлена была значительно лучше.

Как только я «принят» был от жандармов смотрителем тюрьмы, в последнюю немедленно явился исправник — маленький человек кроткого вида и приличной наружности. Он приказал безотлагательно расковать меня и предоставить мне одну из лучших камер — большую, чистую и довольно светлую, с окном во двор. В мою камеру поставили кровать, столик, табурет и даже нечто в роде комодика. Словом, устроили меня довольно «комфортно», «соответственно званию», как выразился стряпчий, посетивший меня на другой день.

Исправник распорядился, чтобы я мог свободно гулять под наблюдением надзирателя, чтобы меня держали на улучшенной больничной пище и не стесняли меня насчет «переписки», т. е. по первому моему требованию выпускали в тюремную контору письма писать и самые письма направляли без замедления дальше через стряпчего.

Однако в хорошо налаженный порядок вмешался жандармский майор С[околов], второй помощник начальника тобольского

губернского жандармского управления, имевший постоянное местопребывание в Кургане, как крупном торгово-промышленном пункте губернии. Это был тупой, ограниченный, невежественный и вместе с тем крайне чванливый и тщеславный субъект, выискивавший всяческие поводы, чтобы проявить свою власть и демонстрировать себя как «первое лицо» в округе, как «представителя III отделения», на котором «держится» все российское государство, о чем майор любил пространно распространяться в курганских чиновно-купеческих сферах.

Мне пришлось столкнуться с этим чрезвычайно неприятным самодуром на другой же день по прибытии моем в курганскую тюрьму.

Дело в том, что майор, пивший горькую и трезвым бывавший только во сне, как только узнал, что в тюрьму везут «политического», заявил исправнику, величественно покручивая длиннейшие свои усы, что все права на мою особу, прикосновенную к «политическому» делу, принадлежат ему, что мне, без его ведома и разрешения, не должны выдаваться ни книги, ни письма и вообще что бы то ни было. Равным образом и стряпчий не в праве письма мои направлять своей властью по адресу, а должен обязательно передавать их на его предварительный просмотр. Между очень немногими книгами, которые я привез с собою из Ялutorовска, имелась на английском языке история Маколея, которую мне хотелось проштудировать в подлиннике, со словарем в руках, ради изучения английского языка. Но когда мне доставили из тюремной конторы мои книги, то в их числе не оказалось именно истории Маколея, и смотритель объяснил мне, что ее задержал майор, категорически запретивший дать ее мне в камеру. Я предъявил протест против этого запрещения и просил смотрителя передать от меня майору, что я требую от него разъяснения причин задержания Маколея.

На другой день меня вызывают в контору. Там находились майор и тюремный врач. На мой вопрос, почему он, майор, запрещает выдать мне историю Маколея, тот, обращаясь не столько ко мне, сколько к врачу (очень ему не хотелось упустить столь удобный случай для рекламирования своей персоны!), с полным сознанием своего достоинства ответил мне:

— Согласитесь сами — ведь вас сослали в Сибирь за то, что вы занимались «р е в о л ю ц и е й» и хотели устроить ее у нас в России. Как же можно давать вам книги, в которых пишется о революции?

— Помилуйте, — ахнул я, — что вы говорите! Во-первых, за «революцию», как вы определяете, я уже осужден и наказан и теперь, стало быть, уже поздно принимать меры к тому, чтобы я ее не изучал и не совращался; во-вторых, в истории Маколея говорится не о русской, а об а н г л и й с к о й революции, и при том революции 1688 года, — какое же это может иметь отношение к нашей России и нашему времени? В-третьих,

нельзя найти ни одного учебника по всеобщей истории, в котором не повествовалось бы о гораздо позднейшей французской революции конца XVIII столетия; стало быть, придерживаясь вашей точки зрения, все эти учебники следовало бы обязательно уничтожить. В-четвертых, книги, которые я привез с собой, находились при мне в ялutorовской тюрьме и в этом никто не усматривал ничего предосудительного. Наконец, в-пятых, надо же принимать во внимание, что и как в той или другой книге говорится о революции. Ведь одного голого факта, что в данной книге говорится о революции, еще слишком недостаточно для того, чтобы книгу эту признать вредной.

Высокомерно смерив меня своим нагло-презрительным взглядом, майор ответил мне:

— Вы, пожалуйста, меня не учите. Я достаточно учен, я окончил Константиновское училище и, слава богу, человек не без образования,—за это вполне ручается носимый мною мундир; ведь вы же не можете не знать, что по ведомству III отделения люди без достаточного образовательного ценза не служат. Маколея вашего я, правда, не читал, так как я по-английски не понимаю, но все-таки разобрался в его оглавлении и понял, что там повествуется о революции. А этого в моих глазах слишком достаточно для того, чтобы книги этой вам не выдать... Не так ли? — присовокупил майор, обращившись к доктору, который продолжал хранить недоумевающее молчание.

Для меня было вполне ясно, что никакие аргументы и никакие доводы для подобного субъекта не существуют. Но все же я решил прибегнуть к последнему, совершенно уже в моих глазах неоспоримому, аргументу.

— Скажите, пожалуйста, — обратился я к майору самым спокойным и почти бесстрастным тоном, — известно ли вам, что каземат Петропавловской крепости находится под наблюдением вашего III отделения и что существующая в нем библиотека для заключенных комплектуется с ведома и по указаниям доверенных чинов этого отделения?

— Я не понимаю вашего вопроса, — обидчиво ответил майор. — Как чиновник этого III отделения, я не могу, конечно, не знать этого лучше вашего!

— И, как чиновник этого III отделения, вы, разумеется, считаете его вполне благонамеренным и благонадежным?

Чуя в моем вопросе коварно замышляемый удар его чванливому самолюбию, к тому же удар, который собираются нанести в присутствии члена того «общества», в котором он старается играть роль первой скрипки, майор грозно воскликнул:

— Прошу без дерзостей, не забывайте, с кем вы говорите! Будьте осторожны!

— Извините, — возразил я опять-таки самым спокойным тоном, — ни о каких дерзостях я не помышляю. Я хотел только обратить ваше внимание на то, что эта самая история Маколея,

которую, по вашему мнению, нельзя давать уже осужденным, имеется в библиотеке каземата Петропавловской крепости и в подлиннике и в переводе на русский язык; я читал ее сам в крепости, еще до суда, до признания меня «революционером», в русском переводе.

Весь побагровев от злости, но сиюсь сохранить свою важность, майор поднялся и надменно-нахальным тоном ответил мне, адресуясь как бы не ко мне, а к доктору:

— У всякого свой взгляд: у III отделения свой, а у меня — свой, и сочинения Маколея я вам, пока вы в тюрьме, не выдам...

С этого же самого дня майор принялся систематически мстить мне.

«Хозяином» тюрьмы, к огорчению майора, считал себя исправник; поэтому месть майора не могла простираться ни на мое содержание, ни на прогулки. Но, признав себя (без возражений со стороны исправника) властелином моей переписки, он утнетал меня в самом чувствительном для заключенного пункте: под разными предлогами не пропускал получавшихся на мое имя писем, которые больше всего поддерживают бодрость духа запертых за решеткой, и не отправлял по назначению моих писем, направляя их под разными предлогами в тобольское губернское жандармское управление. Маколея он мне не выдавал, не разрешив и проживавшим в Кургане ссыльным доставлять мне книги.

Все это сильно меня волновало и отвратительно отзывалось на моих и без того достаточно расстроенных нервах. Опасаясь сумасшествия, я спасал себя тем, что форточку камеры круглые сутки держал открытой, невзирая на сибирские морозы, да каждое утро, перед чаепитием, обливал себя тут же, в самой камере (с разрешения смотрителя), ушатом холодной, ледяной воды. Обстоятельство это очень интриговало и исправника и стряпчего: они почти каждый день являлись ко мне для удостоверения в таком непонятном для них факте, высказывая при этом удивление моей силе воли и крепости моего организма, который не только не страдает от такой радикальной операции, а как бы еще укрепляется, повышая мою бодрость и энергию... Укрепление это было, разумеется, одною лишь «видимостью»: в действительности моя нервная система порядком-таки потрепалась. Я шагал иногда по камере без перерыва по целым часам, волнуясь и дрожа от негодования, вздрагивая при малейшем шорохе и скрипе. Выпадали страшные минуты, когда я опасался дойти до истощения...

И тогда-то я решил прибегнуть к экстраординарной мере.

Я пригласил к себе исправника и в присутствии смотрителя заявил ему, что дикий произвол майора С[околова] становится для меня невыносимым, что я не в силах, не могу допустить продолжения подобного издевательства над моей личностью,

и так как ни он, исправник, ни стражничий не имеют возможности оградить меня от этого произвола, то мне остается лишь прибегнуть к единственно возможному в моем положении протесту: мне приходится отказаться от пищи и умереть голодной смертью. Сильно взволнованный, исправник принялся горячо убеждать меня отказаться от моего решения, выставляя на вид, что ведь дело мое не вечно же будет тянуться, что в конце-концов освободят же меня и для меня настанет лучшее будущее.

После долгих переговоров мы остановились на следующем компромиссе. Я откладываю приведение в исполнение моего решения на пять — шесть дней, исправник по телеграфу доводит обо всем до сведения тобольского губернатора. Пока он предоставляет мне свободно заняться в тюремной конторе составлением докладной записки об этом инциденте на имя назначенного уже тогда министром внутренних дел гр. Лорис-Меликова.

На третий день исправник сообщил мне, что полученной от губернатора телеграммой поручается ему мне объявить, что он, губернатор, снесся с начальником тобольского губернского жандармского управления и с генерал-губернатором Зап. Сибири и что возбужденный мною вопрос разрешится в течение нескольких дней.

Тем временем я усердно работал над составлением докладной записки на имя гр. Лорис-Меликова, в которой я, извещая о своем решении покончить с собою путем голодовки, изложил все злобные и мелочно-мстительные придирки майора С[околова], доводящие меня до самоубийства. Для приложения к этой записке, в виду официального моего требования, мне выданы были тюремным смотрителем справки о сданных мною через контору письмах, а также о письмах, полученных в конторе на мое имя. Я просил, чтобы гр. Лорис-Меликов приказал произвести строгое по этому делу расследование, которое явилось бы некоторым удовлетворением для меня хотя после смерти и избавило бы впоследствии других от возмутительного произвола.

К счастью, мне не пришлось отправить по назначению эту докладную записку, и она чуть ли не единственный сохранившийся у меня п и с ь м е н н ы й документ за время моих скитаний по тюрьмам и ссылке⁵⁸...

Дело закончилось предписанием отправить меня в тобольскую тюрьму, что совпадало и с моим ходатайством, и с моим заявлением, что для избавления от С[околова] я готов помириться даже с каторжной тюрьмой.

И вот я опять мчусь на лихой сибирской «тройке» в сопровождении жандармов (но уже без кандалов) и получаю возможность испытать на своей шкуре прелесть нового (счетом уже д е с я т о г о) места заключения.

В обширной тобольской центральной тюрьме меня совершенно и почти абсолютно изолировали от всех заключенных. Поместили меня в каком-то совсем отдельном домике-камере, выпускали гулять в отдельный дворик, где никогда никого, кроме своего надзирателя, я не встречал. Кормили меня здесь недурно. Обращение весьма деликатное, и никаких ограничений, кроме... идеальной изолированности от всего и всех. Тут уж было буквально одиночное заключение, такое «одиночное», какого я не испытывал ни в «предварилке», ни даже в Петропавловке.

Посетивший меня на другой день по прибытии моем тобольский губернский прокурор Т—ко⁵⁹ произвел на меня очень хорошее впечатление. Это был тип строгого «законника», но вполне корректного и нелипцеприятного. В беседе со мною он очень сурово отнесся к тем придиркам, которые чинил мне в курганской тюрьме майор С[околов], и отдал при мне смотрителю строжайший приказ по первому моему требованию водить меня в контору и не препятствовать ни в чем моей корреспонденции, пообещав письма мои, кому бы они ни были адресованы, не задерживать ни на один день. Обещание свое он вполне держал, и я совершенно свободно переписывался с родными и товарищами.

Посетил меня в первые же дни по прибытии в Тобольск полицеймейстер, который расспрашивал меня от имени губернатора о состоянии моего здоровья, приказав при мне смотрителю, по поручению губернатора, предложить тюремному врачу посещать меня почаще и всемерно заботиться о моем здоровье, предоставляя мне при надобности все доступные врачебные средства, а также улучшенную пищу.

Словом, недоставало мне лишь... свободы и общения с людьми! Никаких дальнейших допросов относительно прикосновенности моей и моих ялutorовских товарищей к делу Цыплова мне не делали. Вновь я дни за днями и недели за неделями томился за крепкими засовами и прочной решеткой и... ждал. Прокурор ничего не мог сообщить мне о положении дела, так как оно было вне его ведомства: все, что я узнал от него, это то, что оно от дела Цыплова отделено и направлено в административном порядке, завися всецело от усмотрения высших петербургских властей...

Ждал я, ждал, и терпение мое, наконец, истощилось. Прошло около полутора года, и ниоткуда — ни слуху, ни духу. И вот я, с разрешения прокурора, обратился с телеграфным ходатайством к графу Лорис-Меликову, который тогда был министром внутренних дел (это было в конце 1880 года), или о прекращении дела и о полном моем освобождении, так как против меня никаких решительно улик не имелось, или о замене, по крайней мере, тюремного заключения какой-либо другой, более мягкой мерой предупреждения и пресечения...

К немалому удивлению, не только моему, но и всех местных властей, я на третий или четвертый день после отправки теле-

граммы освобожден был по телеграфному же распоряжению гр. Лорис-Меликова, с отдачей меня, впредь до окончания дела, под гласный надзор полиции в Тобольске же! ⁶⁰

Выходило, что для меня новое «дело» создало как бы даже некоторую льготу. Под надзором полиции я состоял и без того, как «поднадзорный ссыльный», но до дела я в этом состоянии должен был проживать в захолуственном Ялуторовске без права отлучки «за черту строений»; теперь же я очутился в Тобольске, хотя и не важном, но все же, как-никак, г у б е р н с к о м городе (некогда «царствующем граде Тобольске»), в котором имелись и мужская, и женская гимназия, и семинария духовная, и театр, и публичная библиотека, и училище военного ведомства, батальонная казачья школа, почтовое училище и др.

Не успел я на другой день по освобождении напиться чаю, как явился ко мне тобольский полицеймейстер В[ладимиро]в и сообщил мне, что губернатор Л[ысогорск]ий, зная мою материальную необеспеченность, поручил ему непременно приискать для меня какое-нибудь подходящее занятие. И вот, если я согласен, он готов отправиться со мною на другой же день на винокуренный завод С—ва, находящийся в одной-двух верстах от города.

Губернатор Л[ысогорск]ий из конфиденциальных донесений ялуторовского исправника знал, что, по убеждению последнего, я корреспондировал из Ялуторовска (в бытность мою там) в столичные газеты и корреспонденциями своими раздражал ялуторовское «общество» и ялуторовских чиновников. Л[ысогорск]ий имел весьма достаточно оснований к тому, чтобы (если возможно) задобрить и даже расположить в свою пользу человека, прикосновенного (хотя бы и по догадкам) к корреспонденческому делу, и этим путем сделать его по меньшей мере безвредным. С другой стороны, у тобольского полицеймейстера рыльце было в достаточной мере в пушку, почему и он считал, повидимому, полезным обязать меня до некоторой степени услугой. А так как я в то же время состоял под его надзором и он являлся, вследствие этого, ответственным за побег мой, если бы таковой случился, то он пришел к заключению, что определенный род занятий, в особенности при солидном вознаграждении, должен привязать меня к месту водворения и парализовать поползновения с моей стороны к такому побегу. Я, разумеется, лишь этими соображениями и мог объяснить себе заботливость о моей персоне со стороны и губернатора, и полицеймейстера...

В тот же день, когда меня удостоил своим посещением полицеймейстер, я познакомился кое с кем из тобольчан и узнал от них, что намечаемый для меня патрон С—в ведет образ жизни настоящего турецкого паши, содержит при своей заводской конторе целый гарем из 10—15 молодых девушек и в то же время сильно (по-сибирски) эксплуатирует своих заводских рабочих. Поэтому я усомнился, может ли ему улыбаться перспектива иметь меня в числе своих служащих...

На другой день рано утром заехал за мной В[ладимиро]в, и мы отправились с ним на винокуренный завод С—ва.

Я очутился в целом маленьком городке. Громадный огороженный двор с целым рядом построек и большой барский дом, в котором жил сам С—в, всевозможные службы, масса амбаров, кладовых и пр.

По мере того, как мы углублялись в это загородное царство и приближались к дому, нам стали попадаться навстречу молодые, кокетливо одетые (в чистенькие, изящно сшитые, простенькие платица с белыми передничками), очень миловидные девушки, которые при встрече с нами робко опускали красивые глазки. Это и были, как объяснил мне В[ладимиро]в, одалиски его степенства С—ва...

Не было еще и 8 часов. С—в провел накануне ночь в широком разгуле и теперь только что вставал. Нам указали большую комнату, в которой нас просили подождать.

Во всю длину этой довольно обширной комнаты стоял длинный накрытый стол, весь уставленный всевозможными напитками и закусками. Заметив на моем лице изумление, полицеймейстер объяснил мне, что у С—ва, как и у большинства крезов-тобольчан, существует прочно установившийся обычай с 7 час. утра (ежедневно) накрывать стол и заготавливать обильнейшие закуски и питья, причем каждый являющийся к ним по тому или другому поводу забирается без всяких приглашений в эту «столовую» и истребляет там сколько угодно закусок и напитков: таков уже здесь освященный практикой обычай гостеприимства. Мы с В[ладимиро]вым не преминули «пропустить» по две-три рюмки отличнейших наливок и закусить прелестной зернистой искрой и семгой.

Минут через десять ввалился в комнату чрезвычайно плотный и упитанный мужчина лет 45—50 вполне «европейского» облика — в прекрасной крахмальной рубаше, в хорошо спитой черной паре; грудь его была увешана массой солидных медалей и орденов. Это и был сам «именитый» купец первой гильдии С—в, крупнейший в то время тобольский крез, «жертвователь», член разных «приютов», директор тюремного комитета и т. д. и т. д., — словом, крупная денежная персона, добродетели которой то и дело вознаграждались «медалями».

Полицеймейстер В[ладимиро]в представил меня его степенству С—ву и объяснил ему цель нашего визита.

С—в разразился гомерическим хохотом, хватаясь за бока. Затем громким басом, не переставая хохотать, заводчик, покачивая головой, отчеканил: «И шутник же его превосходительство, право! Живет промеж нас, а нашего купецкого дела все никак понять не может!» Затем, быстро обернувшись ко мне, С—в выпалил: «Скажите, вы воровать умеете?» Я остолебенел от такого совершенно неожиданного вопроса, полицеймейстер В—в, как ужаленный, вскочил и весь побагровел. Но С—в, ни чуточки

не смутившись, вновь обратившись ко мне, самым добродушным и спокойным голосом продолжал: «Вы, молодой человек, на меня не обижайтесь. Я ведь совсем не намерен и не хочу сказать вам что-либо оскорбительное. Я также и не для шутки вас спрашиваю. Нам, купцам, лестно вовсе не честные служащие, они нам ни к чему! Нам нужны такие служащие, которые бы заведомо у нас воровали. Вы человек умный, и сами можете понять, что ежели мой служащий сворует у меня, скажем, 1.000 рублей, то он же зато у других сворует для меня 4.000—5.000 рублей, а я, стало быть, буду не в накладе, а в чистом выигрыше. Ну, а про вашего брата, политического, нам достаточно хорошо известно, что вы по части воровства не мастера. Значит, вы нам по нашей коммерческой части народ не подходящий... Так вы, — прибавил С—в, обращаясь к В[ладимиру]ву, — так и передайте его превосходительству». На этом «деловая» часть беседы была покончена, и заводчик принялся усиленно угощать нас и, уже провожая нас до ворот, благожелательно мне говорил: «Вот бы для вас подходящее дело было — позаняться с моим сынком разными науками; пусть бы учился, сколько угодно, да вот беда, что он у меня балбес и совсем учиться не хочет!»...

Сделал было я еще одну попытку приобрести занятия у другого тобольского первостатейного купца, К—ва, крупного рыбопромышленника, но и от последнего я получил почти такой же ответ, как от С—ва, и махнул рукой!..

4

Пребывание мое в Тобольске совпало со святками, и я решил, после двадцатимесячного одиночного заключения, посетить бал-маскарад в «Благородном собрании», чтобы немного себя развлечь и посмотреть тобольский бо-монд.

Один из местных юнцов, Г—в (сын тогдашнего секретаря губернского статистического комитета), успевший уже, несмотря на свой 16-летний возраст, погостить в тюрьме несколько месяцев по павшему на него подозрению в каком-то политическом преступлении и поспешивший свести со мною знакомство на другой же день после моего освобождения из тюрьмы, — обратил в собрании внимание мое на одну маску, с именем которой связана была целая романическая история. И Г—в и другие рассказывали, что к одному «делу» с Г—вым привлекался брат этой девушки, только что окончивший тогда гимназию: он был арестован, и сестра усердно за него хлопотала. Она очень приглянулась ловеласу, полицеймейстеру В[ладимиру]ву, по стараниям которого ее также арестовали и заключили в камеру при «вверенном» ему полицейском управлении. В[ладимиру]в так напугал ее перспективой страшной участи, предстоящей не только ее брату, но ей самой, что она — молоденькая, неопытная и совершенно этически неустойчивая — согласилась «добровольно» отдаться этому «блестителю устоев» в виду торжественного обеща-

ния его добиться освобождения и для нее, и для ее брата. И действительно, в самом скором времени она выпущена была на свободу, а вслед за ней освобожден был и ее брат, так как в сущности никакого «дела» и никаких улик не было. Девушка сделалась формальной «любовницей» В[ладимиру]ва и поступила на полное его «содержание», хотя он был человек семейный, имел детей и красавицу жену, которая, впрочем, с своей стороны состояла в интимных отношениях к другому лицу.

Эту пикантную историю в Тобольске рассказывали довольно громко чуть ли не на всех перекрестках. Я имел возможность вскоре лично убедиться в том, что на квартире, в которой проживала эта девушка с своей матерью, В[ладимиру]в бывал ежедневно, проводил по несколько часов, и там могли его находить во всякое время по «экстренным» делам. Юнец Г—в, который раньше был довольно близок с этой девушкой, возмущаясь до глубины души ее «падением», наговорил ей в собрании не мало «дерзостей», и полиция, по ее жалобе, удалила его отсюда. Я свел знакомство с этой маской, которая (очевидно, со слов В[ладимиру]ва) знала кое-что обо мне *. Многие другие маски старались, в свою очередь, всячески меня интриговать, обнаруживая кое-какое знакомство с моей биографией. Ясно, что провинция себя оправдала: «новое лицо» не ускользнуло из сферы ее внимания и подобающих толков и пересудов...

В тот самый день, когда я собрался в маскарад, из «губернии» вернулся губернатор Л[ысогорск]ий и, так как бал устраивался с благотворительной целью, явился в собрание со всей своей семьей.

Вдруг сквозь густую толпу протискивается ко мне В[ладимиру]в и заявляет, что его превосходительство очень желает со мной познакомиться и просил его, В[ладимиру]ва, представить меня ему.

И вот направились мы с полицеймейстером в гостиную, в которой находился Л[ысогорск]ий. Оставив семью, он двинулся навстречу к нам, крепко пожал мне руку, наговорил мне кучу комплиментов, подхватил меня под руку и демонстративно с полчаса прохаживался со мною по зале. Л[ысогорск]ий рассказывал мне о проживающих в «его» губернии «политических», о добром и внимательном его отношении к ним, о благородстве всех этих политических и о пользе их для края, останавливаясь при этом с особенной симпатией на Н. Ф. Анненском, который тогда проживал, кажется, в окружном городе Таре. Слушая Л[ысогор-

* Заинтересованный романической историей и судьбой этой девушки, я хотел было с ней поближе познакомиться. На другой день я сделал ей визит, но на посланную мною карточку вышла мать и внушительно заметила мне, что ее дочь, как «девушка», не может принять меня, незнакомого с ее семьей... В тот же день вечером встретился со мною В[ладимиру]в, который, улыбаясь, заметил, проницательно смотря на меня: «А вы сегодня были у такой-то!»...

ско]го, можно было подумать, что имеешь дело с администратором, чрезвычайно расположенным к политическим и всячески заботящимся об облегчении их участи, насколько это в его власти. С большим пафосом Л[ысогорск]ий рассказывал мне о недавней аудиенции своей в Петербурге у графа Лорис-Меликова, который привел его в совершенный восторг своей гуманностью, своими широкими «государственными планами». «Вот от кого можно ждать настоящего света и широкого просвещения, всяких великих благ для нашего отечества!» — неоднократно патетически восклицал этот завзятый бюрократ, проделавший долгую чиновничью карьеру, произведя настоящую сенсацию в тобольском бо-монде открыто проявленной им небывалой интимностью с политическим, да еще с таким, который только что (как уже известно было всем бывшим в собрании) выпущен из тюрьмы...

Л[ысогорск]ий чуть-чуть ошибся в расчете! Он, повидимому, совсем выбит был из колеи последними событиями и полагал, что тогда целесообразнее было именно такое, а не иное поведение. В бытность его в Петербурге там, очевидно, много толковали в «сферах» о близком наступлении «конституции», — а раз дело дойдет до «конституции», то, чего доброго, и политические могут, пожалуй, пригодиться в деле служебной карьеры...

Этот зауральский помпадур не предчувствовал близости катастрофы 1 марта и последовавшего за ней полного переворота в нашей внутренней политике. Я уверен, что, припоминая через месяц — другой об этой (вероятно, единственной) в его жизни! прогулке под руку на виду у всех с политическим, Л[ысогорск]ий не раз и не два горько упрекал себя за непростительную «неосторожность»...

5

В ожидании решения по делу Цышлова я решил было осесть в Тобольске. Нанял себе небольшую комнату и свел знакомство кое с кем из местных семинаристов, собираясь пустить вообще корни в наиболее древнем и историческом сибирском городе — Тобольске.

Как ни плох безотносительно этот город в гигиеническо-санитарном отношении, вследствие положения его под 58° 12' сев. широты и 85° 44' вост. долготы, холодного и сырого лета, болотистого грунта и ежегодных весенних наводнений реки Иртыша, но все же его и сравнивать нельзя по культурно-историческому значению с другими сибирскими городами (за исключением разве Омска, Томска и Иркутска). Как-никак, а все же он ведь бывший некогда «царствующий град Сибири!» Здесь в «воеводствах» с «товарищи» перебивали представители знатнейших русских родов — князья Кольцов-Масальский, Лобанов-Ростовский, Щербатов, Волконский, Пронский, Гагарин, Голицын, Прозоровский, Реннин и многие другие. Уже около двух столетий (с перерывами), с 1708 года, — это видный русский губернский

город; в промежутки здесь была резиденция «тобольского наместничества».

Верхний посад этого города (лучший в гигиеническом отношении) довольно эффектен (в особенности ночью). Здесь красуется некогда славившаяся по всей России громаднейшая «губернская тюрьма» — огромное здание, занимающее обширную площадь и сосредоточивающее в себе все губернские учреждения. Старинные, богато отделанные соборы св. Софии и Успенский (построенные в конце XVII века), старинные архиерейские палаты навевают не мало воспоминаний. Не без некоторого волнения созерцаешь здесь воздвигнутый в 1839 году памятник покорителю Сибири Ермаку Тимофеевичу — обелиск из серого уральского мрамора, обнесенный чугунной решеткой и поставленный на крутизне верхнего подъема, где разведен обширный сад, привлекающий в хорошую погоду не мало гуляющей публики. Не без душевного волнения и смущения созерцаешь здесь и другой весьма поучительный исторический памятник — «ссылный угличский колокол». Если на гимназической скамье учитель истории поражал наше отроческое воображение преданием о персидском вожде Ксерксе, который приказал наказать цепями море за его бурное волнение, поглотившее персидские корабли, то ведь тут перед нами, так сказать, в конкретной форме, нечто вполне аналогичное. Борис Годунов в великом своем гневе подверг каре этот бездушный колокол: в 1593 г. он был перевезен, по приказанию правителя, в Тобольск за то, что 15 мая 1591 г., когда был убит царевич Дмитрий Иоаннович, его звуками были созваны граждане Углича, перебившие убийц. Свирепый временщик не удовольствовался казнью 200 угличских граждан, гибелью множества народа от пыток и ужасных московских темниц и ссылкой в Пелым почти всех угличан, — он простер свой всевластный гнев и на этот колокол: по народному преданию, колокол был «бит кнутом с вырыванием уха» и сослан в Тобольск! Сначала этот «карноухий колокол» повесили на Спасской колокольне, потом переместили на соборную, вырезав на нем следующую надпись: «Сей колокол, в который били в набат при убийении благоверного царевича Дмитрия, в 1593 году прислан из города Углича в Сибирь в ссылку, в город Тобольск, к церкви всемилостивейшего Спаса, что на торгу, а потом на Софийской колокольне был часобитный». С 1837 г. этого преступника повесили подле архиерейского дома, под небольшим деревянным навесом, где я его созерцал в товариществе с другими четырьмя колоколами, подобранными ему, под тон...

В «царствующем граде Тобольске» перебивало немало сосланных по многообразным политическим причинам. В начале XVIII столетия находились здесь пленные шведы из войск Кар-

ла XII; в конце этого же столетия прожил там 7 месяцев, пользуясь всеобщим сочувствием тобольчан и особенным вниманием губернатора Алябьева, А. Н. Радищев, сосланный Екатериной II в илимский острог за знаменитую его книгу. В первой половине прошлого столетия в Тобольске жили декабристы Александр Муравьев и Вильгельм Кюхельбекер, тут же умерший от чахотки. В 60-х годах прошлого столетия в Тобольск и его губернию пригнали массу поляков за участие в последнем восстании. Когда я был в Тобольске (в 1880—1881 г.), здесь еще хорошо помнили о том теплом участии, какое принимал в судьбе польских изгнанников и поныне памятный Сибири тобольский губернатор Деспот-Зенович. По его инициативе в Тобольске устроены были (с 1864 по 1867 г.) для оставленных там на жительство 220 поляков всевозможные мастерские: прачечная, сапожная, слесарная, швейная, булочная, кузницы, мелочные лавки, пивоваренный завод; устроена была даже общая столовая для стариков и больных на 140 человек...

Во время моего пребывания в Тобольске там уже политических ссыльных вовсе не было, хотя по своей воле оставались еще там некоторые из поляков и их потомков.

6

В Тобольске я познакомился, между прочим, с одним из «профессоров» духовной семинарии — молодым человеком, незадолго перед тем окончившим Киевскую духовную академию. Усерднейше просил он и убедил меня поселиться на его квартире, говоря, что считает себя моим единомышленником и несколько не скрывает ни перед кем ни своего образа мыслей, ни своих симпатий к политическим, «профессурой» же своей несколько не дорожит и распрощается с нею при первой же возможности. Приглашение его было настолько сердечное и настойчивое, мотивы настолько уважительные, что я не устоял и переселился к нему — к немалому смущению местной духовной и светской администрации.

В самый день переезда моего на квартиру «профессора» нагрянул ко мне вдребезги пьяный учитель словесности местной гимназии. Заплетающимся языком и со слезами на глазах он посвятил меня в свою крайне печальную биографию. Свою преподавательскую деятельность он начал в Петербурге. Приступил он к делу с глубокой верой и с самыми светлыми упованиями; но, увы! очень скоро его, за сближение с учащимися и за посвящение последних в мир идей Чернышевского, Белинского, Добролюбова, удалили из столицы, где вечно «шумят» и «гремят витии». Его стали учашенно переводить из одной провинциальной гимназии в другую, все дальше и дальше от центра, пока он не очутился, наконец, в Тобольске. «Тишина», царящая «в глубине России», и непрерывные преследования действовали на него крайне гнетуще, он стал «пить» и в Тобольске окончательно

спился... Этот несчастный произвел на меня крайне тяжелое впечатление. Сам сознавая, что он, бывший ярый поклонник Добролюбова и Чернышевского, уже человек окончательно отпетый, этот гонимый человек объяснил мне, что он больше ко мне являться не будет и меня к себе приглашать не станет; он не мог только отказать себе в потребности хоть раз побывать у меня, чтобы излить свою страдавшую душу, когда он узнал, кто я и за что сюда сослан... И, боже мой! сколько в то время существовало на Руси подобных несчастных жертв толстовского режима!..

Тобольская учащаяся молодежь очень заинтересовалась появившимся в городе «политическим». Я, конечно, хорошо понимал, что в моем положении чрезвычайно важна и крайне необходима сугубая осторожность — и не столько в интересах лично моих, сколько в интересах юношей, в глазах которых звание политического в то время окружено было особым ореолом. При всем том, однако, совершенно устранился от встреч и знакомств с молодежью я не мог. Местное жандармское управление, далеко не обремененное работой, весьма зорко следило за каждым моим шагом. До меня очень скоро стали доходить слухи, что начальство тобольского духовного училища делало предостережения как учителям, так и ученикам против сближения и знакомства со мною, предупреждая, что это должно повлечь за собою неприятные для них последствия, и что даже кое-кто не побрезговал уже войти куда следует с каким то «донесением». Доходили до меня слухи и о том, что Л[ысогорск]ий собирается — под давлением начальника губернского жандармского управления — войти с представлением о переводе меня из Тобольска в какой-либо окружной город, чтобы этим путем устранить «зловредное» влияние мое на семинаристов и гимназистов. Я являлся, что собирается над моей головой новая гроза, и понимал, что если бы Л[ысогорск]ий даже и не возбудил теперь подобного ходатайства, то как только переписка по прикосновенности моей и моих ялutorовских товарищей к делу Цышлова окончится, меня, при самом благоприятном даже ее исходе, в Тобольске не оставят. И вот я решил предупредить события, чтобы избавить себя от удовольствия попасть в какую-либо отчаянную трущобу, в роде Березова или Обдорска. После месячного пребывания в Тобольске я в один прекрасный день отправился к Л[ысогорско]му, который еще так недавно столь интимно беседовал со мною в «Благородном собрании».

Л[ысогорск]ий на этот раз принял меня очень сухо. Я объяснил ему, что жизнь в Тобольске мне надоела, в виду своей неопределенности, что скверный климат Тобольска вреден для моего здоровья, что на приискание занятий здесь трудно рассчитывать и т. д., — и в виду всего этого просил его перевести меня на жительство в г. Курган.

Л[ысогорск]ий не мог скрыть, что очень обрадовался моему

ходатайству, так как последнее шло навстречу самому сокровенному его желанию: не улыбалась ему перспектива иметь под боком в самой его резиденции заведомого для него «корреспондента». Совершенно другим тоном, приятно улыбаясь, он объявил мне, что так как меня перевели в тобольскую тюрьму по распоряжению генерал-губернатора Западной Сибири, а затем я был освобожден и оставлен под надзором полиции в Тобольске по телеграфному распоряжению гр. Лорис-Меликова, то он удовлетворить мое ходатайство собственной властью не может, но безотлагательно снесется с генерал-губернатором и почти уверен в том, что никаких препятствий к переселению меня в г. Курган не встретится.

Считая вопрос этот решенным, я отправился к начальнику губернского жандармского управления и просил его, в виду предстоящего отъезда моего в Курган, принять меры к ограждению меня по возможности от деспотической мстительности его курганского помощника майора С[околова]. Начальник жандармского управления заявил мне, что он посвящен во все детали моего конфликта с майором и хотя и не находит, чтобы тот был во всем так виноват, как я думаю, но тем не менее он ему напишет и поставит ему на вид, что проявленное им по отношению ко мне «излишнее усердие» так же вредно и нежелательно, как и «недостаточное усердие».

Генерал-губернатор Казнаков не заставил долго ждать ответа. Через несколько дней явился ко мне полицеймейстер В[ладими́ро]в и предложил собраться в путь. Прибыла во двор моей квартиры тройка почтовых лошадей, я распростился с своим гостеприимным хозяином и в сопровождении двух жандармов отправился опять обратно в Курган.

7

В последних числах января или в самых первых числах февраля 1881 года я очутился таким образом в новом для меня юго-западном сибирском городе — Кургане. Говорю: «новом», так как в первое пребывание мое здесь я ведь города, собственно, не видел: я находился тогда там за тюремной решеткой.

В климатическом и санитарно-гигиеническом отношении Курган и его округ причисляются к наиболее благоприятным уголкам Сибири. По плодородию своему курганский округ — один из лучших; он по справедливости считается житницей Тобольской губернии. Здесь богатое хлебопашество и столь же богатое скотоводство. Трудно найти местность с таким обилием ржи, пшеницы, сала, масла, кож, мяса, щетины, меду, воску, всевозможных круп, рыбы красной и простой, превосходной поваренной соли. В обширных размерах разводятся здесь лошади, рогатый скот, овцы, даже свиньи.

Не только по богатству, но и по числу жителей Курганский округ считался вторым во всей Сибири. Занимая площадь в

20.420 кв. верст, Курганский округ насчитывал тогда в своих 27 волостях 178.261 душу обоого пола, между тем как Тобольский округ, при площади в $4\frac{1}{2}$ раза большей (93.534 кв. верст), имел почти вдвое меньшее население — 97.258 душ об. пола.

Значительно развиты здесь не только земледельческая промышленность и скотоводство. Курган, как и его округ, славится (славился, по крайней мере, в описываемое время) производствами салотопенным, свечным, мыловаренным, картофельнопаточным и крупчатным. Крупчатная паровая мельница Смолина снабжала своей превосходной крупчаткой всю Сибирь и даже Пермскую губернию.

По размерам своим и населению Курган оказался далеко не крупным городом, но все же он значительно превышал Ялуторовск, насчитывая 664 дома и 3.552 жителей обоого пола, между тем как в Тобольске считалось 2.428 домов с 17.056 жителей, а в Ялуторовске было всего 557 домов с 2.240 жителей. По торгово-промышленному значению своему Курган имел преимущество и перед Тобольском, в котором торгово-промышленная жизнь находилась в полном упадке; там насчитывалось только 24 фабрики и заводов (в среднем одна на 710 жителей), а в Кургане было 17 фабрик и заводов, т. е. в среднем одна на 209 жителей.

Первое поселение на месте нынешнего Кургана появилось еще в начале XVII столетия: в 1613 г. здесь была основана слобода «Царево Городище». В 1782 г., когда открыто было тобольское наместничество, «слобода» эта стала городом, которому присвоено было наименование **К у р г а н**, потому что близ него находилось множество курганов, которые и теперь еще можно было видеть по направлению к юго-западу от города.

Общим своим видом Курган выгодно отличался от Ялуторовска: улицы прямые, расположенные вдоль нагорного берега реки Тобола, дома почти все деревянные — просторные и хорошей постройки. К сожалению, крупчатный завод, будучи весьма важным в торгово-промышленном отношении, неблагоприятно отражался на гигиеническом состоянии города: он закрывал судоходство по Тоболу, и река застаивалась; летом она цвела и плесневела, и рыболовство в ней было совершенно убито. Затем в Кургане не было никаких признаков мостовых и тротуаров, не было также почти вовсе уличных фонарей (а если и были, то без ламп), и в дождливое время, когда стояла грязь по колено, было довольно рискованно выходить ночью на улицу.

Хотя Курган и не лежал на историческом ссыльном тракте и стоял в стороне от «Владимирки», но в нем все-таки водворялось на жительство немало поселенцев. В 40-х и 50-х годах прошлого столетия жили декабристы Ф о н - Б р и г г е н, Л и х а р е в, Л о р е р, Н а з и м о в, Н а р ы ш к и н, Р о з е н и Ф о г т. Им, на общем основании, предоставили по пятнадцать десятин земли, и они занимались хлебопашеством.

Собственно говоря, настоящее хозяйство завели лишь Нарышкин, который выписал из Москвы дорогих и крепких лошадей, и Розен. Последнему все, кроме Нарышкина, передали свои участки, и он завел образцовое хозяйство, удобрял неплодородную землю золой, которую курганские мыловарни отпускали ему бесплатно, и этим путем научил туземцев прибегать к удобрению ради увеличения плодородности земли.

8

Ко времени моего прибытия в Курган колония политических состояла здесь из четы Аверкиевых, Белявского, Долгополова, Кржеминского, Сидорацкого и Шур.

Самого Аверкиева я «знал» по «беседам» (т. е. по перестукиванию) в Петропавловке, куда он был заключен, когда и я там был, хотя привлекался он не по делу 193-х, а по отдельному — собственному делу. Жена его, Елена Ивановна, судилась по одному со мною делу (как участница, кажется, самарского кружка Мышкина). Она привлекалась по обвинению в покушении на распространение книг запрещенного содержания и приговорена была к четырем годам каторжных работ на заводах. Это наказание по высочайшему повелению (вследствие ходатайства суда) заменено было ссылкой на житье в Тобольскую губернию. Мне не пришлось познакомиться с нею на суде.

Остановился я в их квартире и принят был ими тепло и радушно, чисто по-товарищески, с тою сердечностью, какая вообще в то время царила в Сибири в среде колоний политических ссыльных, члены которых, в силу одинаковости положения и общности интересов по отношению к окружающим, считали целесообразным игнорировать различные оттенки своего политически-социального мирозерцания и во взаимной братской поддержке иметь источник для сохранения своей бодрости и отстаивания элементарных прав своего человеческого достоинства.

Не располагая никакими материальными средствами, Аверкиев совместно с Белявским устроили собственную кузницу, в которой они обычным тяжелым кузнечным ремеслом добывали средства для своего весьма скромного существования, допуская услуги одного лишь наемного молотобойца, к которому они, впрочем, относились отнюдь не «по-хозяйски», а почти по-товарищески. В течение целой недели эти бывшие студенты работали, не покладая рук, с раннего утра до позднего вечера в своей кузнице, находившейся хотя и за городом, но поблизости от маленькой их квартирki: они подковывали лошадей, телеги и возки, готовили для продажи гвозди и некоторые простые инструменты и т. п. Кроме того, Аверкиев принимал в починку швейные машины, что составляло для него, как почти единственного специалиста по этой части, хороший побочный промысел. Население относилось к этим интеллигентным труженикам, добывавшим хлеб «в поте лица своего», с боль-

шим уважением и доверием, и недостатка в клиентах у них не было.

Жена Аверкиева сама исполняла все работы по дому: пекла хлеб, варила обед, ставила самовары, стирала белье, убирала комнаты, мыла полы, кормила и прекрасно няньчила прелестного первенца — девочку, незадолго перед этим родившуюся у них там же в Кургане.

В этой семье прекрасных, честных и идейных людей чувствовалось тепло, уютно и хорошо. Без ропота несли здесь свой крест, с достоинством, с верой и надеждой на близкое наступление лучших времен. Хотя у этих милых людей целый день проходил в неустанных физических трудах, но все же у них находилось время почитать одну-другую газету, некоторые журналы и кое-какие новейшие книжки, которыми друзья из России не забывали снабжать своих ссыльных товарищей.

Нифонт Иванович Долгополов (впоследствии, через четверть века, член второй государственной думы) был студент 5-го курса медицинского факультета Харьковского университета. Его арестовали перед самыми выпускными экзаменами, и он попал, в административном порядке, в Курган за шесть-семь месяцев до меня. К медицине он относился не только как к профессии, он просто любил ее; особенную слабость питал он к хирургии, которая была его специальностью и которую он очень серьезно изучал.

Допущенный, по прибытии в Курган, к практическим занятиям в городской больнице, Долгополов здесь очень скоро и весьма заметно выдвинулся несколькими чрезвычайно искусными операциями. Его сердечное отношение ко всем страждущим и немощным, без различия положения и имущественного состояния, преимущество, которое он даже оказывал бедным и несчастным больным, завоевали ему быстро очень широкую популярность. Чуткое население признало в нем сразу опытного врача-хирурга и хлынуло к нему из многих селений не только Курганского округа, но и других соседних округов. Громаднейшее большинство больных Н. И. лечил безвозмездно, снабжая даже некоторых лекарствами. В базарные дни (по субботам) его небольшая квартира и даже весь двор (а иногда и прилегающая улица) переполнялись недужным народом, стекавшимся к нему с глубокой верой в его искусство и с глубокой любовью к его человечности. Постепенно (и довольно сильно) возрастал приток больных и в другие дни. Во время моего пребывания в Кургане уже в редкий день у Н. И. бывало менее 30—40 больных. Быстро растущая популярность его вызвала зависть в практиковавшем в Кургане (по специальному разрешению) враче из уголовных ссыльных, до прибытия Долгополова успешно конкурировавшем с единственным на весь город (и даже округ) городовым врачом. Зависть эта росла crescendo, так как клиентура Н. И. состояла не из одних неимущих крестьян и мещан, ничего привлекательного для

этого вольнопрактикующего врача не представлявших, но и из лиц местного купечества и чиновничества, оплачивавших свое лечение теми рублями, которые раньше переходили в карманы этого врача.

На Долгополова посылались доносы «в губернию». Врачебное управление принялось за «запросы», и в конце концов Н. И. формально воспрещена была медицинская практика — с одной стороны, как бездипломному врачу («студенту»), не окончившему университета, а с другой стороны — как ссыльному (хотя и в административном порядке). И вот в один прекрасный день исправник счел себя вынужденным, в ограждение себя от личной ответственности, наложить на Долгополова административную кару — заключить его под арест при полицейском управлении на 7 суток, причем составлено было любопытное постановление, гласившее, что вот, дескать, такой-то Долгополов, «движимый человеколюбием», позволяет себе оказывать медицинскую помощь страждущим больным, а так как он на медицинскую практику надлежащего разрешения не имеет, то... и т. д. *

Н. И. Долгополов производил на меня чарующее впечатление своей искренностью, сердечностью, цельностью натуры и истинно-гуманным отношением ко всем окружающим. Числясь политическим, он откровенно (хотя и не совсем верно) говорил, что его политика, собственно, мало интересует, так как любовь и влечение к медицине всецело его поглощают.

Н. И. был заядлый «хохол» и чистокровный «украинофил». Его самым любимым поэтом был Шевченко, портрет и сочинения которого занимали самое почетное место в его кабинете. За неделю до поминок (26 февраля) Шевченко он стал просить меня приготовить «речь» о жизни и деятельности этого любимого «батьки», суля мне за это угощение настоящими малороссийскими варениками. Я исполнил его просьбу. Когда я пришел к нему вечером 26 февраля, я почти не узнал его: он низкопренизко подстригся, выделив заметно «чуб», нарядился в широчайшие, как Днепр, «хохлацкие» шаровары, сшитые из разноцветных лоскутков, и артистически вышитую малороссийскую рубаху. Я добросовестно исполнил заданную мне им задачу, — своими словами подробно изложил биографию Шевченко, отметив главнейшие его произведения (к сожалению, по-великорусски, за незнанием малороссийского языка). Нифонт Ивано-

* Не знаю, придется ли мне еще в своих отрывочных воспоминаниях вернуться к Долгополову. Замечу поэтому здесь, что за медицинскую помощь, которую он все-таки, «движимый человеколюбием», продолжал неизменно оказывать страждущим и немощным, ему впоследствии пришлось еще немало выстрадать. Его выслали в более северный округ и заставили ехать на почтовых без теплой одежды во время тифа. Лишь телеграфная жалоба его жены, вызвавшая телеграфное распоряжение тобольского губернатора, приостановила (кажется, в Ишиме) дальнейшее передвижение его до выздоровления.

вич, с своей стороны, угостил меня «горилкой» и отменнейшими, громаднейших размеров варениками собственного изготовления; он был знаток по кулинарной части и в свободное время баловал товарищей прекрасными обедами собственного приготовления...

Александра Шур, попавшая в Курган тоже незадолго до моего прибытия (чуть ли не одновременно с Долгополовым), очень близко сошлась с Н. И. Она много помогала ему в качестве фельдшерицы и впоследствии стала его женой.

Удивительно оригинального субъекта я нашел в лице Сидорацкого. Бывший офицер, он еще в Михайловском училище, кажется, примкнул к кружку чайковцев, вместе с товарищами своими, Рогачевым и Шишко, «ходил в народ», сошелся близко с одной из основательниц кружка, Александрой Ободовской, на которой впоследствии и женился. После самого кратковременного пребывания «в народе» он был арестован вместе с некоторыми другими чайковцами, и заключен в дом предварительного заключения. Его привлекли было к «Большому процессу», но так как никаких улик против него не нашли, то предпочли расправиться с ним административным порядком, и он очутился в Кургане совершенно так же, как мы с Аверкиевыми очутились здесь в судебном порядке.

Продолжительное одиночное тюремное заключение наложило на Сидорацкого свой осязательный отпечаток, и «странности» его обращали невольно на себя всеобщее внимание.

Первая встреча моя с ним в Кургане произошла при следующей курьезной обстановке.

По прибытии в Курган, я на другой день с утра пошел знакомиться с местными политическими. Посетив Долгополова и Шур, я направился к проживавшему в одном с ними доме Сидорацкому. Последний нанимал комнату в квартире домовладелицы — курганской мещанки Хворостовой, которая очень благоволила к политическим вообще. Когда я попросил ее провести меня к Сидорацкому, она таинственным шопотом заявила мне, что он никого не принимает, дверь в его комнату всегда закрыта на ключ, и он никому не позволяет входить в его комнату без специального зова. На мой вопрос, не могу ли я повидаться с Сидорацким во время обеда, Хворостова ответила, что он столуется тут же, у нее, но обед подают ему в его комнату через специально для этого вырезанную им в двери форточку, которая открывается и затворяется изнутри.

Я невольно расхохотался. Стало быть, — решил я, — почтеннейший Сидорацкий настолько свыкся с режимом предварилки, что режим этот перенес с собою даже сюда, в ссылку!

Так как приближалось время обеда, то я решил подождать. Как только пробило два часа, изнутри комнаты Сидорацкого открылась форточка; подошла служанка и поставила на форточку прибор, хлеб и миску с супом, — точная копия блаженной памяти предварилки!

Я разразился гомерическим хохотом и тут же представился озадаченному неожиданностью Сидорацкому, внутренне, признаюсь, опасаясь какой-либо нежелательной выходки с его стороны.

Опасения мои оказались, однако, совершенно напрасными. Как чайковец, Сидорацкий хорошо знал мое имя, знал мои близкие отношения к его бывшему кружку. Он даже как бы обрадовался появлению моему в Кургане. Весьма охотно он отпер свою заветную дверь, пригласил меня к себе, отнесся ко мне вполне по-товарищески и выразил надежду, что мы близко с ним сойдемся.

Накоонец, последний член курганской колонии политических, с которым я познакомился в то же день, был студент Кржеминский. Занимал он какой-то своеобразный особнячок (поистине «на курьих ножках»), состоявший из одной крошечной комнатки, все убранство и вся обстановка которой сводились к плохонькой кровати, столику и паре самодельных табуреток. Кржеминский оказался юношей крайне угрюмым и весьма мрачного вида. Ясно было, что он жестоко тосковал в Кургане и дичился людей, держась в стороне не только от обывателей, но даже и от товарищей по ссылке. Между нами оказалась точка соприкосновения: его брат женат был на моей хорошей знакомой (А. М. Г.—н), от которой ему пришлось кое-что обо мне слышать. Это способствовало некоторому сближению между нами.

Денька через два-три я приискал и для себя небольшую комнату, так как мне не хотелось злоупотребить товарищеским гостеприимством Аверкиевых, ютившихся в довольно тесной квартирке.

9

Самый город Курган произвел куда лучшее впечатление, чем Ялуторовск. Здесь были и более изящные здания, и более живая торгово-промышленная жизнь, и более культурный внешний облик населения.

У меня явилась надежда найти здесь какое-нибудь подходящее занятие в конторе местного крупного коммерсанта Смолина, владельца одной из лучших сибирских крупчатных мельниц.

Я побывал у Смолина и получил кое-какие обещания, заручился также содействием исправника. Но я вместе с тем узнал, что жандармский майор С[околов] с первого же дня моего пребывания в Кургане принялся сильно интриговать против меня: и в «собрании», и в гостях у местных купцов он изображал меня как «отчаянного» и «весьма опасного государственного преступника», для которого «и каторги мало» и с которым всякое общение опасно. При этом он уверял всех и каждого, что не сегодня-завтра меня из Кургана уберут, так как он в одном городе со мною жить не желает.

Но я не терял надежды как-нибудь «устроиться» в Кургане, а пока что решил взяться за свой прежний «криминал» — кор-

респондирование в газеты. С этой целью я приступил к изучению города и его нравов и обычаев, предполагая составить прежде всего статистико-экономический очерк Кургана. «Чудак» Сидорацкий предложил мне свои услуги в качестве собирателя материалов и данных, всячески убеждая меня не отказываться от этих услуг, так как для него такая работа явится спасением от гложущей его тоски.

С благодарностью и весьма охотно принял я дружеское предложение Сидорацкого — тем более, что одна перспектива какой бы то ни было «работы» значительно, повидимому, его ожидала. И Сидорацкий оказался прекрасным сотрудником! Каждый день он снабжал меня новыми и новыми материалами, которые он кропотливо, усердно и добросовестно собирал со всевозможных сторон.

Мало-по-малу (и довольно скоро) я, при полезном содействии Сидорацкого, настолько ознакомился с Курганом, что мог приступить к составлению краткого очерка, который к концу месячного пребывания моего здесь приведен был уже к концу. Однако отправить его по назначению мне удалось лишь значительно позже и из гораздо более восточного сибирского города.

Дело в том, что пока я собирался осесть в Кургане, в Петербурге особое совещание министров решило участь мою и товарищей моих по Ялуторовску — С. Жебунева и Чернявских⁶¹.

Первого марта 1881 года рано утром на квартиру мою явились два местных нижних жандармских чина при полной форме с роковым «пакетом» в руках и заявили мне, что они командированы майором С[околовым] для препровождения меня, согласно предписанию министра внутренних дел, в Восточную Сибирь. Жандармы предложили мне немедленно заняться сборами в дорогу, так как скоро прибудет заказанная уже для меня почтовая тройка. Я потребовал, чтобы мне дали несколько часов на сборы, так как все белье мое находилось в стирке у прачки, у меня не было ни копейки денег, да и распрощаться с товарищами мне хотелось. Но протесты и настояния мои оказались совершенно тщетными. Жандармы объяснили, что майор категорически и строжайше запретил им допускать ко мне кого бы то ни было, а тем более выпускать меня из квартиры.

Волей-неволей пришлось подчиниться и собираться в путь. Имущество мое было настолько необильно, что на это потребовалось далеко не много времени. Когда во двор моей квартиры прибыла почтовая тройка, я не долго задержал ее, и мы направились в путь-дорогу.

Тем временем весть о моей внезапной отправке быстро разнеслась по городу. Не успела еще тройка моя выехать за околицу города, как на извозчике нагнали меня Н. И. Долгополов с Шур. Так как я находился уже за чертой городских строений и всецело во власти и распоряжении жандармов, то последние, считая нежелательным раздражать меня и хорошо зная Долго-

полова, как «доктора», согласились на несколько минут остановить тройку. Мы сердечно распрощались с Н. И. и Шур, которые братски вручили мне что-то около десяти рублей мелочью. Деньги эти пришлось весьма кстати, так как у меня не оказалось буквально ни копейки своих денег.

10

И вот мчусь я опять на лихой сибирской тройке. Путь мой лежит по ровной, скучной, тоску наводящей безбрежной «Барабинской степи», с ее прославленным тучным черноземом, богатыми лугами и обильной самоосадочной солью. Эта «Бараба» славится в особенности своей бешеной почтовой ездой. Дорога здесь ровная и гладкая, кони могучие и быстрые, ямщики (в особенности татары) бойкие и лихие. Езда по этому тракту настолько быстрая, что по временам дыхание от нее захватывает, и подозрительные жандармы грозно даже задерживают ее, опасаясь какого-нибудь «подвоха». Под влиянием строгих инструкций майора С[околова] и его сурового предупреждения насчет опасности моей особы, жандармы держат себя крайне осторожно и по-начальнически; остановки допускаются ими самые короткие, ради одной лишь перепряжки лошадей, которая отнимает очень мало времени, так как станционное начальство уже опытом научено, что когда жандармы едут «по казенной надобности», да еще с «бунтовщиком», то тут надо держать ухо востро и быть проторным.

Мелькают деревни одна за другой, деревни плотно населенные и длинные, тянущиеся иногда на две-три версты, деревни зажиточные, с солидными, прочно построенными домами и с основательным хозяйственным обзаведением.

Со второго или третьего дня нашего путешествия бросилась мне в глаза какая-то перемена в моих жандармах. На станциях они осторожно между собой перешептывались; когда я дремал в кибитке, они о чем-то таинственно между собой шушукались.

Миновав Каинск, мы на пятый или шестой день прибыли в Томск, где все объяснилось.

Подвезли меня к полицейскому управлению, и так как время было позднее, дело шло к вечеру, то никого из чинов там не оказалось. Жандармы оставили меня под присмотром служителя, а сами с «пакетом» отправились разыскивать полицеймейстера.

Кружась по приемной полицейского управления, я на одной из стен заметил большое объявление. Подхожу — читаю, и глазам своим не верю: это было подробное телеграфное сообщение министра внутренних дел гр. Лорис-Меликова о катастрофе 1 марта. Жандармы выехали со мною из Кургана утром второго марта, и там еще тогда это трагическое событие им, как и мне, не было известно: узнали они о нем, очевидно, лишь на другой или третий день в дороге. Столь крупный факт не мог, ко-

нечно, не повергнуть их в большое недоумение и в неопределенное ожидание всевозможных последствий. Сообщить мне о столь важном и серьезном государственном деле они считали себя, очевидно, не в праве, не имея на этот специальный «случай» никакой «инструкции», а вместе с тем факт этот их слишком поглотил своей необычайной важностью, и им трудно было удерживаться от таинственного перешептывания по его поводу.

В Томске (т. е. в томском полицейском управлении) я только переночевал и на другой день, в сопровождении уже других, местных, жандармов отправился дальше, вступив скоро в новый район Сибири — ее восточную полосу, более гористую и менее удобную для почтовой гоньбы.

На третий день я прибыл в первый губернский город Восточной Сибири — Красноярск, откуда меня должны были отправить в место моего нового «назначения» — г. Енисейск.

При обыкновенных, нормальных условиях мне пришлось бы оставаться в Красноярске не больше недели до отправки в Енисейск очередной партии. Но как раз через несколько дней после прибытия моего в Красноярск разразился громадный пожар, истребивший значительную часть города. В течение нескольких дней здесь бушевала страшная огненная стихия, которую нам пришлось созерцать из-за тюремных решеток. Во время этого пожара в экспедиции о ссыльных сгорели и «статейные списки» пересылаемых, и волей-неволей пришлось задержать последних на долгое время, пока не будут возобновлены все нужные данные.

Это совершенно непредвиденное обстоятельство задержало меня в красноярской тюрьме почти на два месяца, и мне пришлось встретиться там с некоторыми шедшими из России партиями политических, следовавших в Восточную Сибирь. Я застал, между прочим, в красноярской тюрьме И. Н. Цыплова, присужденного тобольским военным судом к смертной казни, которая генерал-губернатором Казнаковым заменена была восьмилетней каторгой*. При мне же в красноярскую тюрьму прибыл из Туринска милейший С. Жебунев, следовавший по общей со мной резолюции в г. Балаганск (Иркутской губернии).

Столь продолжительная остановка «по пути» в тюрьме была далеко не приятна. К счастью, для политических заключенных в красноярской тюрьме режим в то время был не из особенно суровых. Смотрителем тюрьмы был поляк Островский, который, в силу семейных традиций, относился к политическим не побурбонски и по возможности облегчал их положение. Губернская администрация (губернатором был, кажется, генерал Педашенко) относилась с уважением к политическим ссыльным, проживавшим в самом Красноярске, и беспрепятственно разре-

* Чудновский ошибается: Цыплову смертная казнь была заменена шестью годами каторжных работ на заводах. Р е д.

шала им свидания с товарищами, временно пребывавшими в тюрьме.

В числе политических ссыльных, проживавших тогда в Красноярске, находились впоследствии хорошо известные социолог Сергей Николаевич Южаков, писатель Иван Петрович Белокопский и его жена (урожденная В. Н. Левандовская), Гружевская, Потолицына и другие. Эти товарищи нас посещали, снабжали нас книгами и всем необходимым и значительно смягчали скуку неожиданно затянувшегося пребывания в тюрьме.

Как раз в красноярской тюрьме мне пришлось из газет узнать о процессе участников в катастрофе 1 марта и о приведенном над ними в исполнение приговоре. В течение нескольких суток я находился в состоянии, близком к сумасшествию. Перед моими глазами беспрерывно стояли виселицы с качавшимися на них телами Желябова и Перовской, с которыми я еще так сравнительно недавно беседовал на суде по процессу 193-х и которые, привлеченные к этому суду по обвинению «в распространении преступной пропаганды в империи», по недоказанности обвинения были судом оправданы. В течение нескольких суток я ни на минуту не мог сомкнуть глаз, ибо стоило мне только на одну минуту их закрыть, как передо мною начиналось ужасное раскачивание трупов. Это были мучительные дни...

Наконец, восстановлены были все нужные сведения о пересыльных, и можно было приступить к составлению партии для дальнейшего нашего передвижения.

В один прекрасный день препроводили всех политических ссыльных в одну из красноярских фотографий Кепеля, в которой обязательно снимали за счет экспедиции о ссыльных всех следовавших в Восточную Сибирь. Хотя Кепелю запрещалось продавать посторонним лицам фотографические снимки политических, но он, кажется, с этим запрещением не особенно строго считался. По крайней мере, один из его помощников конфиденциально завел меня в другую комнату и показал мне здесь огромный альбом с карточками всевозможных политических, в течение последних десятилетий следовавших через Красноярск по «Владимирке» в Восточную Сибирь, а сам Кепель (родом, кажется, швейцарец), войдя в эту комнату, сказал мне на ломаном русском языке: «Вот здесь у меня громадное состояние! Когда в России будет конституция, я разбогатею, так как у меня обширная коллекция портретов всех замечательных людей, которые работали для конституции. Я за эти карточки получу большие деньги». Сомневаюсь, чтобы сам почтенный Кепель воспользовался, действительно, этим «богатством», так как он был уже довольно пожилой человек, а до «конституции», которая уже тогда (в 1881 г.) смутно намечалась в перспективе, пришлось прождать еще целую четверть века, да и то до какой, с позволения сказать, «конституции»?!

«Партия» на Енисейск была сформирована.

«Партия» состояла из нескольких десятков уголовных и одного лишь политического в моем лице. Советник енисейской экспедиции о ссыльных и тюремный врач освидетельствовали всех подлежащих отправке, причем больным, старикам и женщинам предоставлены были подводы, остальные должны были следовать пешком, складывая лишь вещи свои на подводы.

До этого времени я странствовал на привилегированном положении, в сопровождении жандармов и не иначе, как в пассажирских вагонах или на почтовых тройках. Теперь я очутился впервые на общем положении, мне впервые пришлось следовать этапным порядком. Хотели было предоставить мне право воспользоваться подводой, но я уклонился от врачебного освидетельствования, желая быть хоть раз на общем положении.

Сравнительно незначительное расстояние до Енисейска (кажется, около 330 верст) на почтовых я отмахал бы в двое суток, по положению же об этапном шествии в день могли проходить не более 35—40 верст, причем через каждые два дня полагалась «дневка», когда партия отдыхала полные сутки (не считая остатка дня прибытия на этап). Таким образом, незначительный путь до Енисейска отнимал не больше не меньше, как одиннадцать—двенадцать суток!

Тогда стояла великолепная, настоящая майская погода! Растворительность была в полном цвету. «Партия» поднималась с ночевки с зарей, наскоро собиралась и часов в пять отправлялась в путь, оглашая чудный тихий весенний воздух всевозможными песнями и веселыми беседами. Начальник конвойной команды отправлялся вперед на своей бричке; солдаты шли почти отдельно впереди, вполне уверенные, что пересылаемые столь близко не найдут целесообразным подвергать себя риску и бежать с дороги.

Часов в 8 делался обыкновенно «привал» на полчаса. Разводили огонь, кипятили в котелках чай и слегка закусывали. Часов в 11—12 делался вторичный, более продолжительный «привал» для закуски и короткого отдыха. К 4—5 часам партия добиралась обыкновенно до этапа, где ее ожидали крестьянки со всевозможной снедью: оладьями, шаньгами, молоком, творогом, хлебом, жареным мясом, печенками и т. п. Арестанты, как волки, набрасывались на торговку, норовя захватить более лакомые куски. Затем, после переклички, взапуски бросались в этапные помещения, чтобы занять получше нары для ночлега. Сняв с себя котомки, разоблачившись и кое-как омывшись, принимались обедать, истребляя с аппетитом все, что бог послал, причем особенно лакомым (и дешевым) блюдом между пересыльными считалась черемша, вкусом напоминавшая наш лук и находившаяся в этом районе в большом обилии. После обеда кипятили поход-

ные котелки, заваривали чай, которым «баловались» (или совсем без сахара, или при самой малой его дозе — «в оглядку») до поздних сумерек, когда почти все заваливались спать.

Благодаря дневному пешему переходу страдавших бессонницей на этапах не оказывалось. Отчаянный храп раздавался всю ночь со всех нар. Очень немногие забирались под нары и усаживались там за карты, которые они умудрялись пронести на этап, несмотря на самые строгие обыски. Временами, в особенности во время «дневок», появлялась и «водочка», так как солдаты этапной команды по части надзора особенной строгостью не отличались и не прочь бывали принимать участие в выпивке.

Во время одной из «дневок» зашел я с конвойным в деревне в одну хату, чтобы раздобыть какую-либо лакомую пищу. Разговорились мы с молодой девушкой («работники» были все «в поле»). Та стала жаловаться на плохие времена, отсутствие заработков и прочее. Во время нашей беседы слезает с полатей ветхий старик; кряхтя, вмешивается он в разговор: «Вот фарта нет, другим как везет!» — и стал рассказывать, как такие-то и такие-то из их деревни и ближайших селений во время недавнего пожара в Красноярске отправились туда с подводами и вывезли полные подводы всякого добра, пользуясь содействием казаков, с которыми они делились награбленным добром... «А нам-то не фартит!» — со вздохом закончил «дед», укоряя своих «мужиков» в неумении пользоваться моментом.

Эти наивные жалобы на несправедливость судьбы подтвердили все те многочисленные слухи о происходивших во время пожара грабежах — слухи, доходившие и до нас в тюрьму и попавшие отчасти в печать...

Хотя значительная часть нашей «партии» состояла из отборной «шпанки», искусной и опытной по части «присвоения чужого имущества», однако на наших этапах краж не было, так как воровать у своих считалось в партиях большим преступлением, за которое учинялся жестокий самосуд.

На одиннадцатый или двенадцатый день я прибыл в место нового своего жительства в полосе Восточной Сибири, — в г. Енисейск.

ГЛАВА XI

1

Енисейск, многопрославленный центр сибирской золотопромышленности, при самом беглом обзоре, при следовании с партией по некоторым его улицам по направлению к полицейскому управлению, произвел на меня благоприятное впечатление. После Ялutorовска, Ишима, Тюкалинска, даже после Кургана этот окружной город, отстоящий от Петербурга на 5.099 верст, даже внешней физиономией своей напоминал не захолустный сибирский городишко, а средних размеров уездный город Европейской России. После убийственно-тоскливого вида разных Тюкалинсков и Ялutorовсков взор с удовольствием останавливался на красивом каменном соборе, на монастырях (мужском и женском), на каменных приходских церквях, на немногих каменных домах, на каменном гостинином дворе, с приличными магазинами, лавками и складами, на довольно чистых, даже отчасти мощеных (хотя и плохо) улицах. Попадались даже приличные извозчики.

Первый невольный визит мой был, само собою разумеется, в окружное полицейское управление. Когда я поджидал здесь на крылечке прибытия исправника, явился туда из местных политических административно сосланный Лев Маркович Зак. Оказалось, что, по заведенному в Енисейске доброму обычаю, ему, как бы признанному старшине местных политических ссыльных, тотчас дали знать из полицейского управления о прибытии «новичка», а он, также по заведенному порядку, явился немедленно принять «новичка».

Исправник К[алинин] не заставил себя долго ждать. Приветливо приняв меня, он через несколько минут меня отпустил на полное попечение Л. М. Зака, на квартиру которого я и отправился.

Лев Маркович (уже давно, увы! покойный) представлял собою лучший образчик тогдашнего политического ссыльного. Он был готов делиться с товарищами по судьбе решительно всем, до последнего куса хлеба включительно. На одной с ним квартире проживали еще трое. Зак получал из дома от брата денеж-

ную помощь в размере 25 рублей в месяц; другие ничего ниоткуда не получали, и хотя самоучками и сапожничали, принимая в починку обувь, но работа эта доставляла им жалкие гроши, а между тем жизнь в Енисейске, как и вообще в Восточной Сибири, была значительно дороже не только в сравнении с Ялуторовском или Курганом, но и вообще с Западной Сибирью. В Восточной Сибири решительно все становилось заметно дороже: и хлеб, и масло, и мясо, и квартира. Дороговизна жизни давала себя особенно чувствовать в Енисейске, так как это был тогда (остается отчасти и теперь) центр золотопромышленности, которая уже по самому характеру своему значительно влияет на повышение цен.

Товарищи Льва Марковича получали, правда, казенное пособие в размере шести рублей на человека, но при дороговизне енисейской жизни пособия этого не хватало бы даже на одно жилье и хлеб. Живя коммуной и располагая, кроме 18 рублей казенного пособия, еще 25 рублями Льва Марковича, компания Зака кое-как могла существовать, разумеется, обходясь без прислуги и исправляя по очереди все домашние работы, что, впрочем, вполне соответствовало их основным принципам. И все-таки приходилось отказываться от говядины, заменяя ее лошадиным мясом, которое стоило во много раз дешевле говядины (1—1½ коп. фунт). В Енисейске и его окрестностях жили татары; для них от времени до времени били лошадей, мясом которых они кормились и потребителями которого в Енисейске, кроме них, была лишь компания Зака, благодаря дешевизне употреблявшая его вдоволь, часто разрешая себе даже два «мясных» блюда. Я, грешный человек, к этому мясу никак не мог привыкнуть: его жесткость, сладковатый вкус были мне противны. После двух раз я совершенно от него отказался. Вообще отшельнически-суровая обстановка жизни компании Зака пришлась мне не по вкусу, и, отдавая полную дань уважения и даже некоторого удивления самоотвержению Льва Марковича, я решил поселиться отдельно*.

Так как жизнь в Енисейске была значительно дороже, чем в Ялуторовске, то той маленькой денежной помощи, какую я получал от родных, еле хватало бы на покрытие расхода по квартире и ее отоплению, да и эта помощь должна была прекратиться в самом скором времени. Необходимо было позаботиться о заработке.

* Впоследствии я жил совместно с Осташкиными, Виктором Александровичем, судившимся вместе со мною по процессу 193-х, и его женой, Верой Спиридоновной, урожденной Любатович, осужденной по процессу 50-ти; оба они водворены были в г. Таре (Гобольской губернии), но после какого-то столкновения Веры Спиридоновны с тарским исправником она была выслана в Енисейск, куда последовал за ней и муж.

Давно уже привлекала меня журнально-литературная работа. Мой первый критико-публицистический очерк появился в марте 1871 года в издававшемся тогда в Одессе под редакцией Серебряникова «Новороссийском Телеграфе». Это был юношески-задорный полемический фельетон под заглавием: «Субъект из темного царства», направленный против бывшего товарища моего по гимназии Гоняева, с успехом подвизавшегося тогда на страницах «Одесского Вестника»⁶². Гоняев обрушился на вышедший в свет и пользовавшийся большим успехом в среде молодежи роман Омулевского «Шаг за шагом», окрестив при этом огульно всех героев этого романа «субъектами из мертвого царства». И вот я, благоговевший тогда перед всеми «новыми людьми» обоего пола, принял под защиту свою Светлова и компанию, воспылал гневом и негодованием неопита и впервые взялся за перо. В пылу полемики я ударился в другую крайность и признал также огульно всех героев романа лучезарными идеалами, а их хулителей и порицателей, с Гоняевым во главе, — «субъектами из темного царства».

Этот первый литературный опыт мой понравился Серебряникову, и он усиленно приглашал меня к сотрудничеству в «Новороссийском Телеграфе». Наши газеты вообще, а провинциальные в особенности, владели тогда крайне жалкое материальное существование («розы» почти не было, и число подписчиков в 2—2½ тысячи было идеалом одесского издателя). Издатели могли еще кое-как покрывать расходы по печатанию газеты и весьма скромно оплачивать труд крайне ограниченного штата постоянных сотрудников, но временные сотрудники, за весьма малыми исключениями, довольствовались честью быть печатаемыми. А при таких условиях волей-неволей приходилось отдавать почти все свое время урокам, и необходимого для литературной работы досуга не оказывалось. Весьма скоро «Новороссийский Телеграф» под редакцией Серебряникова вынужден был, за недостатком средств, прекратить свое существование. Да и я, как и большинство моих сверстников, находил тогда служение народу в подцензурных изданиях малопродуктивным и предпочитал служение ему на других поприщах...

В 1872 г. я принимал в течение около полугода ближайшее и самое деятельное участие в подпольном студенческом рукописном журнальчике «Вперед». Во время содержания моего в одесском тюремном замке я несколько месяцев, с разрешения прокурора судебной палаты Г. А. Евреина, писал статьи по вопросам дня и пересылал их от времени до времени в возобновившийся «Новороссийский Телеграф». Эта газета выходила под редакцией архитектора Озмидова, который тогда не только был еще чужд юдофобства и мракобесия, а даже, при главном сотрудничестве весьма популярного в то время «барона Икса» (Герцо-

Виноградского), водрузил в молодой одесской печати знамя либерализма и демократизма. Некоторые из этих статей изданы были в 1876 г. моими друзьями отдельной брошюрой под заглавием: «Мысли незаписного публициста». С. Л. Ч. ⁶³.

В Ялуторовске, Кургане и Тобольске я, хотя и слабо, но все же грешил корреспонденциями в столичные газеты. Попав в Енисейск, я решил возобновить корреспондентские грехи. Енисейск, при его, правда, далеко незначительном населении (7.000 душ обоего пола) в этом отношении оказался гораздо более благоприятным объектом для изучения (быт инородцев, быт золотопромышленников и их рабочих), да и пособия тут были (кое у кого из частных лиц, например, у братьев Востротиных, оказались порядочные библиотечки; существовала даже, хотя и довольно жалкая, «библиотека для чтения» прасола Скорнякова). Поэтому я решил посвятить себя в Енисейске более обстоятельной журнальной работе.

3

Решению моему благоприятствовали в значительной степени следующие обстоятельства.

Как раз около этого времени в Томске положено было основание «Сибирской Газете». Редакция последней усердно привлекала к сотрудничеству рассеянных по всей Сибири политических ссыльных, не без основания усматривая в них наиболее подходящий контингент для газетной работы. Хотя на всю обширную Сибирь существовала до того времени (в Иркутске) одна лишь небольшая еженедельная газета «Сибирь», а «Сибирская Газета» являлась, таким образом, лишь вторым (тоже еженедельным) органом печати для громадного и своеобразного края, тем не менее в сотрудниках ощущался там большой недостаток, в особенности в корреспондентах, а по условиям тогдашней сибирской жизни отдел корреспонденций признавался наиболее существенным и важным, так как существовала настоятельная потребность в освещении всех темных сторон жизни этой обширной колонии и в огласке деятельности сибирских администраторов. Для подобной, столько же щекотливой, сколько и ответственной, работы нужны были люди, беспристрастные, добросовестные и даже мужеству которых можно было довериться. Стоявшие во главе обеих этих газет чрезвычайно преданные интересам Сибири люди (Загоскин и Писарев — в «Сибири», Адрианов и Муромов — в «Сибирской Газете»), правильно оценив положение вещей, принимали с распростертыми объятиями сотрудничество политических ссыльных, усиленно их к этому приглашали и, по мере возможности, оплачивали даже их труд тремя-пятью копейками за строку, хотя бюджет газет (при 1.000 — 1.500 подписчиков) был очень скромным.

Для меня лично сотрудничество в «Сибирской Газете» было особенно желательно и ценно потому, что одним из членов редакции этой газеты почти с самого ее основания состоял мой любимый друг, талантливый Феликс Вадимович Волховский. Не будучи лично знаком с другими, я мог быть уверен, что пока Ф. В. участвует в редакции, сотрудничество мое не встретит никаких чисто редакционных затруднений и что в пределах цензурной возможности я буду свободен в своей газетной деятельности.

В силу всех этих соображений я с большим удовольствием принял приглашение «Сибирской Газеты» и, прежде всего, поместил в ней тот статистико-экономический очерк города Кургана, который составлен был мною на основании личных наблюдений и материалов, собранных для меня Сидорацким. А затем я принялся за периодические корреспонденции.

4

Но и эта работа не могла, разумеется, вполне меня удовлетворить. Не мог же я, конечно, рассчитывать на возможность помещать в «Сибирской Газете» — газете еженедельной — больше одного-двух писем в месяц; а этого было во всех отношениях мало. Я мечтал о более систематическом изучении края, в который забросила меня судьба, и вместе с тем о такой работе, которая доставляла бы мне более верное материальное обеспечение. Судьба немного улыбнулась мне и в этом отношении.

Хотя Енисейск был и «окружной», а не «губернский» город, в нем (в отличие от многих других более крупных русских городов) имелась и 6-классная мужская прогимназия и полная 8-классная женская гимназия, не считая пяти низших учебных заведений. Преподавательский персонал этих учебных заведений, за ничтожными исключениями, был крайне неудовлетворителен и большею частью пополнялся лицами с средним образованием, пользовавшимися той или другой протекцией. В числе преподавателей этой категории был и некий П.—цкий, обучавший (и довольно неудачно) юнцов и юниц математике, спотыкаясь на каждом шагу при решении самых несложных задач. В своей учености он недалеко ушел от помощника енисейского исправника Б[атаревича], который как-то в обществе хвастался тем, что он был студентом Киевского университета по медицинскому факультету. Когда же один врач спросил, кто при нем в Киеве преподавал остеологию, он, не задумываясь, ответил, что в то время анатомия изучалась без остеологии...

Этот-то П.—цкий и явился как бы посланцем самой судьбы для осуществления столь сильно пленившей меня задачи.

Сравнительно незадолго перед этим Сибирский отдел географического общества распался на два отдела: Западно-Сибирский, с центром в Омске, и Восточно-Сибирский, с центром в Иркутске. Оба эти отдела в общем не мало ценного внесли в дело изучения Сибири и Востока вообще; но, в погоне за увеличением чи-

сла своих членов, а больше всего благодаря тому, что в качестве их «покровителей» состояли генерал-губернаторы Западной и Восточной Сибири по принадлежности, отделы вербовали членов без особенной разборчивости во всех ведомствах. — В том числе и между педагогами. Только этим и можно себе объяснить, что в число членов Восточно-Сибирского отдела географического общества попал П—цкий. Это, впрочем, было бы еще с полбеды. Но мириться, подобно многим другим чиновникам, одним лишь почетным званием П—цкий не хотел: он был настолько смел, что решил принять непосредственное участие в «ученых» работах отдела.

И вот он прежде всего ископотап для себя субсидию от Восточно-Сибирского отдела в несколько сот рублей для обследования в каникулярное время реки Енисея и побывал по несколько дней в городах Красноярске и Минусинске, наслаждаясь почестями, воздававшимися ему, как члену «императорского» географического общества и принимавшимся им на свой личный счет. Раздобыв несколько ценных книг по истории Сибири, он вернулся в Енисейск, не в шутку возомнив себя «ученым» и, повидимому, даже с серьезным намерением приняться за «ученый» труд. Однако ученый багаж его был настолько легковесен, что его работа ни на йоту не подвигалась вперед, хотя мечты о славе и лаврах ученого не давали ему покоя...

В один прекрасный день этот ученый муж нанес мне визит и предложил мне принять участие в совместной с ним работе по исследованию Енисейского края, причем я должен был составить исторический очерк, а он — географический. Вначале он предполагал было выпустить труд этот от своего имени с указанием лишь, что таковой-де составлен при моем участии, но потом он сдался и между нами заключено было такое (словесное) условие: так как другого источника существования у меня нет, то я, пока будет продолжаться работа, должен получать от П—цкого (из выданной ему от Отдела субсидии) по 30 руб. в месяц; когда же наш совместный труд будет окончен, он должен быть издан, как общая работа, с равным участием в гонораре, причем из моей доли будет вычтен полученный аванс.

Собрав все, что можно было найти в Енисейске в печатной литературе, я бодро и с энергией принялся за работу. Мы условились с П—цким, что обязательно собираемся еженедельно по пятницам и каждый из нас читает свою недельную работу для совместного обсуждения и общей редакции. В течение двух-трех месяцев я регулярно являлся каждую неделю к П—цкому с частью своей работы, П—цкий же, под всевозможными предлогами, все оттягивал ознакомление меня со своей работой, объясняя, что последняя подвигается у него очень туго — то вследствие усталости, то по болезни семьи, то из-за безотлагательных служебных поручений и т. д. Для меня ясно стало, что он решительно не в состоянии что-либо составить, что никаких

у него материалов по географии Енисея нет, что вся его задача сводится к тому, чтобы как-нибудь выпустить часть работы, принятую мною на себя, под общим нашим именем и этим оправдать себя перед отделом Географического общества и поддержать свой престиж, а там уже как-нибудь, под тем или другим благовидным предлогом, совсем увильнуть от работы. Участвовать в подобной мистификации я не хотел и категорически заявил П—цкому, что если он не представит хоть небольшую часть своей работы в течение двух-трех недель, то я буду считать наше (словесное) условие уничтоженным и предоставляю себе полную свободу действий по отношению к начатой мною работе. Прошел месяц. П—цкий не написал ни одной строчки. Я прекратил с ним и знакомство, и совместную работу, решив приурочить часть заготовленного мною труда к задуманному мною, по поводу приближавшегося тогда 300-летнего юбилея завоевания Сибири, очерку Енисейской губернии.

5

Параллельно с изучением Енисейского края я писал корреспонденций в «Сибирскую Газету» из местной жизни и составил, на основании бывших в моих руках документальных данных и печатных материалов, очерк о положении рабочих на золотых промыслах Енисейского округа. Очерк этот напечатан был (кажется, в 1882 г.) в журнале «Устои»⁶⁴, издававшемся (весьма короткое время) артелью литературных работников, во главе которой стояли (если память мне не изменяет) С. А. Венгеров и Н. Н. Златовратский.

Здесь же, в Енисейске, составлена была мною, на основании личных наблюдений и обильного фактического материала, для газеты «Сибирь» статья: «Колонизационное значение сибирской ссылки», в которой я, путем неопровержимых цифр, отметил совершенно ничтожное и чуть ли не отрицательное значение в колонизационном отношении сибирской ссылки и крайне деморализующее и развращающее влияние ее на местное население. Статью эту я отправил в редакцию журнала «Русская Мысль» (в котором она и была напечатана)⁶⁵ через посредство проживавшего тогда в Енисейске Максимилиана Осиповича Маркса, который — привлеченный по делу Каракова — пробыл несколько лет в ссылке в глухой и довольно дикой волости (Кежемской) Енисейского округа, затем переведен был в г. Енисейск, где существовал частными уроками и заведывал им же оборудованной метеорологической станцией. Ко времени прибытия моего в Енисейск Маркс был уже амнистирован и мог вернуться в Европейскую Россию, но без права жительства в Царстве Польском. Это он не находил возможным и оставался в Енисейске, перебиваясь кое-как уроками, хотя был уже очень стар и с довольно-таки надорванным здоровьем. «Политика» в сущности его, повидимому, никогда особенно не

занимала; мало интересовался он ею и в Енисейске, хотя был большой охотник до всевозможных анекдотов относительно разных высокопоставленных особ. Енисейские золотопромышленники чтили в нем человека, пострадавшего за свои убеждения, и считали своим долгом доставлять ему в той или иной форме средства к существованию, тем более, что он был хороший математик и знающий натуралист.

Маркс радушно принимал у себя политических ссыльных позднейших формаций, которые в большинстве своем неохотно, однако, посещали его, находя мало точек соприкосновения с ним, а в особенности с его семьей. Административные особы — исправник, его помощник, стряпчий — в дни больших праздников неизменно являлись к старику с визитами, отводя при этом душу в малых дозах «либерализма». Вскоре после прибытия моего в Енисейск чуть было не вышел со мною казус, который мог бы повлечь за собою неприятные для меня последствия.

На второй день пасхи сидел я у старика Маркса и, по случаю торжественного праздника, угощался прекрасной наливкой домашнего приготовления. И я, и Маркс вообще «не пили», но в данном случае мы «разрешили» себе и помаленьку потягивали крепкий польский напиток, причем Маркс смаковал свои анекдоты. Был я изрядно навеселе. Вдруг явился с визитом исправник и стряпчий. Я увильнул в соседнюю комнатку, где жена Маркса, пока он занят был гостями, продолжала угощать меня наливкой и преаппетитными «мазурками». Наугостившись вдоволь, я распрощался со старухой и собрался домой, но, как на зло, в передней столкнулся со стряпчим, который, будучи уже в довольно высоком градусе, бросился ко мне «христосоваться» по всей форме. Я, в ответ на его «Христос воскресе», сухо и задорно ответил: «Совершенно напрасно! Вы его, наверно, опять распнете». Присутствовавший при этом исправник сильно поморщился и поторопился уйти и увести с собою стряпчего.

На другой день я вызван был ранним утром в полицейское управление. Один-на-один исправник таинственно заметил мне: «Вы никому, ради бога, не рассказывайте о том, что вы вчера говорили стряпчему. За это ведь вас могут упрятать бог знает куда, да и нам со стряпчим не одобровать!» Разумеется, он тревожился не столько за меня, сколько за себя самого; я успокоил его, и инцидент этот был исчерпан.

Я должен при этом случае заметить, что поднадзорное положение ссыльных (политических) в Енисейске, как и вообще во всей Восточной Сибири, было гораздо более сносно, чем в Ялуторовске, Кургане и других городах Западной Сибири. Объясняется это как иным составом политических ссыльных, попадавших по воле судебных и административных учреждений в Восточную Сибирь, так и более самостоятельным и более общественно-стойким характером населения последней. Тароватые золо-

топромышленники и «именитые» купцы держали полицию в полной от себя зависимости, совершенно не считались со взглядами и воззрениями полицейских чинов и, находя выгодным привлекать к себе на службу политических ссыльных, делали это открыто, без всяких опасений. Мало того. В этом направлении поддерживала их часто и сама администрация, которая, в свою очередь, отнюдь не брезговала услугами политических ссыльных. Культурно-просветительное значение их для Сибири почти все администраторы признавали если не тотчас по прибытии в Сибирь, то в самом скором времени после поступления их там на службу.

Умственно-культурный уровень енисейского (как и вообще сибирского) населения был, однако, далеко не из высоких. Главным развлечением являлись здесь карты, в которые дулись целые ночи напролет. С этой целью устроен был даже в Енисейске весьма приличный клуб в собственном здании, а при нем была чистенькая и аккуратная сцена с недурными декорациями для театральных представлений и концертов, исполнителями на которых являлись главным образом любители. Карточная игра неизменно сопровождалась обильными возлияниями Бахусу, при не менее обильных всякого рода закусках.

В Енисейске пили вообще довольно жестоко. Пили все, и больше всего чиновники и именитые купцы. В редком доме при появлении гостей не устанавливался стол батареями бутылок всевозможных напитков. Свирена была в особенности настойка «зверобоя» — травы, произраставшей в обилии в Енисейском округе. Действие этой настойки пришлось мне испытать на себе по следующему поводу.

Уже и в то время — хотя еще о нашей теперешней своеобразной «конституции» речи не было — по высшим государственным соображениям стали водворять ссыльных в ужасном Туруханском крае, который, при колоссальной площади в полтора миллиона кв. верст, составляет самую северную часть Енисейской губернии, расположенную почти целиком за полярным кругом, до 78° северной широты. Край этот, значительнейшая часть которого состоит из неизмеримых тундр, заселен, конечно, до чрезвычайности редко: числилось в нем тогда всего навсего около 10.000 душ об. пола, или, в среднем, около одного жителя на 150 кв. верст. Политических ссыльных поселяли в административном центре этого края — в заштатном городе Туруханске, причисляемом (вместе с краем) к Енисейскому округу. Каков был этот «город», достаточно ясно из того, что в нем, расположенном под 65° 55' сев. широты, всех жилых строений было 35, всех жителей — 185 душ об. пола, всех городских доходов — 242 р., всех городских расходов — 213 рублей. Сообщения с этим несчастным краем были самые ужасные.

Раза два в год, во время навигации по Енисею (а она здесь очень кратковременна), туда отправлялись из Енисейска суда

и несколько частных пароходов, доставлявшие туда муку и разные товары, а также невольных пассажиров, и забиравшие оттуда пушной и рыбный товар. Хлеб составляет там почти недоступную роскошь, как и мясо. Кормятся почти исключительно рыбой, которая добывается в большом изобилии как туземцами, так и наезжающими арендаторами «песков». Беда только в том, что приходилось питаться почти исключительно тухлой рыбой, так как ее здесь не умели (вероятно, и теперь не умеют) готовить впрок и очень плохо ее солили, хотя одно время туда для обучения населения солке приглашен был из Гельгольанда специалист Бойлинг, которого я еще застал в Енисейске, где он доживал свои дни в большой бедности. Местное население до того уже привыкло к тухлой рыбе, что иногда предпочитало ее свежей, в чем я лично мог убедиться в некоторых енисейских рыбных лавках, где спрашивали рыбу «с душком», как лакомство...

И вот в этом-то замечательном Туруханске во время пребывания моего в Енисейске в числе некоторых других политических ссыльных томился южанин Хоржевский. Нас известили, что последний тяжело заболел и необходимо перевести его хоть в Енисейск, так как в Туруханске не было никакой врачебной помощи (туда раз в год наезжал на несколько дней доктор из Енисейска). Я взял на себя ходатайство о переводе Хоржевского у енисейского исправника, в ведении которого находился Туруханск. Помощник исправника Б[атарев]ч, исправлявший тогда должность исправника, поставил условием удовлетворения моего ходатайства — побывать у него в гостях и выпить у него зверобоя. Я должен был, скрепя сердце, согласиться. Настойка оказалась из очень приятных, но удивительной крепости, причем действует она совершенно своеобразно: опьянения в буквальном смысле слова не замечается, голова все время сохраняет полную свежесть и ясность, но постепенно тяжелеют ноги и как бы пригвождаются к полу.

Б[атарев]ч угощался из всех бутылок, установленных батареи на длинном столе, ничем почти не закусывая, и допился до того, что потребовал для себя «лоханку». Я же ограничивался одним «зверобоем» и обильно при этом закусывал, так что «лоханка» для меня не потребовалась. Однако ноги совсем почти отказались служить; пришлось спуститься с лестницы при помощи прислуги и добраться до дома на извозчике. На прощание Б[атарев]ч совсем заплетающимся языком заявил, что я обязан еще раз посетить его на другой день, иначе ходатайство не будет удовлетворено. Скрепя сердце, я опять явился на другой день и вновь испытал действие зверобоя. Когда же Б[атарев]ч потребовал, чтобы я пришел в третий раз, я энергически запротестовал и пригрозил телеграфной жалобой губернатору. Б[атарев]ч сдался, написал, подписал и при мне же отправил распоряжение о переводе Хоржевского, а я поехал на извоз-

чике домой, закаявшись повторять впредь подобные эксперименты*.

Народ в Восточной Сибири очень гостеприимный. Как только вы явились в гости, вас без угощения ни за что не отпустят. На стол ставятся напитки и яства, всякие сласти и неизменные кедровые орешки, с приглашением «побеседовать», т. е. угощаться этими орешками. Сибиряки ими так увлекаются, что готовы по получасу и больше их щелкать, не произнося при этом ни звука; потребность в беседе совсем устраняется. Вскоре после моего прибытия в Енисейск я отправился к одному некрошному золотопромышленнику Ч—ну. Я был принят весьма приветливо. Появились на столе кедровые орешки. В это время служащий позвал Ч—на по какому-то делу, и он, извинившись передо мной, попросил меня «побеседовать», а он скоро обещал вернуться. В первый раз я наткнулся на это выражение и был изумлен: с кем же мне «беседовать», когда я остался один? Вскоре это объяснилось.

. 6

Кроме компании Зака и семьи Маркса, в Енисейске проживали многие поляки, сосланные в Сибирь за то или иное участие в восстании 1863 г. Некоторым из них пришлось предварительно отбыть разные сроки каторжных работ, другие попали прямо на поселение или житье, а кое-кто угодили сюда в административном порядке.

Значительная часть этих поляков были уже амнистированы, но оставались в Енисейске, сжившись с новым краем и занимаясь здесь торговлей и промыслами или состоя на службе на золотых приисках и в разных других предприятиях и учреждениях. Были между ними люди разных профессий, между прочим врачи, которые занимались отчасти врачебной практикой, отчасти золотопромышленностью и торговлей.

Эта группа ссыльных поляков весьма мало интересовалась современной русской политикой, держалась совершенно в стороне от политических ссыльных позднейших формаций и погружалась целиком в интересы местной обыденно-практической жизни. Но при мне (точно не припомню, в 1881 или в 1882 году) прибыла в Енисейск группа сосланных в административном порядке молодых поляков совсем другого характера и направления: Балицкий, Черневский, Мондштейн, Галлерин, Геринги, Гласко, Конколович, Грабовский, Вериге. Это были уже представители польских социалистов, — если не ошибаюсь, предтечи (а может быть, и вдохновители) вскоре (через год или два) после них появившихся в Сибирь «пролетариатцев».

* Перевод Хоржевскому уже не помог: вскоре по прибытии в Енисейск он умер. Это была первая на моих глазах смерть в среде товарищей-ссыльных. Вскоре после этого скончалась в Енисейске в высшей степени симпатичная административно-сосланная (из Киева) Ш и р м е р.

Эта новая формация ссыльных поляков не только не чуждалась русских политических ссыльных, а жила с ними в полном согласии и мире, считая их своими ближайшими и наиболее естественными союзниками. Дом Герингов сделался центральным сборным пунктом для всех енисейских политических ссыльных без различия национальности и политической окраски. Сам Геринг был высокообразованный человек и тонкий знаток политической экономии, которую продолжал очень толково и серьезно заниматься. Его благородная, чрезвычайно отзывчивая и бесконечно добрая, мягкая и деликатная натура привлекала к нему всеобщие симпатии. В его доме почти ежедневно собирались члены местной колонии политических ссыльных, чтобы в дружеской беседе коротать свободное время. Умные, увлекательные, всегда научно обоснованные суждения Геринга по разным вопросам политической экономии и социологии бывали всегда весьма гажидательны и отличались меткостью и оригинальностью. Лично я состоял в наилучших отношениях со всей молодой польской колонией, которая, в свою очередь, относилась ко мне, как и ко всей колонии русских политических ссыльных, дружески и сердечно.

Геринг принадлежал к очень зажиточной варшавской семье. Он и жена его (урожденная Кон) получали из дома регулярно солидную денежную помощь, так что даже и при дороговизне енисейской жизни могли бы жить на свои средства довольно комфортабельно. Но оба они считали своим долгом помогать всем товарищам по судьбе, — да они, по бесконечной доброте своей, и не могли бы кому бы то ни было отказать в помощи. Поэтому они всегда во всем нуждались, вечно занимали деньги, постоянно закладывая ту или другую часть своего довольно ценного движимого имущества. Частенько встречал я милейшего Геринга мчащимся на извозчике с громадным узлом: это он, позаложив уже все более ценное, отправлялся к какому-нибудь ростовщику с частью носильного платья, чтобы раздобыть под заклад его несколько десятков рублей и иметь возможность заткнуть ту или другую дыру в своем хозяйстве, или чтобы оказать кому-либо из близких экстренную помощь до получения из дома денег.

Остальные члены молодой польской группы ссыльных хотя и не отличались зажиточностью, но получали из дома необходимые для существования средства, так что казенным пособием (кроме одного-двух) почти вовсе не пользовались.

7

В Енисейске же очутился и судившийся одновременно со мною по процессу 193-х и тогда оправданный Алексей Алексеевич Дробыш-Дробышевский. Он угодил в административном порядке в дикую и глухую Кежемскую волость Енисейского округа, откуда ему кое-как удалось перебраться в Енисейск. Здесь мы

прожили некоторое время на одной квартире, т. е. в одной комнате. Как и я, он принялся усердно практиковаться в литературной работе, пробуя свои силы на поприще критики. Это был человек очень начитанный и любознательный; он очень много работал над выработкой стиля. Трудолюбие его было изумительное. Он часто прямо поражал меня своей кропотливостью и своим терпением. В первое время он десятки раз переправлял и перерабатывал каждую строчку, им написанную; просиживал до 2—3 часов ночи, временами и целые ночи напролет. В конце концов ему-таки удалось выработать из себя очень полезного рецензента-критика. Он работал в сибирской печати, а впоследствии в поволжской, и его псевдоним «Уманьский» * приобрел в провинции почетную известность.

Незадолго до оставления мною Енисейска колония политических ссыльных этого города увеличилась некоторыми из ссыльных, проживавших прежде в губернском городе Красноярске. Вследствие доносов разных темных сил генерал-губернатор Восточной Сибири распорядился о выселении всех политических ссыльных из Красноярска, как из центрального трактового пункта, через который постоянно следовали партии ссыльных. Красноярцев распределили по другим городам губернии, и часть из них попала в Енисейск. Сюда переселены были сестры Рубанчик, из коих старшая была замужем за бывшим студентом Козловым, а младшая занималась часовым мастерством, доставлявшим ей довольно солидный заработок; девушка Клейн, нажившая в ссылке чахотку и в скором времени нашедшая могилу в Енисейске; двоюродный брат жены Геринга, Макс Гальперин, сведущий натуралист и прекраснейший человек. Енисейская колония стала довольно многочисленной (по масштабу того времени), и жизнь кое-как разнообразилась взаимным общением и более или менее интересным времяпрепровождением. Некоторые продолжали усердно заниматься предметами своей специальности, некоторые пополняли свое образование усиленным чтением.

8

Я усердно работал над статистико-публицистическими очерками Енисейской губернии, черпая для них материалы из разных сочинений, из местных органов печати за все время их существования и из личных наблюдений.

В виду предстоявшего в 1884 г. трехсотлетнего юбилея завоевания Сибири красноярская городская дума объявила конкурс на сочинение по истории Енисейской губернии. Для такого специального труда у меня материалов не было, но я полагал, что если к назначенному сроку не будет представлено специальное исследование, то дума найдет целесообразным и возможным пре-

* Называю его, так как он многократно был разоблачен в печати.

мировать мою работу, посвященную освещению разных сторон жизни Енисейской губернии, тем более, что, вместо вступления к моим очеркам, я предпослал им составленный мною общий исторический очерк всей Сибири за все 300 лет ее существования.

Первые главы этих «очерков»⁶⁶, высланные мною еще из Енисейска, печатались в «Сибирской Газете»; затем вся рукопись, препровожденная мною в красноярскую городскую думу, была ею премирована, а редакция «Сибирской Газеты» отпечатала ее отдельной книжкой, в виде бесплатного приложения к газете, с предоставлением красноярской думе определенного количества экземпляров. К этому времени я уже был, впрочем, в Томске.

Когда верховная комиссия под председательством гр. Лорис-Меликова пересматривала дела об административно-ссылных, она не нашла никаких оснований к принятой против меня, С. Жербунева и Чернявских административной каре — высылке из Западной Сибири в Восточную, — и распорядилась об освобождении нас из административной ссылки, т. е. о предоставлении нам права вернуться к *statu quo ante* — вернуться в Тобольскую губернию, согласно приговора суда, и именно в Ялуторовск, первоначально нам назначенный. Енисейская администрация распоряжение это поняла (как и во многих других случаях) совершенно своеобразно. В один прекрасный день я был приглашен в енисейское окружное полицейское управление; там мне объявили распоряжение комиссии и потребовали, чтобы я собрался в путь, так как я-де подлежу отправке в Ялуторовск *э т а п н ы м п о р я д к о м!*..

Читатели уже знают, что в культурно-просветительном отношении и в смысле возможности заработка и какого-либо материального обеспечения Енисейск имел большие преимущества перед Ялуторовском. Для меня не представляло решительно никакого интереса обратное переселение в Ялуторовск, да еще этапным порядком, что потребовало бы около двух месяцев времени и сопряжено бы было со всевозможными тяжелыми неудобствами. Я заявил, поэтому, енисейскому исправнику К[алини]ну, что я отказываюсь от права возвращения в Западную Сибирь. К[алини]н серьезным и строго-начальническим тоном заявил мне, что такова «воля высшего начальства» и что я обязан подчиниться этой воле. Больших усилий и большого труда стоило мне поколебать этого мудрого администратора в его государственных соображениях, хотя я на все лады доказывал ему, что отмена наложенной в административном порядке кары и сопутствующее этой отмене право возвращения в Западную Сибирь являются по отношению ко мне и моим товарищам *с м я г ч е н и е м* участия и «милостью», а от того и другого каждый, как говорит элементарная логика, в праве отказаться. Добился я лишь одного: исправник согласился *о т с р о ч и т ь* отправку мою в Ялуторовск до получения ответа на докладную записку, отправлен-

ную мною через него министру внутренних дел⁶⁷. Последний с доводами моими, конечно, согласился, и я остался в Енисейске, где в общем мне пришлось пробыть около двух лет.

Тем временем возникая в начале 1881 г. в Томске «Сибирская Газета» успела пустить прочные корни. Редакция ее состояла из людей убежденных, ставивших себе задачей служить, по мере сил и возможности, интересам своей родины, стараясь приобщить ее ко всем благам западно-европейской культуры. Основана была газета небольшим кружком томской интеллигенции, во главе которого стояли бухгалтер томского отделения государственного банка Иннокентий Гаврилович Муромов и пионер книжной торговли в Сибири, искренний и в высшей степени энергичный ревнитель просвещения, книгопродавец Петр Иванович Макушин, — официальный издатель. Редактором юридическим и фактическим приглашен был из Иркутска молодой натуралист Александр Васильевич Адрианов, человек не с особенно широким публицистическим горизонтом, но безукоризненно честный, с весьма твердыми и устойчивыми прогрессивно-демократическими убеждениями. Впрочем, редакция «Сиб. Газ.» была не единоличной, а коллегиальная: в состав редакционной коллегии, кроме Адрианова, Макушина и Муромова, входили еще чиновник томской контрольной палаты Адам Михайлович Войцеховский, а затем и Феликс Вадимович Волховский, заведший в газете отдел оригинального фельетона.

Главная сила «Сибирской Газеты» лежала в многочисленном контингенте корреспондентов, рекрутировавшемся преимущественно из среды политических ссыльных, разбросанных по всем углам Западной и Восточной Сибири. Они беспощадно выводили на свежую воду все злоупотребления, все беззакония и все язвы, которые тогда подтачивали нормальную жизнь Сибири. «Сибирская Газета» стала грозой для всех мелких и крупных насильников, для взяточников и хищников, опутавших крестьянскую и мещанскую массу тонкой паутиной грабительства и вымогательства. Гроза эта становилась особенно чувствительной, когда разные мелкие и отрывочные сообщения корреспондентов попадали в фельетонную отделку Волховского — в его «зигзаги» или «сказки». Псевдоним его — «Иван Брут» — стал скоро очень популярен во всей Сибири и вызывал в мире захолустных чиновников панику и скрежет зубный...

Я работал в «Сиб. Газ.» случайно, преимущественно как бытописатель г. Енисейска. Но роль «корреспондента», как она ни почтенна и необходима, особенно в Сибири (в описываемое время), не удовлетворяла меня. Мне хотелось примкнуть теснее к редакционной коллегии и получить возможность непосредственно влиять на всю физиономию газеты.

И вот я задумал переселиться в Томск. Но как это сделать? В Енисейске я состоял под гласным надзором полиции и, как *п о д н а д з о р н ы й*, не имел права на передвижение без на-

длежащего на то разрешения. Хотя я в Восточной Сибири остался добровольно, но, раз зачисленный в ссылки этой полосы Сибири, я мог передвинуться в Западную Сибирь не иначе, как с разрешения министра внутренних дел или, вернее, с разрешения департамента полиции. Особенно трудно было надеяться получить разрешение на переселение в губернский город Томск, в котором сосредоточены были многие учебные заведения и должен был в скором времени открыться первый сибирский университет.

Нужно было действовать окольным путем.

Во главе департамента полиции стоял в то время столь прославившийся впоследствии Петр Николаевич Дурново. В кругу тогдашних ссыльных известно было, что влияние и значение последнего были обширны в ведомстве министерства внутренних дел вообще, а в особенности при решении вопросов, находившихся в непосредственном ведении этого департамента. Ходатайствовать прямо о переводе в Томск значило бы сразу и наверняка проиграть дело. Я обратился поэтому к министру внутренних дел с прошением о разрешении мне временной отлучки в г. Томск для лечения глаз, так как тогдашний инспектор томской врачебной управы считался лучшим специалистом Сибири по глазным болезням. Одновременно с этим прошением я отправил конфиденциальное письмо на имя П. Н. Дурново, в котором просил его непосредственного содействия в скорейшем удовлетворении моего ходатайства. Мотивируя последнее болезнью глаз, я, собственно говоря, мало погрешил против истины, так как мое зрение было значительно ослаблено во время продолжительного одиночного заключения по российским тюрьмам и в Петропавловской крепости.

Не долгие, как недели через три (а в то время почтовое сообщение в оба конца между Енисейском и Петербургом требовало приблизительно столько времени), получено было уже распоряжение департамента полиции о разрешении мне временного переселения в Томск для излечения глаз — и переселения не на казенный счет в этапном порядке, а, по моему усмотрению, на свой счет.

Я опять воспрянул духом. Стало быть, проживем еще!

Я добыл необходимые на переезд в Томск средства (поездка на почтовых из Енисейска в Томск, при расстоянии около 800 верст, требовала при наличности «попутчика» около 25 рублей), наскоро собрался, получил из полицейского управления «проходное свидетельство», распрощался с енисейскими товарищами и весной 1883 года отправился в Томск⁶⁸.

ГЛАВА XII

1

Путешествие из Енисейска в Томск на положении почти свободного человека, с «проходным свидетельством», но без проводных конвоиров, доставило мне очень большое удовольствие. Путь этот — в 800 верст с небольшим — на хороших сибирских лошадях совершен был мною в трое суток с самыми краткими остановками на уютных сибирских почтовых станциях и с немного более продолжительными остановками в трактовых городах — Канске и Мариинске, в которых проживали ссыльные.

На четвертые сутки я был уже в Томске, на квартире моего заочного приятеля — Ф. В. Волховского.

После последней разлуки моей с ним в Ялуторовске прошло около четырех лет. Время это Волховский провел в захолустнейшем глухом городишке Тобольской губернии, где он похоронил горячо его любившую и им любимую мать, последовавшую за ним в ссылку. В этой глухой дыре Волховскому пришлось выдержать крайне упорную борьбу за существование, но, закаленный непрерывными и многолетними житейскими невзгодами, друг мой духом не падал, он превратился в маляра: красил полы, писал вывески, которыми, благодаря ему, украсилась значительная часть школ Тюкалинского округа, — словом, не брезгал самым тяжелым трудом и в поте лица своего зарабатывал на существование свое и своих близких, твердо уповав на лучшее будущее. В Тюкалинске же Волховский сблизился с водворенной там же ранее его осужденной по процессу 50-ти («Большой московский процесс») Александрой Сергеевной Хоржевской. Они полюбили друг друга, стали скоро мужем и женой, и это значительно скрашивало тяжелое бремя ссылки.

Переселившись в Томск, Ф. В. Волховский опять воспрянул духом. Он вновь очутился в родной, симпатичной ему стихии: он вошел полноправным членом в состав редакции «Сибирской Газеты», получив в полное свое распоряжение отделы фельетона и литературы.

О возникновении этой газеты в начале 1881 г. мне пришлось уже упомянуть. Здесь я должен подольше на ней остановиться в виду той серьезной роли, какую она сыграла для Сибири.

До нее на всю нашу обширную зауральскую окраину существовала одна небольшая еженедельная газетка «С и б и р ь», которую редактировали бывший педагог Загоскин и племянник его, доктор М. Я. Писарев. Это была хорошая, честная газета, разрабатывавшая все серьезные вопросы сибирской жизни. Издавалась она в г. Иркутске и, при тогдашних первобытных путях сообщения, в дальние углы Западной Сибири попадала с весьма значительным запозданием. Притом она обслуживала, если не исключительно, то главным образом Восточную Сибирь, слегка лишь и поверхностно затрагивая жизнь Западной Сибири.

И вот один из наиболее энергичных в то время ревнителей просвещения в Западной Сибири, Петр Иванович Макушин, человек денежный и с солидным кредитом, изъявил готовность примкнуть в качестве официального издателя и ответственного редактора к новому еженедельному органу — «Сибирская Газета», который должен был издаваться в Томске преимущественно для западно-сибирского района группой интеллигентных сибиряков, горячо преданных интересам обойденной окраины России — Сибири, в течение целых трехсот лет обреченной на роль непопулярной и обижаемой падчерицы. К трем, так сказать, кровным сибирякам — А. В. Адрианову, П. И. Макушину и И. Г. Муромову — по их приглашению присоединились: сосланный по польскому восстанию 1863 г. А. М. Войцеховский, чиновник томской контрольной палаты, чрезвычайно корректный и щепетильно-честный человек, и мой друг Ф. В. Волховский.

Это было, так сказать, редакционное ядро, к которому примыкал обширный контингент сотрудников, преимущественно из разбросанных по всей Сибири политических ссыльных. Оторванные от родины, очутившись вдали от всего для них дорогого, они относились к «С. Г.», как к своей газете, и старались служить ей верой и правдой в качестве корреспондентов и составителей очерков отдельных районов Сибири, в которые судьба забросила их помимо воли и желания. «Сибирка» составляла предмет нежной симпатии сотен изгнанников, всячески стремившихся внести в нее свою лепту, безбоязненно разоблачавших на ее страницах злоупотребления и насилия местных помпадуров и держиморд, хищничества и изощренную эксплуатацию сибирских кулаков.

При возникновении «Сиб. Газ.» участвовал в ней и немало помог своим опытом и своими практическими советами бывший редактор петербургской либеральной газеты К[орш]. Человек бесспорно умный и талантливый, с громадной трудоспособностью, он стал жертвой своей беспринципности и бесхарактерности, и, будучи адвокатом, очутился в Томске, как уголовный ссыльный. Здесь он на первых порах вел труженический и корректный образ жизни и примкнул также к «Сибирской Газете». Но он скоро разошелся с главарями последней в самом коренном для них вопросе — в вопросе о роли уголовной ссылки и о

значении ее для Сибири. В то время как первые в этой ссылке видели крупнейшее зло для своей родины и один из существенных источников ее деморализации и развращения, К[орш] признавал эту ссылку важным культурно-просветительным началом для Сибири, не делая в этом отношении никакого различия между нею и политической ссылкой, которая, действительно, по общему убеждению сибирских писателей и сибирского общества, сослужила Сибири громадную культурно-просветительную службу. Недаром же здесь повсеместно произносились с глубоким уважением и даже с умилением имена декабристов, петрашевцев, народников и др.

Когда я прибыл в Томск, К[орша] уже давно не было в составе редакции «Сиб. Газеты». Фактическим редактором последней был А. В. Адрианов — молодой натуралист, посвятивший себя исследованиям пограничных уголков Сибири при материальном содействии Географического общества. Отделом «внутренним» (русские известия и пр.) заведывал бухгалтер томского отделения государственного банка И. Г. Муромов, человек в высшей степени живой и идейный. Иностранный отдел представлен был уже упомянутому выше А. М. Войцеховскому, хорошо владевшему иностранными языками, живо интересовавшемуся европейской политикой и зорко за ней следившему. Городскую хронику вел скромный чиновник контрольной палаты Пыжнов. Наконец, фельетон и беллетристика всецело предоставлены были Волховскому, который являлся украшением газеты.

Специального «передовика» в газете не было. А между тем чувствовалась потребность в разработке общих вопросов социально-экономического характера. Тогда как раз ставилось на очередь усовершенствование путей сообщения в Сибири, улучшение ее судоходства, развитие ее торговли и промышленности. Прибыв в Томск, я примкнул к «Сиб. Газете» преимущественно в качестве «передовика», который должен был давать статьи по экономическим и социальным вопросам как общетеоретического характера, так и в применении специально к Сибири. Я всецело отдал себя этому симпатичному для меня делу и стал членом тесного редакционного кружка, коллегиально обсуждавшего все принципиальные статьи и вообще все наиболее существенные стороны своеобразной сибирской жизни.

Первым цензором «Сиб. Газеты» был томский губернатор М[ерцалов]. Надо отдать ему справедливость: он много способствовал разрешению ее издания, лелея, повидимому, тайную надежду приобрести в «Сиб. Газ.» свой, так сказать, лейб-орган, который популяризировал бы его, как либерального и талантливого администратора. В этих видах он, вероятно, и принял цензуру газеты непосредственно в свои руки. «К р а с н ы й к а р а н д а ш» некоторое время в его руках бездействовал, и редакция работала весело, бодро и с подъемом. Но, увы, медовому месяцу скоро настал конец. Не помню, по какому поводу, накануне

выхода в свет одного из номеров «Сиб. Газ.» М[ерцалов] заехал в редакцию и попросил А. В. Адрианова выбросить из номера какую-то заметку. Адрианов предложил ему произвести эту операцию лично и зачеркнуть эту заметку своею рукой по праву цензора. М[ерцалов] скорбно-патетически ответил приблизительно так: «Знаете, это для меня очень тяжело, я слишком люблю и ценю печатное слово, и рука моя на него не поднимется», — и с тем уехал. Номер вышел, конечно, с этой неудобной для губернатора заметкой. Либерал-губернатор вызвал к себе для объяснений Адрианова и сухо-официально, с нескрываемым раздражением, сказал ему: «Что же вы наделали? Ведь я же убедительно просил вас выбросить эту заметку!» Адрианов резонно ответил ему на это: «Согласитесь, ваше превосходительство, если вам, губернатору, при обязанностях цензора, тяжело покуситься на печатное слово, то как же мне, редактору и журналисту, принять на себя ради любезности такую незавидную роль?» М[ерцалов] сухо распрощался с Адриановым, и с тех пор между ним и редакцией «Сиб. Газ.» установились очень натянутые и официально-деловые отношения.

Тем не менее цензурные условия были сравнительно довольно мягкие как при М[ерцалове], так и при исполнявших впоследствии обязанности цензоров «Сиб. Газ.» — председателе томского губернского правления Петухове и старшем советнике губ. правления Николаеве. Совсем в ином положении очутилась «Сиб. Газ.» в то время, когда, в отсутствие губернатора, исправлявший его должность управляющий томской казенной палатой Г[иларов] цензировал газету. Этот завзятый реакционер, убежденный поклонник Каткова, прямо душил «Сиб. Газ.», — придирался к каждой фразе, к каждому слову. Он не ограничивался тем, что предоставлял «красному карандашу» безгранично широкий простор, но уснащал корректуры самыми непозволительными и даже издевательскими замечаниями: «держи карман», «как бы не так», «вишь, чего захотел», «прежде надо знать, а потом писать», «это еще посмотрим» и т. п. При цензировании одного номера Г[иларов] так свирепствовал, что редакция, в виде протеста, выпустила номер с белой страницей вместо изуродованной передовой, а зачеркнутые в других статьях места заполнила строками многоточий⁶⁹. По телеграфному представлению обозлившегося Г[иларова] главное управление по делам печати строгойше воспретило редакции выпускать впредь в таком виде номера, требуя, чтобы хирургические операции цензуры оставались тщательно скрытыми от публики.

Все-таки, повторяю, внешние условия выхода «Сиб. Газ.» были, в общем и сравнительно, довольно сносны. Около этого времени цензура провинциальных газет (там, где не было специальных цензоров) возложена была на вице-губернатора, а в Сибири — на председателей губернских правлений, каковым в Томске в то время состоял Петухов. Этот чиновник, не-

смотря на свое ограниченное образование (он, кажется, окончил лишь семинарию), все-таки любил печатное слово и, всячески оберегая себя от ответственности, не позволял себе излишних придиорок и бесцельного угнетения газеты, пуская в ход «красный карандаш» лишь тогда и в тех случаях, когда этого требовало, по его мнению, оберегание собственной личности, приговаривая обыкновенно при этом: «Сибирку я люблю, а шкура моя мне все же ближе». Так же относился к делу и исправлявший в его отсутствие (или при замещении им должности губернатора) старший советник губернского правления Николаев. Оба они строго придерживались цензурного устава и не считали себя призванными усиливать скорпионы последнего своими собственными измышлениями. Правда, это не спасало их от довольно частых замечаний со стороны главного управления по делам печати, а Николаева однажды хотели даже уволить «по третьему пункту», и лишь непосредственное заступничество находившегося тогда в Петербурге губернатора спасло его от этой кары. Не могу не заметить, что сам Николаев при этой okazji был в крайнем недоумении: «Помилуйте, — говорил он нам совершенно растерянный, — по цензурному уставу я не имел ни основания, ни права не пропустить такой статьи, так как она — сама истина, и право я не знаю, если мне впредь представлена будет подобная статья, найду ли я возможным, по-совести, не пропустить ее!» В то «дореформенное время» еще не додумались до того, что руководствоваться следует не совестью, не законами, а лишь взглядами «сфер»...

Словом, цензура не лишала «Сиб. Газ.» возможности служить интересам Сибири. Газета усиленно разрабатывала все насущные вопросы русской жизни вообще и сибирской — в частности. Мы, сотрудники, встречали большую поддержку и ободрение в читающей публике: неоднократно по многим поводам многие в бесхитростных и искренних письмах выражали нам свое сочувствие и свою солидарность. Разоблачения на страницах «Сибирской Газеты» заставляли многих уменьшать свои хищнические аппетиты, сокращать свое самодурство и свой начальственный произвол...

Смертельного, беспощадного и сильного врага «Сиб. Газ.» встретила в представителе того ведомства, которое, призванное официально «просвещать», по фатальной иронии судьбы шло почти всегда вразрез со всем прогрессивным и свободолюбивым, рука об руку с мракобесием и ретроградством, — в профессоре Флоринском.

Этот ученый, подвизавшийся в шестидесятых годах на страницах радикального «Русского Слова», с поворотом официальной России на путь реакции круто повернул фронт. Когда решено было открыть университет в Томске, Флоринский, бывший до тех пор профессором в Казани, был назначен ректором университета. По его настояниям «Сибирская Газета» сна-

чала несколько раз подвергалась временным приостановкам, а потом была запрещена навсегда.

Таким образом, эта газета, сконцентрировавшая около себя почти все интеллигентные силы Западной Сибири, просуществовала около семи лет. Воспоминания о ней и о ее работниках принадлежат к числу наиболее ярких и светлых на пройденном мною длинном житейском пути. Она не блистала выдающимися талантами, она не была свободна от многих ошибок и промахов, но она с первого момента своего возникновения до последнего издыхания была идеально чиста и бескорыстна. Ее работники смотрели на свою миссию, как на подвиг; «Сибирка» была для них святыней и храмом, в который можно вступать лишь молитвенно и коленопреклоненно...

Окончательное закрытие «Сибирской Газеты» последовало в 1887 году⁷⁰, когда меня в Томске уже не было, а место мое в редакции замещено было разносторонне образованным и высокодаровитым Дмитрием Александровичем Клеменцом, раньше жившим в административной ссылке в Минусинске. Я должен теперь вернуться немного назад, к некоторым воспоминаниям из этого периода пребывания моего в Томске.

2

Кроме Волховских, я застал в Томске в составе колонии политических ссыльных еще нескольких лиц из последней, так сказать, формации: Степана Васильевича Мокиевского-Зубок и жену его Надежду (урожд. Субботину), Максимилиана Семеновича Мороза, Владимира Петровича Александрова с женой Лидией (урожд. Николаевой) и из «каракозовцев» — Болеслава Петровича Шостаковича. Проживали в Томске и некоторые из сосланных по польскому восстанию, но они, за весьма малыми исключениями, стояли совершенно в стороне от нашей колонии. Уже при мне в Томск прибыли сестры Корниловы — Любовь Ивановна (по мужу Соловьева) и Александра Ивановна — молодая девушка, Марья Николаевна Присека, младший Мороз — Иван Семенович, князь Александр Алексеевич Кропоткин, Ульяновы, Шульц, Млодецкий, «каракозовец» Петр Федорович Николаев и талантливый журналист, бывший редактор журнала «Дело», Константин Михайлович Станюкович.

В отличие от ссыльных, расселенных по мизерным сибирским городкам (разным Ялуторовскам, Тарам, Тюкалинскам, Ишимам и т. п.), проживавшие в Томске «политические» не чуждались местного культурного общества и, отнюдь не поступаясь своей политической физиономией, входили с последним в тесное общение, стараясь принимать участие в местной культурной работе, насколько это не встречало препятствий со стороны власти имущих.

Помимо указанного уже деятельного участия в «Сиб. Газете», товарищи мои по ссылке почти все были членами местного о б-

щества попечения о начальном образовании. Общество это учреждено было по инициативе Петра Ивановича Макушина (с его легкой руки подобные общества вскоре возникли во многих сибирских городах, объединяя все мало-мальски культурные элементы). Годовой членский взнос этого общества был настолько невысок (один рубль), что нетрудно было вербовать членов и в среде малосостоятельных людей, и общество было довольно многочисленное. В Томске, например, где в мое время население не превышало 40.000 человек обоего пола, или около 8.000 семей, общество попечения о начальном образовании насчитывало, если память мне не изменяет, около 1.000 членов, — цифра, бесспорно, очень высокая, если сравнить это общество с аналогичными обществами в самых крупных русских городах. Благодаря выдающейся энергии и чисто американской инициативе его учредителя, на средства этого общества, составлявшиеся, помимо членских взносов, из сборов с концертов, лекций, спектаклей и т. п. (бюджет об-ва в мое время простирался, если не ошибаюсь, до 8—10 тыс. р.), приобретались учебные пособия для учащихся городских начальных училищ, снабжались одеждой и завтраками беднейшие из них, и даже всецело содержались одно или два училища. Почти все члены местной колонии «политических» состояли членами этого общества и принимали в нем деятельное участие; если не ошибаюсь, Мокиевский-Зубок состоял даже членом его совета. Обстоятельства, однако, скоро изменились. Жандармскому начальству (не обошлось дело, кажется, без инспирирования со стороны ведомства «просвещения») такое активное участие «крамольников» в просветительном деле пришлось не по вкусу, и губернатор, по его настоянию, потребовал от председателя общества, чтобы все «политические» исключены были из списка членов общества. Макушин отказался подчиниться этому требованию, как не основанному на уставе (такого пункта тогда в последнем не было), а предложил губернатору, чтобы тот сам (буде находит это нужным и согласным с законом) вычеркнул этих лиц из списка и указал бы, кто именно и почему не может оставаться членом общества. Дело затянулось, губернатор колебался, а тем временем «политические» сами, во избежание нежелательных осложнений для симпатичного дела, вышли из состава общества.

Я не могу не остановиться немного на П. И. Макушине, как на весьма характерной и своеобразной личности.

Уроженец Пермского края, Макушин явился в Сибирь еще молодым студентом духовной академии (не окончив, кажется, курса), в составе членов бийской духовной миссии, в задачи которой входило обращение в христианство инородцев Алтайского края и пограничного с Сибирью района. Однако деятельная, полная кипучих сил натура Макушина не могла удовлетворяться деятельностью миссионера, и он, переселившись в

Томск, решил посвятить себя делу просвещения на гораздо более широком поприще — в форме распространения школы и книги. Человек бедный, он сумел заинтересовать богатого томского купца Михайлова и в компании с ним открыл первый в Сибири книжный магазин, организовав при этом дело так искусно, что скоро завоевал книжный рынок по всей Сибири, снабжая учебными и всякого рода другими книгами, а также учебными пособиями, и Западную и Восточную Сибирь и оставаясь в течение многих лет единственным сибирским книгопродавцем. Затем Макушин единолично уже открыл в Томске при своем книжном магазине первую в Сибири библиотеку для чтения с прекрасным подбором книг по всем отраслям знания. Наконец, уже впоследствии, Макушин открыл первую обширную частную типо-литографию.

Одновременно с энергичным распространением книги, при котором, правда, немалую роль играло и стремление к личному материальному обеспечению, Макушин всячески работал в пользу развития школьного дела и распространения народного образования (преимущественно начального) в городах и селах Сибири. С этой целью и было основано общество попечения о начальном образовании, девизом которого было: «*н и о д н о г о н е г р а м о т н о г о*».

В день прибытия моего в Томск я сразу наткнулся на яркий эпизод из деятельности Макушина: по празднично разукрашенным улицам Томска двигалась обширная процессия в несколько сот детей со знаменами, на которых красовалась симпатичная и красноречивая надпись: «*Ни одного неграмотного!*» В детской процессии находилась и масса взрослых обоего пола. Эта громадная, празднично настроенная толпа направлялась, при торжественных звуках впереди шествовавшего оркестра, к зданию городской думы. Это был школьный праздник, ежегодно устраиваемый Макушиным. Таких хороших, светлых «праздников» я в России до тех пор не встречал и с великим душевным наслаждением принял в нем сердечное участие. Чувствовалось, что в этом празднике сошлись воедино и стар и млад, люди разных состояний и званий и что «школа» в томском населении уже вполне популяризована. И я не могу не констатировать, что самым главным ее популяризатором явился именно П. И. Макушин. Правда, сибирская почва, на которой работали декабристы, петрашевцы и многие другие политические изгнанники, в значительной степени уже была подготовлена для такой пропаганды, но значение деятельности Макушина несколько от этого не умаляется.

Многие обвиняли Макушина в том, что он всегда и везде преследовал личные свои интересы, что, стремясь к насаждению школ, к расширению контингента учащихся, он заботился в сущности лишь о себе, так как параллельно с этим должен был расширяться и сбыт книг и пособий, которыми он торговал с

большими для себя барышами; что он эксплуатировал при этом служащих магазина и библиотеки, рабочих и наборщиков открытой им типографии и т. п. Обвинения эти, по моему мнению, не основательны. Книжный магазин, конечно, открыт был Макушиным с целью извлечения материальных выгод, да иначе и быть не могло: компаньон его — Михайлов — без этого условия не согласился бы вложить в дело значительную часть своего капитала, а без Михайлова немислимо было бы и самое открытие магазина. Но Макушин был весь проникнут стремлением к расширению образования в народной среде, и ему, благодаря замечательной энергии и выдающейся инициативе, удалось сделать в этом отношении очень многое. Заботы Макушина о расширении школьной сети, об улучшении положения учащихся и учащихся в начальных училищах были, без сомнения, совершенно бескорыстны и чисто идейны. Нельзя же допустить, чтобы такой деловой человек, как Макушин, стал искать фундамент для своего материального благополучия в двух-трех десятках начальных школ, общий расход которых на учебники и учебные пособия не превышал, вероятно, 5—6 тысяч рублей в год! Я пишу эти воспоминания с лишком через 25 лет после личного столкновения моего в Томске с Макушиным. Его позднейшая деятельность и дошедшие недавно до меня газетные известия о последнем его шаге подтвердили справедливость моего взгляда: Макушин предоставил в распоряжение городского управления капитал в сто тысяч рублей на учреждение в Томске народного университета.

3

Благодаря либерально настроенному губернатору М., политическим ссыльным в Томске жилось сравнительно довольно вольготно. Полиция «надзор» свой осуществляла в легкой и приличной форме, местные обыватели политических не боялись и не чуждались, даже добивались знакомства с ними, в приискании занятий не ставилось им никаких преград, и почти все нуждавшиеся в заработке без особого труда его в Томске находили.

Такое положение вещей не изменилось и при новом губернаторе К[расовском].

Это был интересный тип российского помпадур «доброе старое время». Неудачный участник Крымской кампании (в качестве адъютанта при командующем армией), К[расовский] впоследствии попал в инспекторы Московского университета и на этом посту приобрел в Москве обширную популярность, которая еще более возросла, когда он перешел на службу в министерство внутренних дел, заняв пост московского вице-губернатора. По словам К[расовского], он очень неохотно согласился променять пост московского вице-губернатора на пост томского губернатора, так как Москва для него была то же, что вода для

рыбы. «В Москве, — с большой экспрессией говорил К[расовский] всем, с кем только ему приходилось сталкиваться, — меня все знают; там нет той бабы, того мужика, которые бы меня не знали. Если бы я сегодня явился в Москву и вошел бы в любой театр во время представления, последнее, наверное, немедленно приостановилось бы, так как, я уверен, все, как один человек, закричали бы: «Вот Иван Иванович пришел!» — и бросились бы наперерыв пожимать мою руку. «Но, — прибавлял он с напущенной важностью, — не мог я отказать своему государю, когда он, сидя около меня, как я сижу теперь около вас, обратился ко мне с такими высокомиловидными словами: губернатором в Томск я могу назначить только самого бескорыстного и самого честного человека. Вы, Иван Иванович, и должны туда поехать». Разумеется, все понимали, что в этих словах не мало преувеличений, но все прощали ему его тщеславие, как в сущности мало для кого вредное.

Этот своеобразный администратор отличался одновременно и добродушием, и чиновничьей пронырливостью. Самой слабой его стороной была страсть к популярности, неудержимая страсть к тому, чтобы о нем все говорили и писали, чтобы в России, а в особенности в Москве, знали и говорили о его «плодотворной» деятельности. Вот почему он всячески старался заводить тесное знакомство с сотрудниками местных газет и в особенности с корреспондентами столичных газет, или с теми, кого он такими считал, так как не все, понятно, находили удобным заявлять открыто о своей корреспондентской деятельности. Вскоре после прибытия своего в Томск К[расовский] пригласил меня к себе и передал мне в дружеском тоне «поклон» от редактора «Русских Ведомостей» Соболевского, который перед отъездом К[расовского] из Москвы сообщил-де ему, что в Томске корреспондентом «Р. В.» состою я, и просил его оказывать мне всяческое содействие, на которое я-де и могу вполне рассчитывать. Я ни на минуту не сомневался в том, что Соболевский, которого лично я вовсе не знал и с которым никогда не встречался, этого сказать не мог, да и не имел права сказать. К[расовский] узнал о моем корреспондировании, так сказать, домашним способом, и ему захотелось задобрить меня, чтобы я, из признательности, пославословил его в московской газете.

В отношении к местной администрации «Сибирская Газета» твердо придерживалась того принципа, чтобы в пределах цензурной возможности разоблачать ее злоупотребления и хищнические проделки и при этом никоим образом не расхваливать редких и случайных приличных администраторов, дабы афишированием исключений не вводить в заблуждение читателей и не сбивать их с правильной точки зрения. Крайне недовольный тем, что «С. Г.» уделяет так мало места его административной деятельности, К[расовский] пригласил к себе однажды А. В. Адрианова и обратился к нему с упреком: «Вы вот подхватываете все некра-

сивые поступки чиновников, беспощадно их разоблачаете, а когда администрация делает что-либо хорошее и полезное, вы не считаете нужным поощрить ее на этом пути добрым словом». Адрианов, со свойственной ему искренностью и прямолинейностью, ответил: «Наша газета принципиально оппозиционная, а раз мы станем изображать администрацию в хорошем и симпатичном свете, благодаря ее исключительно редким приличным поступкам, мы введем в заблуждение обывателя, который может подумать, что «С. Г.» идет рука-об-руку с правительством». Такое прямодушное заявление редактора крайне смутило и поразило К[расовского], и он, при встрече со мною в тот же день, с горечью мне сказал: «Что вы скажете на такое заявление, а?! М о г у т п о д у м а т ь, что его газета не п р о т и в правительства! И это он говорит кому же? Мне—члену этого правительства, представителю самодержавной власти (этим «представительством» К[расовский] очень гордился и всюду его афишировал!). Объясните-ка хоть вы Адрианову, как это бестактно с его стороны объясняться таким образом с г у б е р н а т о р о м. Он должен благословить судьбу, что он имел дело с Иваном Ивановичем, бывшим инспектором студентов Московского университета; ведь попади-ка он на другого, тот не преминул бы закрыть за это газету!..»

В бытность мою в Томске я получил от Западно-Сибирского отдела Географического общества командировку в Алтайский горный округ для исследования там переселенческого дела, причем, по ходатайству отдела, К[расовский] снабдил меня открытым листом о всяческом содействии ко всем полицейским, волостным и сельским властям этого горного округа. Во время пребывания моего в г. Бийске, где я собирал кое-какие предварительные сведения, туда приехал К[расовский], выехавший со своими чиновниками в губернию для ревизии. В этот же день я получил от него экстренное приглашение явиться к нему. Он посвятил меня во все подробности своей ревизии, с пафосом рассказывая, как его л ю б и т все население, как запросто и доверчиво повсюду к нему являются крестьяне и мещане со всевозможными просьбами и жалобами, как все благодарят его за его справедливое и отеческое отношение и т. д. Тут же он предложил мне поехать с ним на пограничный (с Монголией) пункт У л а н у, где находилась резиденция духовной миссии. Поездка «в свите» губернатора мне не особенно улыбалась, но, в интересах успешности моей командировки, я не находил удобным отказываться от его предложения, тем более, что Улана лежала вне района моего специального исследования, а посещение ее представляло для меня большой интерес. Впрочем, в Улане я пробыл одни лишь сутки, побывал в некоторых стойбищах и отправился в Алтайскую волость...

Вернулся я в Томск недели через две-три после окончания губернаторской ревизии и, согласно данному слову, посетил

К[расовского]. Он подробно расспрашивал меня о деятельности администраторов Бийского округа и, узнав от меня о неблагоприятных поступках по отношению к крестьянскому населению одного «заседателя» (станового пристава), распорядился в тот же день по телеграфу об удалении его со службы.

С нетерпением К[расовский] ждал появления в «Сиб. Газ.» и в «Русск. Ведом.» подробностей о его «благодетельной» ревизии, но я, по понятным причинам, от этого воздержался, тем более, что от меня не скрыта была и обратная сторона губернаторской ревизии. Я слышал и отчасти сам видел, как в самое страдное время отрывали крестьян от работ для починки дорог по случаю проезда губернатора, как по всему пути на всех станциях держали по нескольку дней десятков-другой лучших крестьянских лошадей, как многих угрозами удерживали от подачи жалоб и т.п. Когда прошло несколько недель и нигде о благодетельной ревизии не появилось ни слова, К[расовский] начал на меня дуться и относиться ко мне заметно сухо. Не долго, впрочем, ему приходилось огорчаться невнимательностью к нему печати: скоро, при его содействии, в Томске стала издаваться вторая газета — «Сибирский Вестник», явившийся как бы лейб-органом К[расовского] и прекрасно восполнявший по отношению к нему пробел «Сибирской Газеты».

4

В числе политических ссыльных, которых я застал в Томске, находился Степан Васильевич Мокиевский-Зубок. Во время оно он входил в состав кружка чайковцев и был на счету «подававшего надежды». Он держал себя всегда «настороже», но все-таки привлечен был к процессу 193-х. Оправданный по суду, он (как и громадное большинство оправданных по этому процессу) подлежал водворению в административном порядке в одной из северных губерний Европейской России. Однако, как жениху Надежды Субботиной, осужденной по московскому процессу 50-ти на поселение в Сибирь и водворенной в Томске, ему разрешили поселиться в Томске, где он и обвенчался с Субботиной. Располагая небольшим капиталом, Мокиевский-Зубок, в компании с каракозовцем Шостаковичем, открыл в Томске мукой лабаз для продажи крупчатки, преимущественно из паровой мельницы курганского купца Смолина. Оба компаньона не лишены были в значительной доле житейской практичности и торговой сметки, но их торговое предприятие не ладилось, тем более, что Шостакович ближайшего участия в ведении его не принимал, будучи всецело поглощен службой (в качестве бухгалтера) у купца П. Михайлова, а также работой в городской управе (как член ее) и в городской думе (как гласный). Непосредственно заведывавший лабазом Мокиевский-Зубок этим занятием тяготился и очень охотно скоро с ним расстался, когда получил должность секретаря губернского статистического коми-

тета. Обязанности его были очень несложны, благодаря весьма опытному помощнику — уголовному ссыльному Томасу.

Жена Мокиевского-Зубка, после некоторых разочарований, испытанных ею лично и ее старшей сестрой — Евгенией, очутилась в «раскаившихся», и, по прямоте своей натуры, открыто враждебно относилась ко всем «радикалам», к каковым она причисляла почти всех политических ссыльных.

Сестры Корниловы, также жившие при мне в Томске, сыграли в русском освободительном движении очень заметную роль, отдавая родине не только все свои силы, но и довольно значительные материальные средства. В начале 70-х годов они примкнули к кружку Марка Андреевича Натансова, а затем были весьма ревностными членами кружка Чайковского. Александра Ивановна привлекалась по процессу 193-х и была оправдана по суду, что не помешало администрации водворить ее на жительство в г. Верхотурье, Пермской губернии, куда попала (даже без предварительного привлечения к суду) и старшая ее сестра — Любовь Ивановна, там же вышедшая замуж за учителя реального училища — Соловьева. Когда Александра Ивановна переведена была в Томск, а муж Любови Ивановны назначен был инспектором томского городского ремесленного училища, туда переехала на жительство и Любовь Ивановна.

Будучи по специальности акушеркой, Александра Ивановна нашла работу в томской городской амбулаторной лечебнице, которою заведывал врач. Алексей Иванович Макушин (впоследствии член государственной думы), человек в высшей степени добропорядочный и трудоспособный. В этой же амбулатории, в качестве фармацевта работал административно-сосланный Максимилиан Семенович Мороз, за которого Александра Ивановна и вышла замуж. Обе сестры жили крайне скромно, уделяя на помощь другим самую значительную часть своих доходов. Любовь Ивановна очень сердечно относилась к ученикам ремесленного училища, устраивая часто для них праздники и помогая своими средствами наиболее нуждающимся из них.

Чрезвычайно типичную фигуру в среде томских ссыльных представлял князь Александр Алексеевич Кропоткин, старший брат известного и ныне еще здравствующего * эмигранта Петра Алексеевича Кропоткина, с которым они находились в большой и интимнейшей дружбе. Оба брата в начале 60-х годов служили в Сибири. Александр Алексеевич, если не ошибаюсь, — старшим адъютантом при начальнике штаба войск Иркутского военного округа полковнике Кугеле, человеке выдающихся дарований и просвещенного образа мыслей. Затем Александр Алексеевич, как и брат его, бросил военную службу, вернулся в Европейскую Россию, отдался всецело научной деятельности

* Умер в 1921 году. Р е д.

и переселился на несколько лет в Швейцарию с женой-иркутянкой — Верой Севастьяновной (урожденной Чайковской).

Александр Алексеевич был типичный ученый. Он всецело погрузился в астрономию, с увлечением ею занимался, состоя в постоянной ученой переписке с самыми выдающимися астрономами Старого и Нового света. В Цюрихе он очень близко сошелся с проживавшими там эмигрантами, в особенности с Петром Лавровичем Лавровым, который привлекал к себе все его симпатии не столько как политический деятель, сколько как философ и ученый. А. А. принимал участие в борьбе «лавристов» и «бакунистов» (примыкая сам к «лавристам», между тем как жена его очутилась в среде «бакунистов», о чем А. А. впоследствии немало рассказывал с трагикомическим юмором), посещал разные собрания и т. п. Вернувшись в Россию, А. А. продолжал живую и постоянную переписку с последним, и это разбilo всю дальнейшую его жизнь. Вследствие перехваченного письма к нему от Лаврова, у Кропоткина произведен был обыск. Ничего предосудительного у него не нашли, но Кропоткин жестоко оскорбил присутствовавшего при обыске прокурора; когда последний собирался уходить вместе с жандармским офицером и они протянули на прощание руку Александру Алексеевичу, последний, со свойственной ему экспансивностью и прямолинейной откровенностью, ответив на пожатие руки жандармского офицера, не подал руки прокурору, заметив: «Я могу еще протянуть руку жандармам, как бессознательно действующим, но вам, и вообще прокурорам, как сознательным, я не могу подать своей руки». Вполне естественно, что такая «дерзость» безнаказанно сойти не могла, и князь Кропоткин, по установившейся практике, в административном порядке выслан был на пять лет в Восточную Сибирь и водворен в маленьком городке в Енисейской губернии — Минусинске, куда за ним последовали и жена его с двумя сыновьями.

В материальном отношении А. А. Кропоткин был в ссылке вполне обеспечен. Но провинциальная глушь, отсутствие сколько-нибудь сносной библиотеки и подходящего общества страшно тяготили Александра Алексеевича. Большим ресурсом служил для него известный минусинский музей, на пользу которого он много работал совместно с Дмитрием Александровичем Клеменцом и другими проживавшими в Минусинске ссылными.

Тоска и угнетенное состояние Кропоткина сугубо усилились, когда ему, по окончании первоначально назначенного пятилетнего срока ссылки, было объявлено, что последняя продлена ему еще на пять лет. А. А. понял, что враги его столь же злопамятны, сколько и сильны, и за нанесенное им оскорбление будут ему мстить до гробовой доски. Он совсем приуныл, тем более, что материальное положение его постоянно ухудшалось: арендаторы его имения, пользуясь отсутствием его хозяина, постоянно сокращали арендную плату и высылали ее крайне неаккуратно.

Но к этому времени, по ходатайству родных его жены, ему разрешили переехать с семьей на жительство в Томск, где я с ним и познакомился.

Это был удивительно своеобразный и оригинальный человек. По убеждениям своим он был несомненный и безусловный демократ, но в то же время он инстинктивно до мозга костей проникнут был сознанием своей родовитости. Не раз приводил он меня и других товарищей в чрезвычайно веселое настроение, когда, в пылу раздражения и полемики с разными представителями власти, он принимался доказывать им, что они недостойны даже того, чтобы он с ними говорил, ибо он — «Рюрикович». Однажды А. А. сильно оскорбил местного присяжного поверенного К. И. Тот вызвал его на дуэль, но А. А. самым серьезным образом заметил ему, что он забывает, какое громадное расстояние между Рюриковичем и мелким дворянчиком. В обращении с местными властями (в особенности с жандармскими) Кропоткин бывал всегда крайне резок и неуступчив, часто заявляя, что говорит с ними лишь в силу необходимости и с великим отвращением.

В отношении к колонии политических ссыльных князь Кропоткин был прекрасный и до-мелья корректный и безукоризненный товарищ, сохраняя всюду и всегда в сношениях с ними образцовое джентльменство. Прибыв в Томск, Александр Алексеевич прежде всего сделал визиты всем членам колонии без исключения. В новый год и на пасхе он обязательно обходил всех с визитами, усиленно приглашая к себе всех. Всегда и во всякое время он очень радушно принимал у себя всех политических ссыльных, обильно угощая каждого, всячески стараясь не давать чувствовать своего превосходства в каком бы то ни было отношении. «Помогать товарищам» Александр Алексеевич считал своим первым долгом и никогда никому из них ни в чем (в пределах возможного) не отказывал.

Кропоткин стоял очень близко к редакции «Сибирской Газеты» и, не принимая в ней прямого участия, часто посещал редакционные собрания и поддерживал самые близкие и дружеские отношения ко всем сотрудникам газеты. Еще в бытность его в Минусинске он написал замечательную статью по поводу административной ссылки, доказав всю ее несостоятельность и противозаконность. Статья эта, напечатанная в нескольких номерах (к сожалению, не широко распространенной) «Сибирской Газеты», не была подписана, и мало кто знал тогда, кто был ее автором. Высшие сферы обратили на нее достойное внимание, и когда впоследствии «Сиб. Газета» закрыта была навсегда, в числе многих обвинительных против нее пунктов указана и эта «крамольная» статья⁷¹.

Решившись отправить семью свою в Россию, Кропоткин до окончания срока ссылки остался в Томске. Разлука с семьей сильно подействовала на него. Он страшно захандрил и затосковал. Будущее стало рисоваться ему в самых мрачных красках.

Его все чаще и чаще стал пугать призрак надвигающейся нищеты, так как оскудевших доходов, по его мнению, нехватило бы ему на жизнь в Петербурге. Чем больше приближался срок его ссылки, тем сильнее он хандрил и, наконец, не совладав с собой, в припадке отчаяния выстрелил себе в висок.

Я жил поблизости от Кропоткина. Мне тотчас же дали знать о разразившемся несчастье. Через несколько минут я был уже на его квартире, где застал бездыханный труп его, не совсем еще остывший. Как ни велико было наше общее горе, я с М. З. прежде всего сняли с покойного А. А. галстук, так как знали, что он, как казначей кассы для помощи ссыльным, всегда хранил в складках галстука микроскопически мелко написанный отчет по кассе. Спустя несколько минут появились и опекавшие Кропоткина власти...

На третий день колония томских политических ссыльных и редакция «Сибирской Газеты» в полном составе при большом наплыве обывательской публики торжественно похоронили на томском кладбище этого замечательного человека, который, наверное, очень много дал бы науке, если бы не бессмысленная и жестоко-несправедливая русская действительность, не щадящая ни знаний, ни таланта...

Бывший народоволец и террорист (и не рядовой, а генералиссимус), а ныне состоящий редактором «Московских Ведомостей» и крупнейшим столпом наших реакционеров и обскурантов, Лев Тихомиров в первой половине 80-х годов прошлого столетия (когда он числился еще в списках революционеров) помещал присылаемые из Парижа публицистические статьи под псевдонимом «К о л ъ ц о в» в подцензурном журнале «Д е л о». Когда обстоятельство это после обыска, произведенного в редакции и конторе журнала, обнаружилось, оно признано было вполне достаточным для того, чтобы тогдашнего редактора «Дела» запереть в тюрьму, а затем и сослать в административном порядке в Сибирь. Это был известный писатель Константин Михайлович Станюкович, который при мне и водворен был на жительство в г. Томск, где мне пришлось с ним познакомиться и довольно близко сойтись.

В ссылку Станюкович отправился со всей своей семьей — женой Любовью Николаевной (урожд. Бубновой), тремя дочерьми и сыном. Семья эта была на редкость культурная и в высшей степени гостеприимная. Любовь Николаевна была отличная музыкантша; Константин Михайлович отличался чрезвычайной общительностью и был весьма интересный и живой собеседник, в распоряжении которого всегда имелся неисчерпаемый запас всевозможных рассказов и анекдотов из закулисной жизни мира петербургских литераторов и журналистов.

На первых порах семья Станюковича держалась на значительной дистанции от колонии томских политических ссыльных. Сам Константин Михайлович, для которого писательская среда

была необходимой стихией, прежде всего и на первых же порах очень близко сошелся с членами редакции «Сибирской Газеты», в том числе с Волховским и со мною. Он посещал наши редакционные собрания и по нашему предложению согласился писать для газеты роман-фельетон из местной жизни («Не столь отдаленные места»), в котором задумал изобразить характерные типы уголовно-ссыльного элемента в Сибири. Как человек, привыкший к более или менее широкой жизни, Станюкович нуждался в средствах. Хотя Любовь Николаевна, вскоре по прибытии в Томск, получила хорошо оплачиваемые уроки по музыке, Константин Михайлович весьма охотно продал нашей бедной газете задуманный роман за 400 р., с условием уплаты вперед всей суммы и с обязательством доставлять к каждому номеру («Сиб. Газ.» выходила раз в неделю — по воскресеньям) по небольшой главке в течение чуть ли не целого года. Так как типография «Сиб. Газ.» была очень скромных размеров и не важно оборудована, то приходилось приступать к набору (кроме текущего материала) обыкновенно начиная со среды, и Станюковичу поставлено было условием доставлять свою очередную главку не позже четверга. Однако в значительном большинстве случаев мне приходилось по пятницам с утра забираться на его квартиру, засаживать его в кабинет на несколько часов и просить его при мне же писать эту главку, которая сейчас же поступала в набор и к вечеру отправлялась к цензору. Такова уже была обычная привычка Станюковича (по его объяснению — вследствие одновременной работы для нескольких изданий) браться за очередную работу в самую последнюю минуту, когда долгие откладывать уже невозможно. Не без большого огорчения я узнал от него, почему так скромка был конец одного из лучших его романов — «Два брата». Он жил в Швейцарии, печатание этого романа сильно затянулось. Он получил телеграмму, в которой редакция «Дела» требовала во что бы то ни стало закончания романа непременно в ближайшей же книжке. Он засел больной за работу, проработал без отдыха и без сна несколько дней подряд (сменяя постоянно холодные компрессы) и кое-как выполнил требование. А мы — читатели — недоумевали, почему так неудачно закончился так хорошо начатый роман. В том и было несчастье этого бесспорно талантливого и умного писателя, что ему приходилось всегда работать второпях, при всяком настроении. С романом-фельетоном «Не столь отдаленные места» выходили просто комические инциденты. Раз два случалось, что рыжеволосый персонаж в одной главе оказывался в другой главе брюнетом, или персонаж, фигурировавший в одной главе под одним именем, появлялся в другой под совсем другим именем и т. п. С этим пужно было считаться и тщательно просматривать рукопись. Такая путаница была вполне естественна, так как предварительного плана для романа Константин Михайлович, насколько я помню, себе не составил; он писал

одновременно несколько романов, а к тому же редкий вечер проводил не в обществе за винтом, к которому питал большую слабость. Да и общество (какое бы оно ни было) для него, как для человека в высшей степени экспансивного, было крайне необходимо. Я должен, однако, заметить, что рядом с легкими вещами, которые писались наспех и кое-как, прямо набело и даже без поправок, Станюкович в Томске писал и свои «Морские рассказы», которые он тщательно отделявал, перечитывая написанное по нескольку раз в обществе периодически собиравшихся у него политических ссыльных. Тщательно выслушивая и взвешивая все мнения о прочитанном, Константин Михайлович особенно ценил тонкие критические замечания Волховского, которого он всегда выслушивал с величайшим вниманием, зачастую восхищаясь эстетическим чутьем этого широко образованного человека.

«Морские рассказы» Станюковича считаются по справедливости лучшим и наиболее обработанным его произведением. Сам Константин Михайлович, когда первые главы этих рассказов появились в «Вестнике Европы» и обратили на себя всеобщее внимание, неоднократно приписывал их достоинства именно тому, что они писались в ссылке, где борьба за существование все-таки не была для него столь интенсивна, где он мог хоть немного на чем-нибудь сосредоточивать свое несомненное дарование и мог позволить себе роскошь переделывать и отделять разные главы...

Томск, благодаря центральному положению своему «на тракту», представлял пункт, через который во время навигации (единственное сообщение в то время между Тюменью и Томском было тогда пароходное) беспрерывно направлялись в Восточную Сибирь разные партии политических ссыльных и чрез который обратно возвращались многие из отбывших срок своей ссылки. В то «доконституционное время» сибирская администрация не относилась еще так свирепо и с такой человеконенавистнической злобой к политическим ссыльным, как теперь, — и я, как и некоторые другие товарищи, имели возможность знакомиться со многими проходившими через Томск и оказывать им (непосредственно или через посредство следовавших за ними добровольно членов семейства) посильную помощь, имевшую даже по возможности организованный характер⁷². Возвращавшиеся обратно в Россию через Томск почти все там останавливались на более или менее короткое время, и редкие из них не посещали нас — томичан. Я не могу не вспомнить с глубоким, сердечным удовольствием о возвращавшемся при мне через Томск из Якутской области Владимире Галактионовиче Короленко, доставившем томской колонии истинное наслаждение своим пребыванием в ее среде в течение нескольких дней. Он был тогда еще в начале своей литературной карьеры. Его устойчиво-крепкий, как из гранита высеченный, характер, еще мало тогда успел проявить-

ся; далеко впереди еще была защита мультанского дела, его «Голодный год», замечательные статьи о смертной казни и военном правосудии. Но Владимир Галактионович уже был широко известен своей последовательностью и упорно-твердой убежденностью, приведшей его из северных губерний России (за отказ от присяги Александру III) в Амгинскую слободу Якутской области, в которой он прожил пять лет в компании с Натансоном и Аптекманом. Хотя Короленко в этой суровой слободе занимался хлебопашеством и шил сапоги, но он там и писал, и вез с собою «Сон Макара». Эту рукопись он прочел нам в полном сборе нашей колонии и сотрудников «Сибирской Газеты». Я и теперь, по прошествии четверти века, живо помню, с каким напряжением и глубоким вниманием мы все следили за его мастерским чтением этого мастерского произведения, в какой энтузиазм привел нас всех этот чудный «Сон Макара», и как по окончании чтения у всех одновременно явилась одна и та же мысль, которая всеми в один голос (после гробового минутного молчания) выражена была почти в одних и тех же словах: перед нами восходящее светило, в Россию возвращается грядущая незаурядная литературная сила. Мы все сердечно поздравляли его и напутствовали его на предстоящие крупные труды. Особенно велик был восторг Волховского, который очарован был выдающимися красотами этого первого крупного произведения Короленко. И я, как и все проводившие эти дни вместе с Владимиром Галактионовичем, были счастливы, что наше предчувствие нас не обмануло: «Сон Макара» через несколько месяцев появился в печати и сразу обратил на себя всеобщее внимание. Читающая публика встретила его с не меньшим восторгом, чем мы, имевшие счастье познакомиться с ним в рукописи⁷³.

Я должен также отметить здесь крупную фигуру Петра Федоровича Николаева. Это был «каракозовец», осужденный верховным уголовным судом в 1866 году. Отбыв срок каторги на Каре* и ссылки на поселение в Якутской области, Николаев, возвращаясь в Россию, прожил некоторое время в Томске.

Это была богато одаренная (физически и умственно) натура. Его не сломили ни каторга, ни ссылка; в Томск он явился еще вполне бодрым человеком, с большим запасом физических и духовных сил. В молодости он был прекрасный певец и сохранил в значительной степени свой голос после двадцатилетних мытарств по тюрьмам и каторге. Когда он, по прибытии в Томск, пропел несколько итальянских арий в прекрасном высоком здании ремесленного училища, стекла буквально дрожали...

Во время пребывания в Восточной Сибири Николаев принимал близкое участие в издававшейся в Иркутске «Сибири». Когда

* В действительности П. Ф. Николаев отбывал каторгу не на Каре, а в Александровском заводе Нерчинской каторги. Ред.

я принялся изучать «Сибирь», я прежде всего обратил внимание на его прекрасные статьи (подписанные инициалами: «П. Н.») об общинном землевладении вообще и о сибирской общине в частности. Во время пребывания в Томске Николаев от времени до времени помещал статьи по экономическим вопросам в «Сибирской Газете», работая в то же время в архиве томской городской думы. По возвращении в Россию, Николаев сделался постоянным сотрудником «Русской Мысли», приняв на себя обзор журналов.

Воспоминания мои за время подневольной жизни в Томске были бы неполны, если бы я не остановился на встрече моей с известным американским писателем Дж. Кеннаном.

Не припомню уже, в котором именно году (кажется, в 1885-м), как-то раз ко мне явился господин, с весьма типичной физиономией и явным отпечатком иностранного происхождения, и вручи мне письмо, адресованное «члену Географического общества С. Л. Чудновскому». Письмо это написано было в Усть-Каменогорске одним из проживавших там ссыльных, Вл—ком, случайно встретившимся на Алтае с этим иностранцем, который и был не кто иной, как Кеннан.

«Членом» Географического общества я, собственно, не был, но незадолго перед тем я был командирован Западно-Сибирским отделом Географического общества на Алтай для исследования положения переселенческого дела. Политическим ссыльным это было известно, и они нашли более целесообразным направить ко мне Кеннана, как к члену ученого общества.

Это была первая моя встреча с американцем и к тому же еще со столь типичным американцем. Кеннан уже раньше пробыл около года в России (в качестве телеграфиста морского кабеля) и тогда изучил русский язык, на котором он говорил очень свободно и очень правильно (даже, можно сказать, подчеркнуто-правильно). Он произвел на меня очень выгодное впечатление, хотя пробыл на этот раз у меня весьма короткое время, смотря, повидимому, на это посещение, как на пробный официальный визит (он был во фраке). Я, в свою очередь, счел долгом приличия ответить визитом в тот же день, и в номере гостиницы, где он остановился, столкнулся с исполняющим должность губернатора, председателем губернского правления, который за несколько минут до меня явился также с ответным визитом. Он скоро ушел, и Кеннан счел долгом извиниться, если встреча с губернатором в его номере была для меня неприятна, заметив, что если бы он знал, что я приеду, то принял бы П[етухова] в другое время. Я, разумеется, успокоил Кеннана, так как в сущности против П[етухова] лично я ничего не имел и даже состоял с ним в добрых отношениях, часто посещая его, как довольно благожелательного цензора «Сибирской Газеты». Кеннан познакомил меня тут же со своим спутником, художником Фростом, который вместе с ним командирован был редакцией американ-

ского журнала «The Century Magazine» в Сибирь для изучения сибирских тюрем и сибирской ссылки, причем на Фроста, состоявшего в полном распоряжении Кеннана, возложена была задача готовить все нужные иллюстрации.

Кеннан очень близко сошелся со мною и с Волховским. Последний привел его в большой восторг превосходным знанием английского языка и основательным знакомством с английской и американской изящной литературой. Кеннан и Фрост перезнакомились со всеми томскими политическими ссыльными. С особенным удовольствием посещали они дом Станюковича, так как и Любовь Николаевна и старшая дочь, Наталия Константиновна, хорошо владели английским языком, были начитаны в английской литературе и услаждали их досуги хорошей музыкой, в признательность за которую американцы, в свою очередь, знакомили нас (хотя были и неважные певцы) со многими американскими национальными песнями, аккомпанируя себе на каком-то национальном музыкальном инструменте, который они возили с собою.

Во все время своего пребывания в Томске Кеннан и его спутник ежедневно посещали нас, подолгу беседуя с каждым из нас о тех процессах, к которым мы привлекались, о тюрьмах, в которых нам приходилось мытарствоваться по целым годам, и о разных других сторонах печальной русской действительности, причем очень часто выражали глубочайшее возмущение по поводу таких фактов, которые нам, россиянам, давным-давно уже примелькались, как самые ординарные и обыденные. Неоднократно они при этом негодовали на нас за то, что мы так спокойно и как бы равнодушно относимся к таким событиям нашей жизни, которые со стороны американцев вызвали бы активнейшее противодействие или, по меньшей мере, самоубийства⁷⁴...

Одновременно Кеннан, благодаря официальным письмам и рекомендациям, посещал томские тюрьмы, присутствовал при отправке арестантских партий и знакомился с Сибирью по «Сибирской Газете», полный комплект которой он приобрел, и по разным сочинениям о Сибири. Не знаю, по собственному ли почину, или по указаниям свыше, местные власти, прикосновенные к тюремному и пересыльному делу, предостерегали американских туристов от знакомства с политическими ссыльными, предупреждая их, что последние настроены-де враждебно против русского правительства и русских властей и склонны изображать русскую жизнь в тенденциозно-мрачных, неверных красках. Предостережения эти возымели, однако, не то действие, на какое они были рассчитаны. Американцы, прибывшие в Сибирь совершенно непредубежденными и даже скорее доброжелательно настроенными по отношению к русскому административному миру, в этих предупреждениях почуяли нечто такое, что требует с их стороны сугубо осторожного отношения ко всем официальным сведениям.

Основательно ознакомившись с томскими тюремными порядками и с порядком передвижения ссыльных партий, Кеннан сердечно распрощался с колонией томских политических ссыльных. Снабженный рекомендательными письмами к нашим друзьям, разбросанным до Иркутска и дальше до Забайкалья, он двинулся с своим спутником Фростом в дальнейший путь по широкому сибирскому тракту...

Месяца через два или три Кеннан, возвращаясь вместе с Фростом, провел у меня вечер. Я был поражен той переменной, которая произошла в них за это время. Кеннан относился уже резко-враждебно к русскому официальному миру. Он положительно содрогался при воспоминании о тех сценах, которых он насмотрелся в сибирских тюрьмах, в глухих пунктах ссылки и на Каре. Он каялся и горько упрекал себя за тот оптимизм, каким он был проникнут после первого посещения России и под влиянием которого он позволил себе полемизировать на страницах Times'a со «Степняком» (Кравчинским) и обвинять последнего в тенденциозно-неправильных нападках на русское правительство. Кеннан полагал, прощаясь со мной, что его святая обязанность, по возвращении домой или даже еще с дороги, по выезде из России, публично покаяться на страницах того же Times'a в своем тяжком прегрешении. Что же касается Фроста, то тот за это время совершенно расстроил свою нервную систему и производил впечатление не совсем душевно-нормального человека. Ему все мерещилось, что вот-вот нагрянут к нему русские власти, произведут обыск, отберут все имущество, запрячут в тюрьму, а пожалуй—и повесят...

ГЛАВА XIII

1

В предыдущей главе я упомянул о предпринятых мною в 1884 и 1885 гг. экспедициях в Алтайский горный округ, главным образом с целью исследования переселенческого дела на «землях кабинета», куда в то время и направлялось преимущественно переселенческое движение.

Эти экспедиции предприняты были мною по поручению и при весьма незначительной субсидии со стороны Западно-Сибирского отдела Географического общества. Каждая из них продолжалась около двух с половиной месяцев, а благодаря покровительству доброжелательного томского губернатора Красовского, по распоряжению которого для меня открыты были все дела и книги волостных правлений Бийского, Барнаульского и Кузнецкого округов Томской губернии и созывались также, по моему заявлению, в селениях этих округов крестьянские сходы, — мне, при чрезвычайно интенсивной моей работе (по 17—18 часов в сутки), удалось собрать весьма значительный материал для освещения не только переселенческого дела, но и вопроса о раскольниках в Алтайском горном округе, об обычном праве крестьян этого округа вообще и об общинном землевладении в частности и т. д. Разработка этих материалов требовала, конечно, много времени и пособий, и впоследствии она выразилась в ряде статей в «Сибири» и «Сибирской Газете», в журналах: «Северный Вестник», «Русское Богатство», в сборнике «Восточное Обозрение», а также в отдельной книжке — выпуске «Записок» Восточно-Сибирского отдела Географического общества. По установившемуся, однако, обычаю, я обязан был напечатать предварительный краткий и общий отчет о своих поездках в органе субсидировавшего меня отдела — в «Записках Западно-Сибирского отдела Географического общества»⁷⁵.

«Записки» эти издавались в Омске, где помещался и самый отдел, и я нашел, поэтому, целесообразным расстаться с Томском и временно переселиться в Омск, рассчитывая найти в библиотеке отдела такие материалы, которыми я не мог располагать в Томске.

Не без грусти расстался я с этим городом, в котором я прожил около четырех лет в обществе близких друзей и в дружной работе для объединившей нас «Сибирской Газеты», в которой заместить меня решено было таким достойным ученым и журналистом, как Дмитрий Александрович Клеменц, который тогда проживал в административной ссылке в г. Минусинске, Енисейской губернии, и получил разрешение переселиться в Томск.

Друзья и товарищи устроили мне в высшей степени сердечные проводы (правда, без «речей»), и последний вечер, проведенный мною в их семье, навсегда запечатлелся в моей памяти. В день отъезда с раннего утра одним из первых явился ко мне редактор «Сиб. Газ.» А. В. Адрианов, который в самых теплых и дорогих для меня выражениях благодарил меня за ту массу труда и любви, которые вложены были мною бескорыстно в течение четырех лет в дорогую ему «Сиб. Газету». Выражение этой признательности было для меня особенно ценно в устах Адрианова, который всюду и всегда резко выделялся из среды окружавших своей прямолинейной искренностью и прямоотой и которому чужда была всякая «политика» в сношениях не только с близкими людьми, но даже и с такими лицами, по отношению к которым «политичность» предписывалась многими тактическими соображениями.

Скоро моя скромная квартирка наполнилась всеми томскими товарищами и друзьями, и, сопровождаемый сердечными и братски-задушевными пожеланиями и напутствиями, я оставил город, который для меня отнюдь не оказался махочой, а, наоборот, крепко связал меня с Сибирью, ставшей вообще второй для меня родиной.

2

Западная Сибирь делилась в то время административно на две губернии — Тобольскую и Томскую, и две области — Акмолинскую и Семипалатинскую. Области, как и губернии, управлялись губернаторами, причем областным городом и резиденцией губернатора Акмолинской области был г. Омск, который вместе с тем был и резиденцией генерал-губернатора Западной Сибири*.

По внешнему виду Омск был импозантнее Томска, производя впечатление гораздо более обширного города. Здесь был центр управления целым краем, сосредоточение военных учреждений и сибирского казачьего войска. Если в Томске преобладающим элементом являлись купечество и представители вольных профессий, то здесь — в Омске — тон всей жизни задавали военные и гражданские чиновники, и, так сказать, фокусом всех интересов края являлись: «дворец» генерал-губернатора, над которым (во

* Впоследствии Западно-Сибирское генерал-губернаторство было упразднено и заменено Степным генерал-губернаторством.

время пребывания в Омске генерал-губернатора) развевался всегда пышный флаг, весьма импонировавший попадавшим в Омск киргизам; обширное здание областного правления и здания разных областных казенных учреждений. Сам город был сильно разбросан. Улицы были широкие. Бросалась в глаза масса незастроенных площадей, довольно плохо замощенных, а то и вовсе незастроенных, на которых в сухое время стояла пыль столбом, а во время дождей образовывалась невылазная грязь, с которой трудно справлялись не только пешеходы, но и далеко не важные извозчики лошади.

Здесь находился особый казачий форштадт, в котором сосредоточивался преимущественно казачий элемент, как военный элемент вообще сосредоточивался главным образом в полуупраздненной крепости.

В крепости жил начальник штаба войск Западно-Сибирского военного округа генерал-лейтенант Бобков. Так как последний состоял в то же время представителем Западно-Сибирского отдела Географического общества, то я, по долгу вежливости, нанес ему первый визит, не без волнения осматривал при этом то помещение в крепости, в котором лет за 35 назад томился наш знаменитый Достоевский, подвергшийся здесь гнусному телесному наказанию, о чем с ужасом и стыдом вспоминают и поныне все мало-мальски культурные люди и чему, надо полагать, в душе аплодируют гг. Марковы, Пуришкевичи, Шульгины и вся славная стая «истинно-русских людей», не упускающая ни одного случая, чтобы не поощрить правительство в его кнутовой деятельности по отношению к политическим заключенным...

Генерал Бобков произвел на меня впечатление человека недалекого, но очень корректного и весьма польщенного тою первенствующею ролью, которая предоставлена была ему в ученом обществе. В тот же день он посетил меня с ответным визитом в моей нанятой мною в казачьем форштадте крайне скверной квартирке, в которую не без некоторого труда вдвинулась его грузная осанистая фигура.

Одновременно с этим я посетил секретаря отдела, который в то время состоял чиновником особых поручений при акмолинском губернаторе и секретарем акмолинского областного статистического комитета. Это был обычный тип сибирского чиновника 70-х годов, умудрявшегося не без удобства соединять «службу» с «наукой» и устраивать свое благополучие одновременно на нескольких поприщах.

Политических ссыльных я в Омске не нашел, так как здесь вообще избегали поселять «крамольников», хотя, как я узнал, перед самым прибытием моим оттуда уехал в Россию, по окончании срока административной ссылки, писатель Сведенцов, известный под псевдонимом «Иванович». Он работал в омском статистическом комитете и оставил очень теплую и хорошую о себе память как в этом комитете, так и в среде тех немногих

лиц, которым приходилось с ним сталкиваться. Временами лишь наезжали в Омск с разрешения администрации на короткое время кое-кто из административно-ссылных, проживавших в других городах области, для поправления здоровья и лечения у омских врачей. Так, при мне приезжал сюда из Петропавловска юноша — бывший семинарист Львович, впоследствии известный издатель и журналист. Застал я в Омске и отбывшего уже административную ссылку и застрявшего в Омске на службе по акцизному ведомству еще очень юного Дзюбинского, ныне пользующегося известностью члена 3-й государственной думы — трудовика.

3

Так как средств у меня никаких не было, то безотлагательно нужно было позаботиться о каком-нибудь заработке. Тут на помощь ко мне пришел секретарь Западно-Сибирского Географического общества г. К—ский.

Незадолго перед этим в Омске открыто было управление государственными имуществами Западной Сибири, во главе которого стоял г. Павловский. На последнего возложено было составление доклада для министерства госуд. имуществ по вопросу о положении ссыльных в Западной Сибири в связи с поземельным устройством сибирских крестьян. Для этой работы требовался человек, сколько-нибудь изучавший Сибирь и знакомый с ее литературой, и К—ский откомендовал меня Павловскому в качестве такового. Я весьма охотно взял на себя эту работу. Возложив на меня составление записки для министерства, Павловский предоставил в мое распоряжение все имевшиеся в архиве управления материалы. Работа должна была быть исполнена в 5—6 месяцев, и вознаграждение за нее назначено было в течение этого времени в размере 50 рублей в месяц. При той дешевизне, какую отличалась тогдашняя жизнь в Омске,* этого вознаграждения было для меня, одинокого человека, вполне достаточно. Я параллельно работал над составлением этой записки и над составлением предварительного отчета по моим экспедициям.

По вопросу о ссылке и поземельном устройстве крестьян я работал уже раньше и в Енисейске, и в Томске, да и в Омске в разных учреждениях и в библиотеках нашлось для этого достаточно материалов, так что составление записки для министерства госуд. имуществ подвигалось довольно быстро, и последняя была мною закончена месяца через 4 (в объеме около 6 печ. листов), под моим же наблюдением она была отпечатана в незначительном количестве экземпляров и отправлена по назначению⁷⁶. Для составления предварительного отчета об экспедициях в моем распоряжении оказалось мало материалов, так как библиотека

* За квартиру в 3 небольших комнаты со всей обстановкой и с полным содержанием (включая даже чай) я платил 20 рублей в месяц.

отдела оказалась довольно скудной по статистическому и экономическому отделам, которые для моей цели и были существенны. Тем не менее я составил краткий отчет о своих экспедициях, а также небольшие монографии нескольких из исследованных мною селений, которые и были напечатаны в «Записках» отдела.

Чисто чиновничье-бюрократический состав омского общества, отсутствие в последнем высших жизненных интересов, малокультурная обстановка, — все это делало жизнь в Омске весьма мало привлекательной. За все время пребывания моего в Омске лишь один эпизод внес некоторый луч света в эту серенькую жизнь — это проезд через Омск известного путешественника Григория Николаевича Потанина и его жены Александры Викторовны, и я с чувством особого наслаждения посвящаю этому эпизоду несколько страниц.

4

Некоторое представление о Г. Н. Потанине у меня составилось уже раньше на основании его превосходных статей, печатавшихся в Иркутской «Сибири» и других сибирских изданиях, преимущественно посвященных жизни сибирских инородцев. Здесь же, в Омске, я впервые с ним лично познакомился.

Г. Н. Потанин, по происхождению своему сибирский казак (станицы Янышевской). До ученой карьеры своей он был казачьим офицером (по выходе из омского кадетского корпуса) и в качестве такового принимал участие в походе в Илийский край. Когда, по восшествии на престол Александра II, в России началось оживление во всех сферах русской жизни, оно не могло не коснуться, конечно, и Сибири и в том числе и сибирского казачества. Чувствуя влечение к научной работе и убедившись при разборе старинных актов омского архива в крайне слабой подготовке к своей научной деятельности, Потанин оставил военную службу и поступил (в 1858 году) в Петербургский университет, где близко сошелся с некоторыми уроженцами Сибири, в том числе и с известным впоследствии сибирским писателем Н. М. Ядринцевым.

Пробыв 3 года в университете, Потанин принял участие (в 1863—64 гг.) в экспедиции К. В. Струве в область озера Зайсан, а затем совсем оставил университет. Страстно влюбленный, подобно другим многим уроженцам Сибири, в свою родину, Потанин, решив посвятить последней всю свою жизнь и всю свою деятельность, исхлопотал себе место секретаря губернского статистического комитета в Томске. Служба в Томске была, однако, весьма непродолжительна. Горячей преданности родному краю и посвящению себя служению его интересам было вполне достаточно для того, чтобы усмотреть в деятельности Потанина и его друзей призраки «сепаратизма». Разразилась над ним гроза. Потанина вместе с Ядринцевым, Шашковым и некоторыми

другими молодыми сибиряками привлекли по «делу об отделении Сибири от России и образовании республики подобно Соединенным Штатам». В результате его приговорили к каторжным работам, по отбытии которых (в крепости в Свеаборге) он был водворен в Вологодской губернии в г. Никольске.

Судьбой Потанина интересовался известный географ Семенов, и, по ходатайству Географического общества, председателем которого был тогда Семенов, Потанин был помилован в 1874 г. и в 1876 г., по поручению Географического общества, предпринял первое свое путешествие в Северо-Западную Монголию вместе с женою своей Александрой Викторовной (урожденной Лаврской), на которой он женился во время пребывания в Никольске. Это путешествие продолжалось 2 года, выдвинуло на видное место Потанина, как наблюдательного и серьезного научного исследователя, так что в 1879 г. он предпринял уже вторичную экспедицию в Центральную Монголию. Собранные им при содействии его неутомимой помощницы Александры Викторовны богатые материалы обнародованы были в изданных Географическим обществом в 1883 г. «Очерках Северо-Западной Монголии», а в 1884 г. Потанин, на средства того же Географического общества и золотопромышленника и иркутского городского головы В. П. Сукачева, предпринял уже третье путешествие в Монголию — в провинцию Ганьсу. И вот при возвращении из этого-то путешествия в 1886 г. я и познакомился с Потаниными в Омске.

Омское казачество очень гордилось своим «земляком» Потаниным, приобретшим столь громкую известность в ученом мире. Казачьим офицерам весьма льстила слава воспитанника «их» кадетского корпуса, бывшего «их» офицера, «их» казака. Вполне естественно поэтому, что когда узнали, что Потанин возвращается в Россию на Омск, чтобы и в Западно-Сибирском отделе Географического общества сделать доклад о последнем своем путешествии, то они решили принять и чествовать его как можно торжественнее. Тогдашний западно-сибирский генерал-губернатор, генерал Колпаковский, считаясь с настроением казачьего офицерства, приказал отвести Потаниным особое помещение поблизости от «дворца» и даже командировал к ним навстречу на ближайшую почтовую станцию одного из своих чиновников...

Уже давно меня интересовала личность Г. Н. Потанина. Интересовал он меня, правду сказать, не столько как путешественник по Востоку, сколько как сибирский писатель и один из столпов сибирской печати, которая стала мне очень близка и которой он отдавал все свои досуги. Личность его в особенности заинтересовала меня с тех пор, как я узнал, какой достойный отпор он дал в Иркутске (при возвращении из второй экспедиции) тогдашнему генерал-губернатору Восточной Сибири генералу Анучину. Мне именно передавали (и это было верно), что когда при официальном визите Анучину последний резко заговорил об издававшейся в Иркутске газете «Сибирь» и позволил себе

такое грубое выражение: «эту газету нельзя брать в руки без перчаток», — Потанин спокойно прервал бранную филиппику Анучина замечанием: «я не могу позволить в моем присутствии так выражаться о газете, в которой участвуют мои друзья». Пораженный такой неслыханной дерзостью, всесильный генерал-губернатор грозно зарычал: «А, вот как! В таком случае я вам предлагаю в 24 часа оставить Иркутск». Приказ этот, конечно, исполнен был Потаниным.

Это обстоятельство давно уже предрасположило меня в пользу Потанина, и я горел нетерпением познакомиться с ним, когда я узнал, что его ждут в Омске. И когда я в один прекрасный день, вернувшись домой обедать, нашел на своем столе его визитную карточку, я немедленно, наскоро закусив, отправился к нему по указанному на карточке адресу. Самого Григория Николаевича я не застал, но меня приняла его жена Александра Викторовна.

Эта была очень характерная особа высокого роста, крепкого сложения, с мужественными чертами лица, весьма скромно одетая и без всяких признаков так называемой «женственности». Она и Гр. Н. знали уже меня по «Сибирской Газете», много наслышались обо мне в Томске, и этим объясняется, почему Потанин в первый же день своего приезда навестил меня. Простота, естественность и искренность с первой же минуты расположили меня в пользу Александры Викторовны. Мы разговорились, скоро явился и Потанин, беседа завязалась задумчивая и весьма оживленная, — через каких-нибудь полчаса установились между нами самые интимные отношения, как будто бы мы были уж знакомы между собою целые годы. Григорий Николаевич очень внимательно следил за «Сиб. Газетой», был вполне осведомлен о всех интимных подробностях редакции последней, очень лестно отзывался о характере и направлении газеты, как и о главных ее сотрудниках; как сибирский патриот, он высказывал свою признательность политическим ссыльным, примкнувшим к газете и бескорыстно работавшим вообще на благо дорогой ему Сибири. Просидел я у Потаниных до позднего вечера, знакомясь со многими представителями разных слоев омского населения, являвшихся с визитами к знаменитому путешественнику и спрашивавшими его совета по всевозможным вопросам жизни.

Потанин, которому тогда уже — если не ошибаюсь — перевалило за 50 лет, поражал своим удивительно моложавым и здоровым видом. Это был прекрасно сохранившийся человек немного ниже среднего роста, крепко и прочно спитый, коренастый и хорошего сложения, с явным отпечатком инородческого (киргизского) происхождения. Как человек, много видавший и много испытывший, Потанин был весьма интересный собеседник; он был весьма и разносторонне начитан, обладал значительной эрудицией, в особенности по литературе и фольклору, и поражал тонкой наблюдательностью и умением ма-

стерски анализировать и сопоставлять аналогичные сказания и поверья различных народностей Европы и Азии.

Пошла потанинская неделя. Все военные представители местного казачества наперерыв приглашали чету Потаниных на обеды и вечера, а считая меня близким к ним человеком, приглашали и меня с ними. Закончилось торжественным обедом в офицерском собрании, устроенным для Потаниных омским офицерским сословием. На этом обеде из лиц не военных в качестве гостей приглашены были секретарь отдела Геогр. об-ва г. Козлов и я. Обед был очень парадным, пили и ели до отвала под звуки военного оркестра; не обошлось, разумеется, дело без речей и спичей, в которых со всех сторон обрисовывалась симпатичная личность Григория Николаевича и его супруги, причем с особой гордостью подчеркивалось казачье происхождение Потанина. Как деятель сибирской печати, я не мог при этом случае не отметить крупную роль Потанина в этой последней, как и общий характер сибирской печати, и не мог не остановиться при этом на недавно перед этим появившемся в Томске рядом с «Сибирской газетой» «Сибирском Вестнике». Мое краткое слово вызвало целую бурю, и я должен остановиться поэтому несколько дольше на этом эпизоде.

5

Сибирь, как известно, в течение всего периода нахождения под русской властью, колонизировалась уголовно-ссыльными элементами Европейской России. Все отбросы русской жизни направлялись за Урал для заселения обширного и пустынного зауральского края. Деморализованные и раньше, элементы эти, пройдя тюремную школу и отшлифованные во время бесконечного этапного шествия по «Владимирке», являлись положительно нравственным бичом для коренного сибирского населения с его слабым гражданственным устоем. Элемент этот — антикультурный, отвыкший от производительного и систематического труда: — уголовные ссыльные весьма редко оседали на местах «приписки», а большую частью «пускались в бега» уже с дороги, не доходя даже до места приписки, или, являясь на последнее, очень скоро уходили оттуда, числясь «в бегах» в «безвестной отлучке». Те же немногие, которые в бега не пускались, за неимением подходящих занятий и совершенно деморализованные всей предшествующей обстановкой, являлись страшным бременем для коренного населения, развращая и деморализуя его, предаваясь воровству и грабежу, а нередко насилуя и жен и дочерей сибиряков. Этим объясняется та постоянная вражда, которая царилла между местными жителями и ссыльными, которых первые окрестили бранным прозвищем «варнаков», которые, в свою очередь, подарили их не менее презрительным прозвищем — «чалдон». Отсюда понятно и то, что местная печать

была вполне солидарна с местной интеллигенцией в отрицательном отношении к колонизации Сибири ссыльными и в требовании отмены ссылки в Сибирь. В этом отношении «Сиб. Газета» была вполне солидарна с «Сибирью» и с «Вост. Обозрением».

Совсем на другую точку зрения стал «Сибирский Вестник», созданный гг. Коршем и Полянским с благословения и при покровительстве губернатора Красовского с целью бороться с тенденциями «сибирофильства». Принадлежа лично к категории уголовных ссыльных, гг. Корш и Полянский отрицательное отношение к уголовной ссылке принимали за личное оскорбление и всячески отстаивали «ссылку», как прогрессивно-культурный элемент для края, забывали при этом различие между политическими ссыльными и уголовными ссыльными, смешивая в одну кучу и тех и других, хотя и печать, и сибирская интеллигенция всегда резко различали ту и другую, и насколько относились отрицательно к последним, настолько всегда оттеняли и культурное и духовно-нравственное значение первых для края. Главным литературным руководителем «Сиб. Вестника» был Е. В. Корш, но, как человек слабовольный, он почти во всем подчинялся указаниям Полянского, известного участника в процессе Струсберга, и в вопросе о роли и значении сибирской ссылки разделял вполне взгляды последнего.

И вот я в своем кратком слове, обращенном к Г. Н. Потанину и посвященном именно сибирской печати, коснулся и «Сибирского Вестника». В пылу царившей тогда полемики между «Сиб. Газ.» и «Сиб. Вестн.» я сознаюсь, что немного увлекся и чересчур резко отнесся к последнему, назвав его органом подонков сибирской ссылки, так как, несомненно, рядом с такими элементами к «Сиб. Вестн.» принадлежали и такие, которые bona fide видели в уголовной ссылке культурный элемент, упуская из вида, что таковой составлял, может быть, один-два процента всего уголовно-ссыльного элемента.

Руководитель «Сиб. Вестн.» воспылил гневом и злобным чувством мести. И вот на страницах «Сиб. Вестн.» появилась громкая статья по моему адресу, в которой меня заведомо облыжно окрестили «контрабандистом», сосланным не за политическое преступление, а за «контрабанду». Телеграммой в «Сиб. Газ.» я указал, что руководитель «Сиб. Вестн.» г. Корш допустил заведомую ложь, так как г. Корш во время процесса 193-х еще не был лишен прав и состоял присяжным поверенным и фигурировал на этом самом процессе в числе других защитников, так что не мог не знать, что он лжет. Появление этой телеграммы явилось большим ударом для «Сиб. Вестн.», не рассчитывавшего на такую энергическую (по тому времени невыгодную для меня) защиту. Многие подписчики (и между ними пользовавшийся большой популярностью д-р Ожешко) вернули в редакцию свои подписные билеты на «Сиб. Вестн.», который быстро отступил и прекратил свою своеобразную «полемику», в которой и я, как уже

выше указал, допустил некоторую долю несправедливости, в особенности по отношению к Е. В. Коршу, главным несчастьем которого была не злая воля, а бесхарактерность при многих симпатичных чертах...

6

Вскоре после отъезда из Омска Потаниных решил и я ликвидировать с Омском свои отношения, так как на сколько-нибудь солидные и обеспечивающие занятия я здесь рассчитывать не мог: работа для управления госуд. имуществами была закончена, предварительный отчет по поездке на Алтай был составлен, обработка же остального статистико-экономического и этнографического материала могла быть успешно сделана в Иркутске, куда меня манили более высокий культурный уровень публики и издававшийся там периодический орган («Сибирь») и надежда на материальное обеспечение.

Предварительно, однако, я решил навестить в Ялуторовске своего старого приятеля — Сергея Жебунева, тем более, что тогда назначена была министерством путей сообщения описная партия для исследования порогов р. Ангары. Во главе этой партии поставлен был инженер М. В. Чернцов, мой хороший знакомый, и я мог рассчитывать как-нибудь устроиться при этой партии и с этой целью должен был встретиться с Чернцовым в Тюмени, в 80 верстах от Ялуторовска.

Поехал я по тогда единственному еще пути — по сибирскому тракту на Тюкалинск и Ишим, где оставался по несколько дней, знакомясь с местными политическими ссыльными. В Тюкалинске я остановился у Швецова, который серьезно изучил быт сибирских крестьян и положение переселенческого дела в Тобольской губ., и почерпнул у него кое-какие сведения для статьи, составлявшейся мною тогда, по просьбе г. Абрамова, для Народного календаря — в виде руководящих указаний для крестьян, переселяющихся в Сибирь*. В Тюкалинске же я познакомился с Ливановым, будущим многострадальным редактором некоторых самарских газет в первые годы нашей «конституции».

В Ялуторовске я прожил с месяц у своего приятеля Сергея Жебунева, вспоминая старину и совместно переживая горе и радости. Тут же судьба свела меня с педагогичкой Л. Д. Черновой⁷⁷, на которой я женился. Так как инженер Чернцов предложил мне при описной партии занятие «техника» и составителя экономического отчета Приангарского края, то мы с женой решили переехать в Иркутск.

По тогдашним способам сообщения путь этот был довольно продолжителен и разнообразен: так как было летнее время, то мы ехали на пароходе из Тюмени до Томска, а оттуда до Иркутска на лошадях.

* См. примечание 76. Р е д.

На тюменском пароходе судьба столкнула нас с симпатичной группой статистиков, направлявшихся в Иркутск по вызову тогдашнего иркутского генерал-губернатора гр. А. П. Игнатьева: в качестве заведующего статистич. бюро ехал бывший саратовский статистик Леонид Семенович Личков и с ним приглашенные им Николай Михайлович Астырев и Евгений Александрович Смирнов. Это были лучшие представители того чрезвычайно симпатичного типа «третьего элемента», которым подарили Россию земские учреждения 70-х годов. Это были люди с чуткой общественной инициативой и общественным настроением. Ехали они по вызову администрации на коронную службу, но преисполненные сердечнейшим желанием служить обществу и его интересам.

С первого же момента привлек к себе все мои симпатии Н. М. Астырев. Его изможденная работой фигура, чрезвычайно интеллигентная и тонко очерченная чистоапостольская физиономия резко выделяли его из всей окружающей среды. Полную противоположность по внешнему виду представлял Л. С. Личков. Чрезвычайно подвижный, в высшей степени живой и экспансивный, Л. С. овладевал собеседниками, пересыпал свою речь остротами и шутками, никому не давал грустить и поддаваться мрачным думам и воспоминаниям. Совершенно своеобразный тип представлял Е. А. Смирнов: это был в высшей степени вдумчивый человек, очень замкнутый, взвешивавший каждое свое слово, все анализировавший и обобщавший; его призванием была, я думаю, кафедра и научная работа, но русская действительность и тут поступила по-своему и бросила Смирнова в разряд практических работников.

Наше совместное путешествие на пароходе из Тюмени до Томска длилось 8 суток, в течение которых мы очень сблизились с статистиками и их женами (Личкова — Анной Гавриловной и Смирнова — Наталией Николаевной). Мы проводили на палубе целые дни: они посвящали меня в суть русской жизни, от которой я был оторван уже целых 13 лет, а я, с своей стороны, знакомил их с жизнью Сибири, в которую они собирались и которая, естественно, их очень интересовала.

Они спешили на работу и в Томске не задержались. Я же с женой оставался здесь на несколько дней для свидания со старыми друзьями. Мы расстались, причем они выразили желание привлечь меня к совместной с ними работе по статистическому исследованию Сибири, и надеялись, что не встретят в этом препятствия со стороны администрации.

Томские друзья встретили меня и мою жену чрезвычайно радушно. Особое утешение мой приезд доставил моему старому испытанному другу Феликсу Волховскому, переживавшему тогда очень тяжелое время. В мое отсутствие покончила самоубийством его любимая жена (урожденная Хоржевская). Она уже давно страдала меланхолией и периодически впадала в край-

не мрачное настроение, переживая какую-то внутреннюю тяжелую драму, которой окружающие не придавали, к сожалению, серьезного значения. Когда я уезжал в Омск, Александра Сергеевна была очень расстроена и несколько раз с большой грустью повторяла: «Вы уезжаете, возле Феликса не останется ни одного близкого друга»... Я тогда был слишком поглощен своими личными делами и недостаточно внимательно отнесся к этим задушевно-грустным словам, истинный смысл которых я постиг лишь тогда, когда я получил весть о трагической смерти А. С. Теперь, встретившись со мною лицом к лицу после разыгравшейся драмы, Волховский, еле сдерживая душившие его рыдания (за многолетнее близкое наше знакомство это был первый и единственный случай, когда я видел слезы на глазах этого благородного и мужественного человека), посвятил меня во все подробности последних дней покойной жены — подробности, потрясшие меня до глубины души...

7

После недельного пребывания в Томске мы отправились на лошадах в Иркутск, остановившись лишь дня на два в Красноярске (Енис. губернии). Здесь я свел личное знакомство с давно заочно знакомым мне врачом Крутовским, чрезвычайно симпатичным и энергичным сибирским общественным деятелем, принимавшим очень глубокое участие в местной жизни и как врач, и как гласный думы, и как журналист. Он занимал почетное место в рядах тогдашней сибирской интеллигенции, всеми своими помыслами и думами энергично отдававший себя служению своей горячо любимой родине.

В Иркутске мы тепло встретились с Астыревым, Личковым и Смирновым, которые успели уже устроиться, и вместе с ними познакомились с местным обществом.

Из политических ссыльных здесь проживали: Сергей Григорьевич Стахевич, самый старший из колонии, судившийся в одно время с Чернышевским по самостоятельному делу. Отбыв каторгу, он, как поселенец, был водворен в Восточной Сибири; служил много лет на приисках, а затем переселился в Иркутск, где приглашен был в бухгалтеры одной из крупных иркутских фирм—Громова. Здесь в Иркутске он встретился с Лидией Николаевной Фигнер, осужденной на поселение по Московскому процессу 50-ти, и женился на ней. В Иркутске же я встретился с старым знакомым своим (еще по Медицинской академии, в которой мы вместе были в 1868—69 г.) Марком Андреевичем Натансоном, выдающимся деятелем по замечательной энергии, живой инициативе и редкому организаторскому таланту, и женой его, Варварой Ивановной (урожденной Александровой). Это была для нас чрезвычайно приятная встреча, так как оба они были прекрасные товарищи и чрезвычайно интересные люди, с которыми можно было не без удовольствия коротать свое время и

в глуши. В Иркутске, собственно говоря, администрация очень неохотно разрешала проживать политическим ссыльным и допускала их сюда или по болезни временно для лечения (как Натансон), или же тех, которые получили уже право свободного передвижения и проживания по всей Сибири, как я¹⁸ и Стахевич, в особенности если они приобретали определенное положение и находились на службе, или же, наконец, по особенно влиятельной протекции, которая в этом отношении, как и во многих других, играла и играет у нас большую роль. Так, например, в скором времени после нашего прибытия в Иркутск сюда прибыла из Якутской области незадолго отбывшая срок каторги Роза Львовна Прибылева (урожденная Гроссман), которую я знал еще в Одессе, когда она оканчивала там гимназию, и ей разрешили временный приезд в Иркутск благодаря обширным связям в правительственных сферах отца ее жениха — Батюшкова-Тютчева. Проживали в Иркутске «временно» Млодецкий, брат казненного за покушение на графа Лорис-Меликова, Назаров и некоторые другие, и уже впоследствии при нас сюда переселились из разных захолустий Ландау и Любовец, устроившиеся в конторе Громова, Морейнис, Хлусевич и некоторые другие.

В Иркутске политическим ссыльным жилось сравнительно очень сносно. Общество относилось к ним с большим уважением, очень охотно принимало их в свои дома и с большой готовностью предоставляло им занятия. Иркутское купечество держалось довольно независимо по отношению к администрации и не смущалось тем, что в составе их служащих находились люди, состоявшие заведомо под надзором полиции. Когда граф А. П. Игнатьев появился в Иркутске, он попробовал давать «добрые советы» именитым купцам, чтобы они держались подальше от политических ссыльных и не поощряли бы их предоставлением им разных должностей, но встретил тотчас же отпор со стороны упомянутого Громова. Это был простой малограмотный человек, вышедший «в люди» из «мальчиков», но с выдающейся практической сметкой и большим здравым смыслом. Он резко заявил гр. Игнатьеву, что он и впредь очень охотно будет принимать на службу политических ссыльных, так как они люди умные и деловые, а главное — безусловно честные, которым он доверяет больше, чем самому себе. До их же «политики» ему нет никакого дела, так как он ею не интересуется, да и вряд ли и ссыльные занимаются ею в Сибири. Так как Игнатьев тогда разыгрывал из себя либерального администратора, то он не считал нужным особенно настаивать на своих «советах» и дело шло попрежнему. Такие же попытки сделал было и заместитель гр. Игнатьева — генерал Горемыкин: ему казалось совершенно недопустимым то, что политические ссыльные служили не только в частных конторах, но и в городской думе и даже в качестве «техников» и «дорожных мастеров» по всему тракту в пределах Восточной Сибири, в

подведомственном ему дорожном управлению, во главе которого стоял тогда барон Розен. И когда он, пользуясь предстоявшим проездом через Сибирь тогдашнего наследника, а ныне царствующего Николая II, по возвращении его из путешествия по Восточной Сибири, и доносами одного из губернаторов, что он не ручается за благополучный проезд, если политические ссыльные не будут убраны с тракта, предложил барону Розену удалить со службы всех политических ссыльных, — последний категорически отказался исполнить это требование, заявив, что он предпочитает сам выйти в отставку, чем лишиться самых честных и дельных служащих. Горемыкин на отставку бар. Розена не согласился, и дело осталось в прежнем положении. Впоследствии генерал Горемыкин радикально изменил свой взгляд на политических ссыльных и относился к ним очень благосклонно и доброжелательно, повторяя при каждом удобном случае: «я не должен залезать в душу политическим ссыльным и копаться в их убеждениях, а вот когда они попадутся в каком-либо преступном деянии, я их тогда не пощажу». Впоследствии, когда секретарем Восточно-Сибирского отдела Географического общества, по рекомендации Потанина, избран был Дм. А. Клеменц, Горемыкин не только этому не препятствовал, но очень с ним сблизился и при отъезде его из Иркутска упростил его принять от него на память подарок — серебряный портсигар.

8

Вообще жизнь в Иркутске протекала не без интереса и, во всяком случае, не хуже, чем во многих крупных русских губернских городах. Политические ссыльные жили здесь не замкнутой кружковой жизнью, как в большинстве небольших городов Западной и Восточной Сибири, а принимали участие в общей культурно-просветительной деятельности, работая в местном Восточно-Сибирском отделе Географического общества и ценном при нем этнографическом музее, в местной печати, принимая прямое и косвенное участие в муниципальной жизни, в школьном деле и т. д.

Вскоре по прибытии в Иркутск я познакомился с более крупными деятелями сибирской печати: В. Вагиным и д-ром. Писаревым. Первый был в своем роде замечательный человек. Он прошел длинную и продолжительную карьеру сибирского чиновника до исправника включительно. Затем уже в преклонном возрасте он исключительно занялся работой ученой и журнальной, был деятельнейшим работником отдела Географического общества и принимал весьма живое и близкое участие в органах сибирской печати: местной — «С и б и р ь» и издававшемся тогда в Петербурге Н. М. Ядринцевым «Восточном Обзоре и и», — участие совершенно бескорыстное (в материальном отношении); он всецело посвятил остаток своей жизни защите интересов Сибири. Когда я познакомился с ним, он был уже в

очень преклонном возрасте, ему перевалило уже за 80 лет, но он сохранил удивительную бодрость и крепость физическую и умственную благодаря отчасти чрезвычайно регулярному и правильному образу жизни.

Д-р Писарев состоял санитарным врачом в Иркутске и фактически редактировал издававшуюся там еженедельную газету «Сибирь», хотя номинальным редактором-издателем и главным ее вдохновителем был его дядя — М. В. Загоскин. Последний не жил в Иркутске, а верстах в 30-ти оттуда — в селении, в котором у него была мельница, доходами с которой и отчасти пенсией (он был педагог в отставке) он и существовал.

Вскоре по прибытии в Иркутск я съездил с женою в деревню к Загоскину и познакомился там с ним. Это был еще бодрый старик, лет за 60, весьма оригинальный и своеобразный, всецело поглощенный заботами и интересами сибирского крестьянства, с бытом и нуждами которого он был очень близко и непосредственно-практически знаком. Проживал он почти безвыездно с женой (детей у него не было) в деревне, в небольшом, но уютном собственном домике, окруженный книгами и лучшими органами периодической печати, которые доставлялись ему из Иркутска, куда он изредка наезжал на самое короткое время. В этой деревне он устроил школу, в которой сам и учительствовал, обучая ребятшек грамоте, и знакомил взрослых с более рациональными приемами сельского хозяйства. Не без основания местная интеллигенция называла его сибирским Энгельгардтом и от времени до времени навещала его в его отшельническом домике.

Как раз к тому времени, когда я прибыл в Иркутск, издание «Сибири» было администрацией временно приостановлено, и это обстоятельство немало угнетало и Загоскина, и Вагина, и Писарева, связанных с газетой всеми нервами своего существования. Но они не теряли надежды на возобновление издания их дорогого детища и заранее приглашали меня к участию в «Сибири», когда она начнет выходить, гарантируя даже кое-какой маленький гонорар, хотя доходы издания были крайне мизерные, хватали лишь на покрытие типографских расходов и на грошевое вознаграждение трех-четырех сотрудников (максимальный тираж «С и б. Г а з.» и «С и б и р и» не превышал тогда 1.500 — 1.800 подписчиков, и при 7-рублевой подписной плате бюджет составлял 10 — 12 тысяч рублей, так как объявлений тогда еще не было). Понятно, я с радостью обещал этим бескорыстным деятелям свое сотрудничество. А пока что забота о материальном существовании моем, моей жены и семьи заставляла меня подготовиться к предстоявшей мне работе в качестве «техника» и «экономиста» в описной партии по исследованию порогов реки Ангары.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ „БЫЛОГО“

«Повествователь должен прежде всего быть правдивым», говорит на 58-й странице журнала «Былое» за декабрь 1906 г. «Старик»*) в XI главе его интересного очерка: «Движение 70-х годов по Большому процессу (193-х)» Это — святая истина, которая, к сожалению, им же резко нарушается как в общем освещении характера народнического движения, так и в частном утверждении его в той же главе того же очерка двумя страницами выше, когда он утверждает, что «ни один из лавровцев даже случайно не был привлечен к процессу 193-х».

Как один из участников в этом процессе, я категорически утверждаю, что не только к дознанию, но и к суду по этому процессу привлекались заведомые «лавровцы», никогда к «анархистам» никакого отношения не имевшие. Лично я принимал участие в народническом движении с первого момента его зарождения, но всегда к анархизму относился совершенно отрицательно, — а я, как известно г. «Старику», привлекался не только к дознанию, но и судился (и был осужден) в числе 193-х по Большому процессу. Позволяю себе категорически утверждать, что и привлекавшиеся к тому же процессу 193-х А. И. Желябов, Ф. В. Волховской, С. А. и В. А. Жебуневы и некоторые другие к анархистам не примыкали, и что, во всяком случае, отождествление «народничества» 70-х годов с анархизмом, по меньшей мере, неосновательно.

Я хотел бы надеяться что г. «Старик», в интересах «правдивости», которую он сам считает обязательной для «повествователя», вновь тщательно просмотрит свой очерк, сличит его с фактическими данными и исправит все его как фактические, так и тенденциозные погрешности. Сам я непосредственно «в народе» не работал, да и изъят был из жизни в январе 1874 года, т. е. до того момента, когда народники «двинулись в народ». Полагаю, что кто-нибудь из последних, еще ныне здравствующих, сочтет своим долгом прийти на помощь г. «Старику» при пересмотре им своего очерка....

3-го марта 1907 года.

С. Чудновский.

(«Былое», 1907 г. III, стр. 308—309).

*) С. Ф. Ковалик.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ С. Л. Чудновский ошибочно указывает в «Воспоминаниях», что он поступил на юридический ф-тет Новорос. у-та. В Одесск. обл. ист. архиве (фонд правления Новорос. ун-та 1868 г., дело № 2, «О зачислении разных лиц в студенты») имеется подлинное его заявление о приеме на естественное отделение. С другой стороны, он не значится в списке студентов, перешедших на юридический факультет с других ф-тов.

² Первые воскресные школы появились не в Киеве, а в Петербурге, во второй половине 1858 года, по инициативе молодых (преимущественно инженерных) офицеров, во главе с одним из последних, бароном Косинским. В Киеве же они учреждены были в конце 1859 г. студентами киевского университета, под руководством профессора последнего П. В. Павлова и Н. И. Пирогова, бывшего в то время попечителем Киевского учебного округа.

³ Кашеварова-Руднева, Варвара Александровна, первая в России женщина-врач. Она была допущена к слушанию лекций в Медико-Хирургической академии, которую и окончила, «благодаря исключению, сделанному в пользу одного маленького, башкирского племени, к которому она принадлежала и религиозные верования которого не допускают возможности лечения больных женщин лицами мужского пола» (В. Стасов. «Надежда Васильевна Стасова. Воспоминания и очерки» С.-Пб. 1899 г., стр. 217).

⁴ Ковалевский, Владимир Иванович. Будучи студентом Лесного института в Петербурге, был 5 января 1869 г. арестован по нечаевскому делу, но судом оправдан. Был очень популярен в кругах, близких к чайковцам. В 1879 г. получил разрешение поступить на службу в министерство гос. имуществ. Впоследствии был товарищем министра финансов (1900—1902 гг.) и председателем Технического общества и дослужился до чина тайного советника.

⁵ Обращение это появилось в № 82 «С.-Петербургских Ведомостей» от 24 марта 1869 года. Оценка его дана была в журнале «Народное Дело» (издававшемся с 1868 г. в Женеве, сначала при ближайшем участии М. А. Бакунина, а затем (со второго №) перешедшего в руки Н. И. Утина), в № 4-5-6, май 1869 г.).

⁶ Прокламация П. Н. Ткачева «К обществу», помещенная в газете «Весть» от 22 марта 1869 г., оканчивалась словами: «Протест наш тверд и единодушен, и мы скорее готовы задохнуться в ссылке и казематах, нежели задыхаться и нравственно уродоваться в наших академиях и университетах».

⁷ С. Л. Чудновский имеет в виду, очевидно, передовую № 66 «Московских Ведомостей» от 25 марта 1869 года, в которой говорилось: «...8 лет назад Петерб. университет был временно закрыт вследствие беспорядков, возбужденных польским влиянием. «Голос» замечает, что и нынешние беспорядки в учебных заведениях были тем значительнее, чем многочисленнее в них польский элемент, и тем слабее, чем менее число студентов из поляков».

⁸ Чудновский, Юрий Трофимович (1843—1896), проф. Медико-Хирургической Академии, терапевт и диагност.

⁹ В то время, как С. Г. Сватиков приводит те же цифры подвергшихся репрессиям студентов М.-Х. академии (в статье Студенческое движение в 1869 г. «Наша Страна» 1907 г., № 1), А. Ш. в «Очерках истории студенческого движения в Военно-Медицинской академии» (Юбилейный сборник В.-М. А., посвященный 10-й годовщине Октябрьской революции, стр. 88) приводит несколько иные сведения, а именно: «...уволено было без права поступления в другие учебные заведения — 6 человек, с правом такого поступления — 63 чел., с правом обратного поступления в Академию — 3 человека».

¹⁰ С. Л. Чудновский был выслан из Петербурга 29 марта 1869 г.

¹¹ Енкуватов, Дометий Александрович, род. около 1847. Окончив николаевскую гимназию, поступил вместе с Чудновским в Новор. университет, из которого вскоре перевелся в Московский. Состоя студентом последнего, был членом организованного С. Г. Нечаевым тайного общества «Народной расправы». Арестованный в 1869 г. по нечаевскому делу, был приговорен к 8 месяцам тюрьмы и надзору полиции на 5 лет.

¹² Перепечатанная в № 73 «Одесского Вестника» от 3 апреля 1869 г. статья была напечатана в «Киевлянине», № 36.

¹³ Упоминаемая статья «Московских Ведомостей» была помещена не в одном из мартовских номеров за 1869 г., а в № 112 от 24 мая 1869 г. (передовая). Эта прокламация Нечаева, обращенная к «Студентам университета, Академии, Технологического института в Петербурге», была напечатана в стенографическом отчете по нечаевскому делу в «Правительственном Вестнике», № 163 от 10 марта 1871 г.

¹⁴ 21 апреля 1869 г. херсонский губернатор С. И. Старынкевич доносил бессарабскому и новороссийскому генерал-губернатору П. Е. Коцебу о прибытии студентов Семена Урсати, Андрея Корвацкого и Соломона Чудновского, при отношении киевского губернатора от 2 апреля. Это донесение находится в Одесском областном историческом архиве (называемом впоследствии нами сокращенно Обл. ист. арх.), фонд новороссийск. ген.-губ. по секр. столу «Дело о студентах Петербургского университета (sic!) Ралли и других студентах, высланных из С.-Петербурга за участие в беспорядках», 1869 г., № 10.

¹⁵ Михайлов, Михаил Ларионович (1826—1865), поэт-переводчик, беллетрист и публицист, был близок к «Современнику» и Чернышевскому. Напечатал за границей и распространил в России составленную Н. В. Шелгуновым прокламацию «К молодому поколению», за что был сослан на 6 лет в каторжные работы сначала в нерчинский, а затем в кадинский рудник, где и умер в 1865 г.

¹⁶ По сведениям, любезно сообщенным нам Е. С. Берлинерблау, Берлинерблау умерла в Бостоне в 1921 г.

¹⁷ Исправляем ошибку, допущенную в 1-м издании «Воспоминаний», где эта фраза печаталась сл. образом: «автор знаменитых одесских гекатомб». Следует — «Одесских катакомб», т. к. речь идет о книге, написанной полицеймейстером В. М. Антоновым, выпущенной им под псевдонимом Правдина — «Одесские катакомбы». Роман из записок полицейского агента, ч. 1 и 2. Спб. 1874 г.

¹⁸ Вот приведенные в официальных источниках результаты одесского погрома 1871 г.: убитых — 4, раненых штыками — 3, тупым оружием и камнями — 17 и «один — Михаил Попандогуло — был высечен так усердно, что должен был быть отправлен в больницу». В 528 домах были разбиты окна, в 335 квартирах разбито и разграблено имущество, в 151 лавке разбиты окна и двери, в 401 лавке разграблен товар.

¹⁹ По официальным данным, богишичевская история началась следующим образом. На лекции 16 октября 1872 г. проф. Богишич, увидя, что студент Абрам Бер сидит облокотившись на парту, сказал ему: «Что, вы — в кабаке? Нехватает еще подушек. Если не умеете вести себя прилично, то можете идти вон!» А попытавшегося объяс-

ниться Бера прервал криком «Молчать, вон!» — по одним показаниям, по другим — «Пс!» и толкнул ногой. Подробно об этой истории и роли в ней Желябова см. статью В. Н. Писной «Студенческие годы Желябова» («Былое» 1925 г., № 4).

²⁰ Тригопи в отрывке из своих воспоминаний («Мой арест в 1881 г.» «Былое» 1906 г., № 3, стр. 77) пишет: «Во время истории (богишичевской) меня в Одессе не было. Приехал я уже накануне отправки на пароходе Желябова в Керчь. На пристани собрались почти все студенты Новороссийского университета и масса посторонней публики провожать Желябова».

²¹ Считаю не лишним привести следующий документальный комментарий, относящийся как к проводам Желябова и Белкина, так и к «Коммуне», описываемой ниже.

13 ноября начальник одесск. жанд. управления доносил градоначальнику по поводу этих проводов, что при прощании... «Супруненко сказала громко: «До свидания, ура!» и этим вызвала общее громкое ура, продолжавшееся некоторое время и сопровождавшееся маханием шапками и платками... В числе студентов находились Спояло, Желтоновский, Супруненко, Попич 2-ой, Чудновский и Букараб, а также проживающие на Княжеской улице вместе с студентами девицы: Супруненко, Ласевицкая и Брайкевич».

По получении этого донесения градоначальник поручил полицеймейстеру секретное наблюдение за этими девицами и сообщить верные сведения об их образе жизни, поведении и занятиях.

²² Из архивных материалов (Одесский обл. ист. архив, фонд прокурора одесск. судебной палаты, «Дело о противоправительств. пропаганде в империи». Обвиняемый Лобковский) можно привести следующее показание одного из участников этих реферативных кружков — предателя Лобковского, по оговору которого Чудновский привлекался к дознанию, причем по «высоч. повелению» 10/III 1877 г. дело это было прекращено в виду уже возбужденного судебного преследования по делу о противоправительств. пропаганде («Дело 193-х»). «На сходках радикалов крайних при мне читались рефераты революционного свойства. Ковальский читал «Бунт Разина — чисто народное движение», Волховской читал в рукописи сатиру Салтыкова о чиновниках, Дракопилло читал реферат о брошюре Бакунина «К русским революционерам». По поводу последнего реферата шли продолжительные и самые жаркие прения, в которых отличались особенно женщины, бывшие на вечере, — Анна Розенштейн (Макаревич) и жена Желтоновского. Они с криком отчаяния доказывали, что в настоящее время в России революция пока еще буржуазная, в зародыше и пока она еще не успела захватить, по их словам, в свои железные лапы рабочий народ. Означенные реферативные вечера происходили в 1873 г.»

²³ Волховской, Феликс Вадимович (1846—1915), будучи студентом Моск. университета, привлекался к дознанию по делу 4 апреля 1866 г. (о покушении Каракозова на имп. Александра II), но был от взыскания освобожден. Был привлечен вторично и арестован по делу о т. н. «Рублевом обществе», организованном им и Г. А. Лопатиным. Был арестован 16 апр. 1869 г. по нечаевскому делу; с 15 июня 1869 г. по 11 июля 1870 г. находился в заключении в Петропавловской крепости, откуда был переведен в срочную тюрьму. Приговором 15 июля 1871 г. был по суду оправдан.

Волховские приехали не в конце 1871 г. и не в начале 1872 г., а не раньше конца сентября 1872 г.

²⁴ Г. А. Лопатин, Волховской и другие привлекались к ответственности по делу «Рублевого общества», а не общества «Копейка», как ошибочно пишет С. Чудновский.

²⁵ Нам удалось обнаружить в «Новороссийском Телеграфе» лишь один фельетон из тех, о которых идет речь, а именно: «Н. Т.» № 279,

пятница 27 декабря 1872 г. Из заседания Городской думы (без подписи).

²⁶ Глубокая дружба Волховского и Чудновского прервалась лишь смертью последнего. Лучше всего об этой дружбе говорит сам Волховский в своем письме (неопубликованном) от 9 июня 1912 года к Л. Д. Чудновской, после смерти С. Л.: «Да, Соломон был моим очень старым и очень любящим другом. Я был всю жизнь счастлив в дружбах, но и при богатстве этого рода дружба Соломона была большой и почетной привилегией».

²⁷ «Жак» — Яков Александрович Новиков (1850—1912), писатель-социолог и владелец канатного завода в Одессе. Вначале был представителем т. н. органического направления, впоследствии примкнул к психологической школе в социологии. В своих публицистических работах был пацифист. Напечатал свои первые две работы по-русски, он впоследствии, живя на Западе, писал исключительно по-французски и итальянски. Сочинения его, переведенные на многие иностранные языки, в России совершенно не пользовались известностью.

²⁸ 7 марта 1872 г. нов. ген.-губ. препроводил градоначальнику прошение Чудновского о снятии с него полицейского надзора, для сообщения сведений о нем и заключения по его ходатайству. В виду неимения препятствий со стороны запрошенных градоначальником нач. жандармского управления и полицеймейстера, 22 сентября Бухарин сообщил о возможности снятия надзора. 25 октября петербургский обер-полицеймейстер Трепов сообщил Бухарину, что министр внутренних дел уведомил его 16 октября о снятии с Ч. полиц. надзора, с разрешением проживать, где пожелает.

²⁹ 11 апреля 1873 г. Ч. обратился к ректору Новороссийск. университета с прошением о выдаче ему аттестата об окончании гимназии. На прошение резолюция ректора Ф. Леонтовича: «Отказать» (Архив правления Новорос. университета. Дело № 2, 1868 г. о зачислении разных лиц в студенты. Лист 374).

³⁰ После смерти М. Е. Мандельштама С. Л. Чудновский поместил в газете «Одесские Новости» (№ 8.666 от 9 (22) марта 1912 г.) свои воспоминания о встрече с ним в Вене в 1874 г.

³¹ Светозар Маркович (1843—1875), сербский писатель и социалист, окончил в 1866 г. отделение Высшей школы в Белграде, а затем поступил не в Московский университет, а в Институт гражданских инженеров в Петербурге, где пробыл до 1869 г., когда вследствие студенческих беспорядков он был вынужден покинуть Россию. Маркович поступил в Цюрихский политехникум, а в 1870 г. вернулся в Сербию.

Он последовательно редактировал следующие газеты: «Раденик», («Работник») — 1871—72 гг., «Глас Явности» («Голос Общества») — 1873—74 гг., «Освобождение» — 1875 г. По своим взглядам М. — ученик Добролюбова, Писарева и Чернышевского. Его учение близко к учению Блечфорда и к французским т. н. «интегральным» социалистам — Бенуа Малону и Жоржу Ренару.

³² Гольденберг-Гетройтман, Лазарь Борисович (1846—1916), студент физ.-мат. факультета Харьковского университета, а затем Петербургского технологического института. В 1868 г. принимал участие в нелегальном кружке «Сморгонь», участник студенческих волнений 1868—69 гг., за что был арестован и выслан в г. Темников. В 1870 г. привлекался по делу о подстрекательстве крестьян к неплатежу налогов, за что был приговорен к 8 месяцам заключения в крепости, но, не отбыв наказания, бежал за границу. В 1872 и последующие годы в Цюрихе и Женеве заведывал типографией чайковцев. Изгнанный из Швейцарии, жил в Лондоне, принимал участие в журнале «Вперед» в качестве его корреспондента и наборщика.

³³ Бреммер-Шлюссель (Bremmerschlüssel) назывался дом в Цюрихе, почти сплошь заселенный бакунистами. Под «осадой Бреммер-

Шлюсселя» Чудновский, вероятно, подразумевает столкновение лавристов и бакунистов, происшедшее в этом доме, во время нахождения в нем Библиотеки русских студентов в Цюрихе, поводом к которому послужила форма управления этой библиотекой. Основанная Армано Россом (М. П. Сажин) и его группой, она управлялась группой учредителей, образовавшей особое «Общество», члены которого принимались по баллотировке. Все остальные читатели (количество которых доходило до 200 чел.) были лишены каких бы то ни было прав, вследствие чего это общественное учреждение находилось всецело в руках бакунистов. Столкновение это произошло на годичном собрании «членов» «Общества» и в конце февраля 1873 г.

³⁴ Н. А. Чарушин в своих воспоминаниях («Детство и в гимназии. Кружок чайковцев». М. 1826. Стр. 143—147), описывая свой приезд в Одессу, пишет следующее:

«От Волховского я узнаю, что из-за границы недавно вернулся его старый приятель и ближайший его сотрудник по организации одесского кружка, Соломон Лазаревич Чудновский... Вызванный в Одессу своими друзьями, чтобы принять участие в развращающейся деятельности кружка, он бросил университет и возвратился в Одессу, предварительно при помощи своих львовских друзей наладив транспортную нелегальную литературы на южной границе и оказав содействие Куприянову по отправке купленной последним типографской машины в Россию. Чудновский входил в состав одесского кружка Волховского и был его правой рукой... Я быстро сошелся с ним и проводил немало времени в его обществе, слушая его рассказы о заграничной жизни и тамошнем рабочем движении. Много он говорил мне о своей встрече за границей с Куприяновым, который произвел на него обаятельное впечатление и своим внешним видом, и своим глубоким аналитическим умом, легко и свободно разбиравшимся, несмотря на свою молодость, в самых сложных философских и экономических вопросах.

«... Говоря о своем последнем посещении Одессы, когда я впервые познакомился с Чудновским, я считаю вполне уместным сделать небольшие поправки и пояснения к воспоминаниям последнего, относящимся к этому посещению!»

«... Мое посещение Одессы, о котором говорит Чудновский, было уже по счету четвертое (в 1873 г.), первым же оно могло быть лишь для самого Чудновского, которого в предыдущие мои посещения в Одессе еще не было. Уже в первый мой приезд туда в конце февраля или начале марта, как я уже писал выше, все основные вопросы, согласно данному мне поручению, были выяснены и обсуждены, и мы пришли к полному и единодушному соглашению. Последующие же мои посещения имели целью лишь ближе ознакомиться с лицами, входящими в состав организации, прочнее закрепить нашу связь и обсудить и договориться по некоторым частным вопросам, что по тем или иным причинам не могло быть сделано ранее. Приезжал же я в Одессу, конечно, не как «специальный ревизор», как вой миссия я на себя не брал и никто таковой на меня не возлагал и не мог возлагать уже по той простой причине, что отношения провинциальных отделений к петербургскому кружку были не подчиненные, а равноправные и автономные, основанные лишь на совершенно добровольной духовной связи, порвать которую каждое отделение имело полную возможность и право, если бы почему-либо наши дороги стали расходиться».

«Переходя далее к характеристике моих политических воззрений, Чудновский на следующей странице (355) ** тех же воспоминаний,

* См. исторический сборник «Наша Страна» 1907 г. «Отрывки из воспоминаний 1872—73 гг.» С. А. Чудновского, стр. 354 и 355. (Прим. Н. А. Чарушина).

** Стр. 78 настоящего издания. Ред.

к моему немалому удивлению, шипет... далее, процитировав почти целый абзац со стр. 79 настоящих воспоминаний от слов: «при первом знакомстве»... и кончая словами: «таковой и поныне...», Н. А. Чарушин продолжает:

«... И не один Чудновский, но и некоторые другие в своих воспоминаниях, как, напр., Старик (Ковалик)*, тоже указывают на меня как на одного из наиболее ярко выраженных анархистов в кружке чайковцев. На самом же деле анархистом я никогда не был.

«Ошибаясь, как я полагаю, в определении моей политической физиономии того далекого времени, Чудновский совершенно прав, когда говорит, что я расстался с ним, как и другими одесситами, при наличии самых дружеских отношений, решительно ничем не омрачаемых. Он также справедливо замечает далее, что дружба эта с годами только укреплялась, но забыл отметить, что он, живя после суда в Западной Сибири среди многочисленной политической ссылки, был самым деятельным нашим корреспондентом, когда мы, отрезанные от мира, жили на Каре. Его письма, всегда интересные и обстоятельные, знакомили нас с судьбой наших товарищей, поселенных на далеком западе Сибири, читались всегда с живым интересом и связывали нас с миром живых людей, за что мы были несказанно ему признательны». Письма эти, о которых Н. А. Чарушин говорит в своих воспоминаниях «На Каре» (стр. 37), к сожалению, по сообщенным им нам сведениям, не сохранились у него.

³⁵ Братья Николай и Сергей Жебуневы основали в Цюрихе в 1872—1873 г. кружок, в который, кроме них, входил их двоюродный брат Л. Н. Жебунев, жена Николая Жебунева Зинаида Ивановна, супруги Макаревич, Г. Кобиев, Т. Квятковский, Трудницкий и др. Прозвище сен-жебунистов дали этому кружку не «власти, а впоследствии и мемуаристы», как полагает Чудновский, а, по словам Трудницкого, вследствие того, что «члены его желали путем науки дойти до познания народного блага и, таким образом, резко отличались от русских эмигрантов-революционеров, которые в насмешку называли этот кружок сумасшедшим орденом сен-жебунистов» («Процесс 193-х». С предисловием В. Каллаша, 1906 г., стр. 91).

По этому же поводу Кулябко-Корецкий шипет: «За какую-то выдуманную ими (членами этого кружка) сектантскую ересь, в pendant к «сен-симонистам», В. Н. Смирнов назвал их «сен-жебунистами», каковая кличка последовала за ними и в Россию и даже, кажется, ссылку в далекую Сибирь» (Кулябко-Корецкий. «Из давних лет. Записки лавриста». 1931 г., стр. 43).

³⁶ Макаревич (урожд. Розенштейн), Анна Марковна, в 1878 г. эмигрировала после «Чигиринского» дела за границу, под фамилией Кулешовой. Вышла замуж за известного итальянского анархиста А. Коста, но, став соц.-демократкой, разошлась с ним и сблизилась с лидером итальянской соц.-демократической партии Турати. До самой смерти, в 1926 г., играла видную роль в итальянском социалистическом движении.

³⁷ «Путь», которым пользовался Ч. по указанию В. Дебагория-Мокриевича (В. Дебагорий-Мокриевич. «От бунтарства к терроризму». 1930 г., книга 1, стр. 139, 157, 187), был организован Ф. Н. Лермонтовым. Для перевозки анархистской литературы Дебагорий-Мокриевич оставил контрабандисту адрес Судзиловского для уведомления о получении книг. В виду того, что адрес этот попал в руки полиции, произведшей обыск в «Коммуне» анархистов в Киеве, где жил Судзиловский, Дебагорий-Мокриевич заподозрил контрабандиста в предательстве. Последнее подтвердилось при приезде Деб.-Мок. фактом

* В «Приложении» мы приводим письмо С. Л. Чудновского в редакцию «Былого» по поводу воспоминаний Ковалика.

свидания контрабандиста с пограничным стражником, а впоследствии — арестом Чудновского.

³⁸ Обстоятельства, при которых произошел этот арест, равно как и ряд предшествующих ему моментов, полностью освещаются делом прокурора одесской судебной палаты 1874 г. «О проносе неизвестными лицами вблизи местечка Ожиговец книг и брошюр революционного содержания». Суть имеющихся в деле материалов была изложена прокурором од. суд. палаты в его подробном донесении на имя министра юстиции от 15 марта 1874 г. Мы позволим себе изложить по возможности кратко наиболее существенное*:

«Несколько месяцев тому назад в местечко Ожеховцы Волынской губ. приезжал неизвестный молодой человек, отыскивавший охотников привезти ему из-за границы какие-то книги. Около того же времени мешанину г. Проскурова Мошко Симха было сделано о том же предложение одним заграничным евреем. Но, узнав, что книги запрещенные, Симха отказался. При его возвращении в Проскуров в вагоне жел. дороги он обратил внимание на ехавшую вместе с ним тамошнюю еврейку Бейлу, имевшую при себе маленький чемодан, привлекая к себе внимание Симхи своей тяжестью. На расспросы о его содержании Бейла ответила, что «Симха верно знает, что в нем», и что она везет его в Проскуров, где должна сдать одному господину по имеющемуся у нее адресу, причем показала и самую бумажку с адресом: «Иван Иванов (фамилия, которую нельзя было разобрать) в доме Кофмана, город Проскуров». В Проскурове Мошко Симха донес обо всем этом полицейским властям и получил от них приглашение (предложение?) собрать и представить более подробные сведения. Симха разыскал Бейлу в Подволочиске и по ее указаниям направился в Тарнополь к еврейке, от которой Бейла получила вышеупомянутый чемодан. Предоставив этому еврейке (позже он его называет Иось Эллер — он же Иось Гельбер Кантор) свои услуги, он вступил с ним в соглашение относительно 5 тюков запрещенных книг, которые он должен был, получив в назначенном месте, доставить по железной дороге в Одессу еврейку Мошке Зеликовичу, проживающему в доме Криди на Итальянской улице, к которому каждый вторник около 7 часов вечера является лицо, которому как условный знак следует сказать, что присланные вещи от Шварценберга и просить его, он ли «Иван Иванов»; при сдаче книг Симха должен был получить от него 228 р.

В ночь с 30 на 31 декабря 1873 г. Мошко Симха, предупредив обо всем проскуровского исправника Рожанского, отправился с последним на указанное Эллером место в поле, где и были найдены 5 тюков с книгами. Тюки эти были осмотрены, причем на тюке была надпись «Calaus» «Kadajski», Bannbeamten, Podwoloczyska Galizien, а на тюке № 4 В 32 Wien Oesterreich Josephstadt Landsgasse 11, Th 42, H-rn Tchoudnoffsky, а в тюках найдены были следующие книги и брошюры».

Цитируем дословно список, помещенный на листе дела 2-м. Правая колонка дает количество экземпляров, указанных в выше названном издании материалов по «Делу 193-х» под ред. В. Каллаша.

- | | | |
|--|---------|-----|
| 1. Отщепенцы Соколова, изд. 1872 г. | 19 экз. | 3 |
| 2. Очерки политической экономии, соч. Чернышевского | 4 экз. | |
| 3. Интернационал и революция по поводу Гаагского конгресса 1873 года | 9 экз. | |
| 4. Гражданская война во Франции, соч. Карла Маркса | 3 » | 1 |
| 5. Труден ли выкуп земли. | 5 » | 1 |
| 6. Песенник 1873 года. | 4 » | 148 |
| 7. История развития Интернационала 1873 г. | 1 » | |

* Некоторые подробности мы добавим на основании материалов следующего издания: «Процесс 193-х». С предисл. В. Каллаша. 1906 г., стр. 100, 101.

8. Восточный вопрос в Панораме, соч. Огарева 1869.	1 экз.	
9. Исторические письма П. А. Миртова 1870.	1	»
10. Вперед. Изд. 1873 г.	244	» 92
11. Стенька Разин	67	» 85
12. Вольный атаман Степан Тимофеевич Разин.	96	» 155
13. Брошюра «Что-то, братцы, как плохо живется нашему брату на русской земле».	218	» 390
14. История одного фр. крестьянина. Написана одним французским крестьянином к русским в знак братской любви. 1873 г.	149	» 523
15. О мученике Николае.	509	» 409
16. Рукопись о налоге	1	» 1
17. Русским цюрихским студентам	14	»
18. «Разных рев. сочинений на русском языке	16	»
19. » » » французск	58	»
20. » » » немецком	27	»

По сведениям, приводимым В. Каллашом, были еще следующие книги:

Программа работников.	2 экз.
Правда	9 »
Правдивых идей Шевченко	10 »
Поэзий	12 »

а в числе книг были следующие (по 1 экз.): *Reden Bebel's, Das Leben Jesu, Herrn Bastias-Schultze von Delitsch, Perrisent Dieu et la pretraille* и журнал *Volkswille* — три тетради за 1870, 71 и 72 гг.

Книги были запакованы и отправлены в Одессу, куда в ночь на 1 января 1874 г. выехали исправник и жандармский капитан с Мопшкой Симхой, телеграфировавшим с пути Зеликовичу, что он выехал с товаром и чтобы тот, когда будет у него Иван Иванов (1 января был вторник) предложил ему подождать до 12 час. (час прихода поезда). Но телеграмма была доставлена с опозданием, и Иван Иванов, бывший 1 января у Зеликовича, сказал, что будет в следующий вторник. Начальником жандармского управления подполковником Кнопом было начато дознание, которым, однако, личность Ивана Иванова установлена не была.

Последний был у Зеликовича 7-го и предложил ему самому получить транспорт, за которым он явится 8 числа в 7 часов вечера. Но ни 8-го, ни в последующие дни он не являлся. Книги были перевезены из ж.-д. складов в жанд. управление и по телеграфному требованию III отделения высланы туда, с оставлением при деле образцов.

М. Симха вернулся в Проскуров, где застал на свое имя письмо от Иоса Эллера, просившего книги не отправлять в Одессу, а получить у него новый адрес. Увидав Эллера, Симха сообщил, что к Зеликовичу никто за книгами не явился, и просил дать ему адрес получателя. Эллер обещал узнать этот адрес от служащего Подволочисской станции Кадайского*, но не исполнил, а дал Симхе два документа на имя Василия Фишера**, будто бы оставленные этим лицом в виде залога. Отправившись к Кадайскому, Симха предъявил эти документы, сказал, что знает все условные знаки и возит книги И. Иванову и, внушив доверие Кадайскому, получил от него два адреса: 1) «Генриху Марковичу Попичу, дом Гросмана на Почтовой улице, спросить Семенова», с письмом следующего содержания: «Семенов, этот государь хочет вам

* Кадайский служил кассиром на Подволочисской станции жел. дороги. Ред.

** Фишер, Василий Федорович. Студент Медико-Хирургической академии, а затем Киевского университета. Один из основателей киевской «Коммуны» анархистов. Был в 1874 г. арестован, судился по процессу 193-х и сослан на поселение в Вологодскую губернию с воспрещением заниматься фельдшерской практикой.

ваш документ отдать; также, конечно, чтобы вы с ним разговорились. Назначьте ему место», и 2) «В Одессу, Петру Семеновичу Ващенко, до востребования».

По показанию Симхи, вечером 26-го к нему явился молодой человек (оказавшийся впоследствии Чудновским) и спросил его, он ли приехал из Волочиска и его ли зовут Иось Эллер.

Назвавшись товарищем Эллера, Симха успокоил Чудновского относительно переданных последним ему слухов об аресте книг, сказав, что его транспорт невредим, и условился с ним, что Ч. придет 27-го к нему за книгами. Явившийся 27-го вечером на условленное место встречи в сопровождении еще 2 лиц, Чудновский, посоветовавшись с одним из них, согласился на предложение Симхи поехать за книгами на Молдаванку, причем, едуци туда, уговаривал Симхи не выдавать его, ставя на вид, что он сможет контрабандой зарабатывать до 100 р. в месяц. Прибыв в указанный дом на Молдаванке, Ч., имевший привязную бороду, в которой он являлся и на первое свидание с Симхой, был там задержан и сначала назвался Федоровым.

Показания Ч. совпадают с изложенными им в своих Воспоминаниях, причем он только заявил, что бороду одевал лишь в последний раз 27-го числа. В одном из лиц, сопровождавших Ч., жандармский унтер-офицер, наблюдавший за свиданием Чудновского и Симхи 27-го числа, признал состоявшего под надзором полиции, а потому лично известного ему Петра Макаревича, который жил одно время вместе с Чудновским на одной квартире. У Макаревича был произведен обыск, ничего предосудительного найдено не было, и хотя семья его подтвердила, что 27-го числа вечером он был дома, но все же он был отдан на поруительство с залогом в 1.000 руб.

30 8 марта полк. Кнопом было закончено дознание по делу Чудновского и Макаревича, а 11 марта Чудновский находился уже в одесском тюремном замке.

40 М. О. Лернер предпринял издание не «Записок писателя», а «Записок гражданина», в одном из номеров которых он описал свое пребывание в одесской тюрьме, скрыв ее название. («Записки гражданина», 1876 г. Очерки одной образцовой тюрьмы (из писем к другу). стр. 32—40). М. О. Лернер не мог сотрудничать в «Ведомостях одесск. градонач.» при Шувалове и Нейдгарте, т. к. умер раньше.

41 9 мая министр юстиции сообщил Евреиннову о том, что им предложено Крахту приступить к производству следствия. 8 июня Крахт сообщил Евреиннову о сделанном им распоряжении о вызове Симхи в качестве свидетеля в Одессу. 8 июля Крахт уже препроводил Евреиннову законченное им предварительное следствие, которое и было 10 июля переслано министру юстиции.

42 Не Завадский, а Е. О. Заславский, см. ниже примечание 47.

43 В августе 1874 г. Л. Л. Чудновский и П. М. Макаревич обратились с прошением на имя министра юстиции первый — об освобождении брата, второй — о своем собственном. Жихарев, получивший от департамента м-ва юстиции 6 и 15 сентября эти прошения на распоряжение, известил 30 сентября Евреиннова об объявлении просителям «об оставлении этих прошений без последствий».

28 ноября 1874 г. Л. Л. Чудновский подал Евреиннову прошение об облегчении заключения С. Л. Чудновского.

44 См. у Жебунева «Отрывки из воспоминаний» («Былое» 1907 г., № 5). В них о Никите Всеволодском и Пилаеве говорится на страницах 254—256. Там же Жебунев пишет: «Сидя в одесской тюрьме, мы не ограничивались пропагандой среди единичных личностей. Один из нас, Чудновский, писал длинные статьи, которые читались сообща в общих арестантских камерах». В этих же «Отрывках» он описывает свою совместную жизнь с Чудновским в Сибири (стр. 256—260) и работу Чудновского в «Сибирской Газете» (стр. 267—268).

⁴⁵ София Григорьевна Рубинштейн — родная сестра знаменитых композиторов Николая и Антона Рубинштейнов. Не будучи активным участником революционного движения, она оказывала революционерам значительную поддержку своими большими связями в обществе и сбором материальных средств. Она в течение всей своей жизни поддерживала дружеские отношения с С. Л. Чудновским, а после его смерти и с Л. Д. Чудновской.

⁴⁶ С. Чудновский был перевезен в петербургский дом предвар. заключения не летом, а осенью 1876 г. — между 5 и 10 октября.

⁴⁷ Завадский — Евгений Осипович Заславский. В 1872 г. он с целью сближения с рабочими открыл в Одессе типографию, где вел пропаганду. Организовал т. н. Южно-российский союз рабочих. Арестован был не в 1874 г., а 22 декабря 1875 г., содержался в одесском тюремном замке, где вследствие потрясения нервно заболел. Перевезенный в Петербург, он был признан врачами здоровым и, преданный суду особого присутствия сената, приговорен к лишению всех прав и ссылке в каторжные работы на 10 лет. По ходатайству жены, решение сената было приостановлено, и он помещен в психиатрическую больницу. 18 мая 1878 г. по высоч. повелению назначенное наказание заменено было ссылкой на поселение в Томской губернии, а 13 июня 1878 г. Заславский умер в петербургском тюремном замке.

⁴⁸ Это было 4 ноября 1876 г.

⁴⁹ Этот случай настолько глубоко врезался в память Чудновского, что, по рассказам Л. Д. Чудновской, многие годы спустя, его часто преследовал во сне этот кошмар, при чем он кричал: «Прокурор! Дайте прокурора! Я требую прокурора!»

⁵⁰ Это было 11 октября 1877 г.

⁵¹ Это было 20 ноября 1877 г.

⁵² Приводим это «примечание» по следующему изданию: «С. Кравчинский. Смерть за смерть. (Убийство Мезенцева). С приложением стихотворения А. А. Ольхина «У гроба» и со вступ. статьей В. Петровского. Петрогр. 1921, стр. 18»: «Во время упомянутой расправы были пущены в ход штыки, так что двое из заключенных едва не были проколоты. На Чудновского была надета сумасшедшая рубашка, и в таком виде был привязан к кровати. Некоторых из заключенных посадили в карцер, остальных же, ожидающих суда, лишили столов, скамеек, гулянья на целую неделю и, как говорят, привязали к кроватям».

⁵³ «Завещание» это, подписанное обвиненными по делу 193-х 25 мая 1878 г., было напечатано в журнале «Община» и впоследствии перепечатано в календаре «Народной воли».

⁵⁴ С. Чудновский был передан петербургскому губернскому правлению для отправки в Сибирь 18 июля 1878 г.

⁵⁵ Это было между 3-м и 6-м августа 1878 г.

⁵⁶ Это было 30 мая 1879 г.

⁵⁷ В «Тетради для конспектов по истории из разных заметок № 2 С. Чудновского 30 июля 1875 г. Одесский тюремный замок» на стр. 130-131 имеется написанная карандашом заметка из жизни ялutorовского острога, помеченная 26 июня 1879 года, и приписка, сделанная позже чернилами (как и все заметки и выписки в этой тетради), о курганском и тобольском острогах.

⁵⁸ Этот представляющий большой интерес документ, переданный в 1924 г. Л. Д. Чудновскому в Одесский Истпарт, хранится ныне в Одесском краевом историческом архиве — фонд прокурора од. суд. палаты, «Дело о преступной пропаганде в среде народа, обнаруженной в различных губерниях империи». 1874 г. № 14. Докладная записка Чудновского датирована 2-м октября, а в ноябре последовало распоряжение о переводе его в тобольский тюремный замок.

⁵⁹ В 1879—1880 гг. тобольск. губ. прокурором был В. Н. Тишин.

⁶⁰ Это распоряжение последовало 15 декабря 1880 г., а 17 декабря Чудновский был уже на свободе.

⁶¹ По состоявшемуся 24 декабря 1880 г. «высочайшему» повелению Чудновского «за распространение недовольства существующим порядком среди жителей Кургана» выслали в Енисейск. Перед отправлением у него были отобраны письма его к Ф. Волховскому и Авдотье Герценштейн.

⁶² «Новороссийский Телеграф» 1871 г. № от 25 марта. «Субъект из темного царства» (фельетон, написанный по поводу статей Гоняева, помещенных в № 34 и № 39 «Одесского Вестника» за 1871 г.).

⁶³ «Мысли незаписного публициста С. Л. Ч. Одесса 1876 г. (55 стр.) Содержание: 1) Турецкие христиане и «просвещенные мореплаватели» перед судом нравственности. (Мысли, вызываемые в уме недипломата текущими событиями на Востоке). 2) Крестьянство и общинное земледелие».

⁶⁴ «Устои» 1882 г., № 12, стр. 1—31 «Сибирские рабочие» (подпись: «с-н»). «Устои» издавались (декабрь 1881—декабрь 1882 г.) литературным кружком, в состав которого входили: Я. В. Абрамов, М. Н. Альбов, С. А. Венгеров, В. М. Гаршин, С. Н. Кривенко, Н. М. Минский, Н. И. Наумов, Н. Я. Николадзе, М. А. Протопопов (Н. Морозов), Л. З. Слонимский. Редактором-издателем был С. А. Венгеров.

⁶⁵ «Русская Мысль» 1886 г., кн. 10. «Колонизационное значение Сибирской ссылки», С. Чудновский. (Вторая пагинация. Стр. 40—66).

⁶⁶ Работа эта, первые главы которой были помещены в №№ 29 и 30 «Сибирской Газеты» за 1882 г. под названием: «Данные к статистике торговли и промышленности г. Енисейска», вышла в 1885 г. отдельным изданием под названием: «Енисейская губерния к 300-летию юбилею Сибири».

⁶⁷ По постановлению Особого совещания от 26 апреля 1882 г., Чудновский подлежал в виду «хорошего поведения» переводу в Тобольскую губернию, но по болезни просил разрешения остаться в Енисейске, чтобы избежать путешествия этапным порядком.

⁶⁸ Чудновский выехал в Томск 9 марта 1883 г.

⁶⁹ Это был № 11 за 1881 г.

⁷⁰ Последний номер «Сибирской Газеты» вышел 24 июля 1888 г. и был посвящен сибирскому университету, по случаю его открытия в г. Томске.

⁷¹ По словам брата А. А. Кропоткина (П. А. Кропоткин. «Записки революционера», 1929 г. Том II. Стр. 38), он был арестован вследствие перехваченного его письма П. Л. Лаврову, а не наоборот, как указывает Чудновский.

При обыске, он заявил жандармскому офицеру, производившему осмотр: «Против вас, капитан, я не могу питать неудовольствия: вы получили такое ничтожное образование, что едва понимаете, что творите. Но вы, милостивый государь, — обратился он к прокурору, — вы знаете, какую роль играете во всем этом. Вы получили университетское образование. Вы знаете закон и знаете, что попираете сами закон, какой он ни на есть, и прикрываете вашим присутствием беззаконие этих людей. Вы, милостивый государь, попросту мерзавец».

Что касается статьи А. А. Кропоткина о ссылке, помещенной им в «Сибирской Газете», то единственно подходящей является статья «Ссылка в Сибирь» («С. Г.» № 3 от 15/III 1881 г.), не содержащая в себе, однако, ничего революционного. В каких «обвинительных пунктах» против «С. Г.» она могла фигурировать, нам установить не удалось. Следует отметить имевший большое значение для судьбы «Сибирской Газеты» выпад «Московских Ведомостей» в их передовой № 25 от 25 янв. 1886 г., содержащей прямой донос на редакцию газеты.

В передовой этой есть место, в котором содержится и прямой намек на Чудновского, именуемого «жидом, провозившим прокламации».

⁷² Так, напр., М. Костюрина (проезжавшая в то время Томск) пишет в отрывке из своих воспоминаний «Молодые годы» («Каторга и Ссылка» 1926 г., № 3) «... В Томске тогда было много «политиков» (если

не ошибаюсь, Сол. Чудновский, Волховский и др); они встречали партию, и, кажется, им за это досталось».

⁷³ Этот момент чтения В. Г. Короленко рассказа «Сон Макара» колонии томских политических ссыльных не имеет в литературе, насколько нам удалось установить, никакого отражения. Не нашлось, по любезно наведенным для нас Н. В. Ляхович-Короленко справкам, никаких материалов и в архиве В. Г. Короленко.

Лишь в газете «Столичная Молва» № 163 от 17 января 1911 г. в ст. Н. Сковорода есть указание на то, что, проезжая Томск по пути из ссылки, В. Г. Короленко читал в кружке местных политических ссыльных «Пролог», который он намеревался предпослать своим «Сибирским рассказам».

⁷⁴ В своей книге «Сибирь и ссылка» Дж. Кеннан описывает свою встречу с Чудновским, а также эпизод столкновения Чудновского и Волховского с вице-губернатором Петуховым у Кеннана в гостиничном номере. Приведем из этого описания отрывок, относящийся к характеристике Чудновского, даваемой Кеннаном.

В виду довольно «вольных» переводов книги Кеннана на русск. яз., цитируем по подлиннику (George Kennan — Siberia and the exile system. Vol. I. London, 1891, p. 409:

«В Томске, где мы провели больше времени, чем в других западно-сибирских городах, мы имели удобный случай познакомиться с большой колонией политических ссыльных и значительно расширить наше знание их жизни. Мы встретили там впервые мужчин и женщин, участвовавших в так называемой «пропаганде» 1872—1875 гг., сосланных по приговору суда, которые действительно могли быть названы революционерами. Они не отличались в сущности от административно-ссыльных Семипалатинска, Ульбинска и Усть-Каменогорска, за исключением того, что они были дольше в ссылке и обладали в силу этого более продолжительным и обширным опытом. Соломон Чудновский, например, блестящий и талантливый публицист лет тридцати пяти, рассказывал мне, что он был впервые арестован, когда ему было 19 лет, еще в университете; с того времени почти всю свою жизнь он был под надзором полиции, в тюрьме или ссылке...

... Почти пятилетнее одиночное заключение и семь лет ссылки могли сломить любого человека, но энергия и мужество Чудновского были непобедимы. Несмотря на все препятствия, он закончил свое образование и даже в Сибири создал себе имя и положение.

Им написана превосходная, тщательно составленная история развития учебных заведений в Сибири, опубликованная в официальном ежегоднике Томской губернии за 1885 г. * Им совершены по поручению Западно-Сибирского отдела имп. географического общества две научные экспедиции на Алтай; он был неутомимым сотрудником русской периодической печати, и его книга о Енисейской губернии получила премию, учрежденную красноярской городской думой за лучшую работу на эту тему. ** Чудновский произвел на меня впечатление человека, который, родись он в Америке, благодаря своей полезной деятельности достиг бы почетного положения на родине, но, родившись в России, он оказался обреченным на тюрьму и ссылку».

Ценность этой книги Чудновского была значительно уменьшена цензурскими искажениями, а две последние главы вообще не могли быть

* Речь идет о следующей работе С. Л. Чудновского — «Исторический ход народного просвещения в Томской губернии». Период первый — до открытия губернской гимназии. Памятная книжка Томской губернии на 1884 г. Стр. 111—155. То же. Период второй, с открытия губ. гимназии. Ibidem. на 1885 г. Стр. 4—92.

** «Енисейская губерния (к 300-летию юбилею Сибири). Статистико-экономич. очерки». С. Л. Чудновского. Изд. «Сибирск. Газеты». 1885 г. Томск

напечатаны; но даже и в таком искаженном виде она считается одной из самых значительных работ этого рода.

⁷⁵ Первая из этих экспедиций, продолжавшаяся с 20 мая по 25 августа 1884 г., была совершена С. Л. Чудновским по рекомендации А. В. Адрианова и поручению отдела Зап.-Сиб. геогр. о-ва... для изучения экономической жизни сельских общин горнозаводских и земледельческих волостей Бийского округа. Для первого опыта таких исследований Ч. взял 2 волости Бийского округа: Смоленскую, как чисто земледельческую, и Змеиногорскую, как горнозаводскую, и сделал в них подворную опись и детальное исследование 3 домохозяйств: богатого, среднего и бедного. О результатах исследования сделал сообщение в отделе (История полувековой деятельности русск. геогр. о-ва., ч. II. отдел IV, стр. 668). Вторая экспедиция продолжалась с 13 февраля по 29 апреля 1885 г.

Что касается библиографии работ Чудновского, явившихся результатом этих экспедиций, то вот перечень главных из этих работ:

I. «Алтайская поземельная община». Подпись — «Ч.» («Северный Вестник» 1888 г., № 11). II. «Советы переселенцам, идущим в сибирские губернии и волости» (Письмо из Сибири С. Л. Чудновского). Сельский календарь на 1888 г. Составил Яков Абрамов. III. «Переселенческое дело на Алтае». Статистико-экономический очерк С. Л. Чудновского. Записки Сиб. отдела русск. геогр. о-ва по отделению статистики, т. I. Выпуск 1, под редакцией Г. Н. Потанина. Иркутск 1887 г. Стр. IV—154. (Извлечения из этого труда были читаны Чудновским в заседании отдела статистики 16 апреля 1888 г.). IV. «Переселенческое дело на Алтае». С. Чудновский («Русская Мысль» 1890 г., № 3. Рецензия — «Восточное Обозрение» 1890 г. № 5). V. С. Л. Чудновский «Раскольников на Алтае» (Выдержки из дневника), «Северный Вестник» 1890 г., № 9. VI. С. Л. Чудновский. «К вопросу о сибирской общине». «Сибирский Листок» 1891 г., №№ 28 и 29. VII. С. Л. Чудновский. «Очерки народного юридического быта Алтайского горного округа». «Русское Богатство» 1894 г., №№ 7—10. VIII. С. Л. Чудновский. «Переселения и новый фазис в нашей переселенческой политике». «Жизнь Юга» 1897 г., №№ 4 и 5.

⁷⁶ Статья эта была напечатана в издании «Сельский календарь на 1888 г. Составил Яков Абрамов» под названием «Советы переселенцам, идущим в сибирские губернии и волости». (Письмо из Сибири С. Л. Чудновского). Стр. 119—142.

⁷⁷ Л. Д. Чернова (1855—1930) была арестована по оговору Мануилова и Ф. Грекова в 1887 г., посажена в крепость, где просидела 10 мес., около ноября 1885 г. была переведена в дом предварительного заключения, а затем выслана на 3 года в Ялуторовск Тобольской губ.

По словам В. И. Сухомлина («Из эпохи упадка «Народн. Воли». «Каторга и ссылка» 1926 г., № 6), Лопатин, после убийства Судейкина уезжая за границу, передал все связи и инвентарь Исполнительного Комитета Народной Воли Степурину и Л. Д. Черновой (роль которой осталась неизвестной департаменту полиции, вследствие чего она отдалась административной высылкой в Западную Сибирь), ставшими вследствие этого единственными представителями ИК в Петербурге.

По возвращении в 1893 г. из Сибири, Л. Д. Чернова посвятила себя педагогической и общественной деятельности в Одессе, где в 1907 г. учредила образцово поставленную женскую гимназию (большое участие в делах которой с самого момента открытия принимал и С. Л. Чудновский). О Л. Д. Черновой-Чудновской см. составленный нами некролог ее («Каторга и ссылка» 1931 г., № 2).

⁷⁸ 5 мая 1885 г. департамент полиции известил томского губернатора об удовлетворении ходатайства Чудновского и разрешении ему разъездов по Сибири и предоставлении ему права избрания рода занятий.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Авдеев, член одесского студенческого кружка — 38.
 Аверкиев, подсудимый по делу 193-х — 127, 216, 217.
 Аверкиева Е. И., подсудимая по делу 193-х — 155, 158, 216, 217, 220.
 Адрианов, натуралист, редактор «Сибирской Газеты» — 230, 241, 244, 245, 246, 252, 253, 266.
 Александр II — 199, 269.
 Александр III — 261.
 Александров, адвокат — 137, 142, 154.
 Александров В. П., политссылный — 248.
 Александрова Лидия, жена предыдущего — 248.
 Александрова В. И., судилась по процессу 50-ти — 276.
 Алексеев Петр, рабочий-революционер, судился по процессу 50-ти — 150.
 Алексеева, член московского кружка чайковцев — 136.
 Алябьев, губернатор — 212.
 Аметистов Евл., студент — 13.
 Анненский Н. Ф., писатель-публицист — 209.
 Аносов, подсудимый по делу 193-х — 156.
 Антонов, подсудимый по делу 193-х — 156.
 Антонов, одесский полицеймейстер — 39, 109.
 Антонова М. О., член одесского кружка чайковцев — 52, 67, 68, 101.
 Антонович, попечитель учебного округа — 23.
 Анучин, генерал-губернатор Вост. Сибири — 270, 271.
 Аристов, прокурор — 94—96, 99—102, 114.
 Армфельд Наталия, член московского кружка чайковцев — 80.

Аронзон, подсудимый по делу 193-х — 156.
 Артамонов, подсудимый по делу 193-х — 155.
 Астырев Н. М., статистик, литератор — 275.
 Афанасьев Г. Е., профессор — 26, 38, 40, 41, 45.
 Афанасьева А. В., политссылная (дело Ковальского) — 180, 190, 191.

Б

Байдаковский, студент — 13.
 Бакунин М. А., писатель, революционер-анархист, эмигрант — 51, 64, 81, 82, 162.
 Балинский, профессор — 11.
 Балицкий, политссылный — 237.
 Бардина, осужденная по процессу 50-ти — 150.
 Бардовский, адвокат — 137, 154.
 Барков, подсудимый по делу 193-х — 155.
 Бастиа, французский вульгаризатор, буржуазный политэконом — 55.
 Батаревич, исправник — 231, 236.
 Белинский В. Г., критик — 8, 9, 32, 212, 216.
 Белкин, студент — 47, 59.
 Белокопский, писатель — 224.
 Белявский, политссылный — 216.
 Бенедикт, немецкий профессор — 60.
 Берлинерблау, цюрихская студентка — 34, 35.
 Биткин, подсудимый по процессу 193-х — 155.
 Бладзевич И., подсудимый по делу 193-х — 155.
 Бладзевич К., подсудимая по делу 193-х — 155.
 Блазнавац, сербский политический деятель — 66.
 Блан Луи, французский социалист, историк — 10.

Бобков, генерал-лейтенант — 267.
 Богданович, генерал — 42.
 Богишич Б. В., профессор — 46.
 Боголюбов, пропагандист, земледелец — 132, 149.
 Богородский, смотритель Петропавловской крепости — 151—153.
 Болотников И. Н., технолог-педагог — 32—34.
 Болотов, полицейский — 39, 108—111, 121.
 Боровиковский, адвокат — 137.
 Бородин, профессор и композитор — 11, 15.
 Борко-Боринский, подсудимый по делу 193-х — 155.
 Боткин С. П., профессор — 12, 18.
 Брандт, профессор — 12.
 Брешковская, подсудимая по делу 193-х, ныне в эмиграции — 155, 158.
 Бригген, фон, декабрист — 255.
 Бродский, сахарозаводчик — 215.
 Буймистров, адвокат — 137.
 Булацель, черносотенец — 42.
 Бутовская, член одесского кружка — 115, 121.
 Бухарин, одесский градоначальник — 45, 58.
 Бар, студент — 46.

В

Вагин, сибирский публицист — 278, 279.
 Василевский, студент — 16, 17.
 Ваховская, революционерка-народница — 136, 155.
 Введенский, подсудимый по делу 193-х — 155.
 Вейнберг Я. И., адвокат — 121.
 Велимирович, сербский социалист — 66, 67.
 Венгеров — 233.
 Веревоchina, подсудимая по делу 193-х — 155.
 Вериге, политссылный — 237.
 Вериге, профессор — 42.
 Вернер, лидер австрийских рабочих — 61, 89.
 Видуанов, подсудимый по делу 193-х — 155.
 Вилье, барон, клиницист — 10.
 Виноградов, подсудимый по делу 193-х — 156.
 Виттен Вера, политссылная (дело Ковальского) — 190.
 Владимирова, полицеймейстер — 206, 209, 214.
 Войцеховский А. М., сосланный по польскому восстанию 1863 г. — 244, 245.

Войнаральский П. И., народник-бакунист — 134, 150, 158, 160, 162, 163.
 Волкенштейн, врач, подсудимый по делу 193-х — 155.
 Волконский, князь — 210.
 Волховский Ф. В., революционер — 50—54, 56, 63, 76, 77, 84, 100, 114, 118, 132, 134, 136, 142, 143, 148, 150, 151, 155, 162, 163, 169, 172, 173, 231, 241, 243—245, 248, 259—261, 263, 275.
 Вольский, профессор — 54.
 Востротины, братья, енисейские обыватели — 230.
 Всеволодский, уголовный арестант — 118.

Г

Гаврилович, сербский политический деятель — 66.
 Гагарин, князь — 210.
 Гальперин, политссылный — 237, 239.
 Гасфорд Г. Х., генерал-губернатор Зап. Сибири — 175.
 Гауэнштейн, подсудимый по делу 193-х — 156.
 Гвоздев, подсудимый по делу 193-х — 156.
 Гейне Генрих, немецкий поэт — 7.
 Герард, адвокат — 137, 140, 154.
 Геринг, политссылный — 237—239.
 Геринг (урожд. Кон), жена Геринга — 238.
 Германов, см. Цыплов.
 Гернгросс, адвокат — 137.
 Гернет, профессор — 38.
 Герцен А. И., писатель, революционер-эмигрант — 51.
 Герценштейн А. М., цюрихская студентка — 34, 35.
 Герцо-Виноградский (Барон Икс), журналист, политссылный — 229.
 Гете Иоганн-Вольфганг, немецкий поэт — 7.
 Гиляров, управляющий казенной палатой — 246.
 Гиртль, немецкий профессор — 60.
 Гласко, политссылный — 237.
 Глушков, подсудимый по делу 193-х — 156.
 Говоруха-Отрок, народник, потом реакционный журналист — 136, 155.
 Годунов Борис, царь — 104.
 Голиков, подсудимый по делу 193-х — 144, 155.

Голицын, князь—210.
Головин, подсудимый по делу 193-х—156.
Головкинский, профессор—38.
Голубцов, попечитель одесского уч. округа—28.
Голушев, подсудимый по делу 193-х—156.
Гольденберг, социалист-народник, эмигрант—68, 69.
Гоняев, одесский журналист—229.
Горемыкин, иркутский генерал-губернатор—277.
Горинович, подсудимый по делу 193-х—155, 158.
Горчаков, профессор—20.
Городецкий Л., подсудимый по делу 193-х—18, 155.
Горяев, учитель—7, 8, 74.
Грабовский, политссыльный—237.
Грацианский, адвокат—137.
Грачевский М. Ф., член кружка чайковцев—153, 156.
Гриневиц, херсонский полицеймейстер—26, 28, 29.
Гриценков, подсудимый по делу 193-х—155.
Громницкий, адвокат—137.
Громов, купец—276, 277.
Грубер В. Л., профессор—11, 12, 15, 60.
Гружевская, политссыльная—224.

Д

Давиденко, член окружного суда—36.
Данилов, подсудимый по делу 193-х—155.
Дарвин Чальз, английский естествоиспытатель—12.
Дебагорио-Мокриевич Вл., народник-бакунист—81, 82.
Дементьева А. В., революционерка—15.
Ден, адвокат—137.
Деспот-Зенович, губернатор—212.
Джабадари, осужденный по процессу 50-ти—150.
Дзюбинский, народный социалист, член Государственной думы—268.
Дическуло Л. А., член одесского кружка чайковцев—76, 84, 144, 155.
Добров, подсудимый по делу 193-х—156.
Добровольский, подсудимый по делу 193-х—155.
Добролюбов Н. А., критик—8, 9, 32, 51, 212, 213.

Долгополов Н. И., врач, политссыльный—216—219, 221, 222.
Дорн, адвокат—137.
Достоевский Ф. М., писатель—113, 267.
Дробыш-Дробышевский, подсудимый по делу 193-х—155, 238.
Дубровин, доктор, черносотенец—42.
Дурново П. Н., директор департамента полиции, министр вн. дел—242.

Е

Евреиннов Г. А., прокурор—113, 116, 117, 229.
Езерский, студент—13.
Екатерина II—212.
Емельянов Н. И., подсудимый по делу 193-х—155, 158.
Енишерлов, студент—149.
Енкуватов, студент, революционер—23.
Ермак Тимофеевич, казак-завоеватель—121, 169.
Ермолаева, подсудимая по делу 193-х—156.

Ж

«Жак» (Новиков Яков), русский социолог, нацифист и канатный фабрикант—56.
Жебунев Сергей, революционер-народник—81—83, 114, 144, 155, 179, 188, 189, 191, 192, 197, 198, 221, 223, 240, 274.
Жебунев В. А., народник-пропагандист—83, 114.
Жебунев Н. А., член одесского кружка чайковцев—82, 83, 114, 121, 136.
Жебунева-Блинова, была близка к пропагандистским кружкам в Одессе—83.
Желиховский, товарищ обер-прокурора кассационного департамента—137, 139, 154.
Желтоновский, студент—48, 54, 55, 84, 85.
Желябов А. И., революционер—40, 41, 45—47, 59, 84—86, 88, 91—94, 96, 101, 112, 118, 120, 132, 135, 144, 155, 224.
Жилинский, подсудимый по делу 193-х—156.
Жихарев, прокурор—115, 118—120, 131, 155, 157.
Журавлев, городской голова—136.

З

Завадская, подсудимая в процессе 193-х—144, 155.
Завадский (читай—Заславский) Е. О.—114, 123.
Завалишин Д., декабрист—185.
Загоскин, педагог, редактор «Сибиря»—244, 279.
Зак Л. М., политссыльный—227, 228, 237.
Зарубаев, подсудимый по делу 193-х—155, 158.
Засулич В., революционерка, впоследствии меньшевичка—149.
Зейликович, контрабандист—90—92, 113.
Зинин Н. Н., академик, химик—11, 12, 15, 19.
Златовратский Н. Н., писатель—233.
Знаменский, подсудимый по делу 193-х—155.
Зотов, директор одесского сиротского дома—85.
Зубачевский, смотритель одесской тюрьмы—102, 105, 106, 117.

И

Иванов, нелегальная кличка С. Л. Чудновского—89, 90, 92, 99, 101, 113.
Иванова, подсудимая по делу 193-х—155, 158.
Игнатьев А. П., иркутский генерал-губернатор—275, 277.

К

Кадайский, железнодорожник—89, 90, 92, 114.
Кадыан, доктор, участник процесса 193-х—137.
Казачек, подсудимый по делу 193-х—156.
Казнаков, генерал-губернатор Зап. Сибири—187, 197, 214, 223.
Калинин, исправник—227, 240.
Каменский, подсудимый по делу 193-х—156.
Карабчевский, адвокат—137.
Карнович, камер-юнкер—29, 30.
Каракозов, революционер—12, 63.
Катакази, киевский губернатор—23.
Катков М. Н., реакционный публицист—21, 62, 246.
Кап, подсудимый по делу 193-х—156.
Кашеварова-Руднева, женишна-врач—15.

Квятковский, подсудимый по делу 193-х—155, 158.
Кедрин, адвокат—137.
Кейкуатов, адвокат, 137.
Кеннан Джордж, американский журналист—262—264.
Кепель, фотограф—224.
Кириллов, подсудимый по делу 193-х—156.
Клейн Лидия, политссыльная—239.
Клеменц Д. А., член кружка чайковцев, землевлец—51, 248, 256, 266.
Клименко, лаборант—42.
Кноп, жандармский полковник—59, 94—97, 99, 101, 116, 117.
Князевский, подсудимый по делу 193-х—155.
Ковалевский В. И., народник, потом товарищ министра—17, 23.
Ковалик С. Ф., народник-бакунист—81, 83, 133, 134, 150, 155, 158, 160, 162, 163.
Ковальский И. М., революционер—47—49, 55, 56, 180, 190.
Козлов, профессор—19.
Козлов, генерал—134.
Козлов, секретарь отдела географического о-ва—272.
Козлова, женщина-врач—15.
Колпаковский, генерал-губернатор Зап. Сибири—270.
Коломнин, адвокат—137.
Кольшкин, начальник охраны—19.
Кольцов-Массальский, князь—210.
Комов, подсудимый по делу 193-х—155.
Конколович, политссыльный—237.
Коновницын, граф, черносотенец—42.
Корабельников, подсудимый по делу 193-х—155.
Корвацкий, студент—24, 31, 36, 38.
Коринфский, студент—13.
Корнилова А. И., член кружка чайковцев—51, 143, 155, 248, 255.
Корнилова Л. И., член кружка чайковцев—51, 248, 255.
Короленко В. Г., писатель, политссыльный—260, 261.
Корш Е., уголовный ссыльный, журналист—244, 245, 273, 274.
Костомаров Н. И., историк—74.
Костюриц, член одесского кружка чайковцев—76, 144, 155.
Коцебу, новороссийский генерал-губернатор—26, 28, 43, 44.

Кравчинский-Степняк, земледелец — 162, 264.
 Красовский, губернатор — 251—254, 265, 273.
 Крахт, член одесской судебной палаты — 113, 114.
 Кржеминский, политссыльный — 21, 220.
 Куницын, профессор — 57.
 Кропоткин А. А., политссыльный — 248, 255—258.
 Кропоткина В. С., жена предыдущего — 256.
 Кропоткин П. А., анархист, член кружка чайковцев — 51, 255.
 Кротов, подсудимый по делу 193-х — 156.
 Крутовский, врач, общественный деятель — 276.
 Кувшинская А. А., член кружка чайковцев — 51, 155.
 Кугель, полковник — 255.
 Кудрявцев, врач — 177, 190.
 Кумбари, домовладелец — 96.
 Куприянов М., член кружка чайковцев — 51, 72, 73, 143, 155.
 Курлов, министр внутр. дел — 42.
 Кюхельбекер В., декабрист — 212.

Л

Лавров П. Л., вождь и теоретик, народничества (правого крыла), редактор «Вперед» — 63, 64, 68, 71, 256.
 Лазарев Е. Е., народник-пропагандист — 133, 155.
 Ланганс, революционер — 62, 118, 155.
 Ландау, политссыльный — 277.
 Ларионова, подсудимая по делу 193-х — 155.
 Лассаль Ф., немецкий социалист, агитатор — 51, 54, 55, 60, 97.
 Лебедева, подсудимая по делу 193-х — 155.
 Левандовская В. Н., политссыльная — 224.
 Леман, адвокат — 137.
 Леонтович, профессор — 46.
 Леонтьев, адвокат — 137.
 Леопольд, бельгийский король — 70.
 Лепинский, уголовный арестант — 107, 108.
 Лермонтов Ф. Н., член кружка чайковцев, бакунист — 82, 155.
 Лернер О. М., уголовный арестант, потом черносотенный журналист — 112, 113.

Лесников (читай — Лесник), жандарм — 128.
 Лешерн фон-Герцфельд Софья Ал., подсудимая по делу 193-х — 155, 158.
 Ливанов, подсудимый по делу 193-х — 155, 158.
 Литвинов, студент — 13, 25.
 Лихарев, декабрист — 215.
 Лихутин, студент — 13.
 Личков, статистик — 275—276.
 Личкова Г., жена предыдущего — 275.
 Лобанов-Ростовский, князь — 210.
 Лобов, последователь П. Л. Лаврова, артиллерийский капитан — 63.
 Ломоносов, подсудимый по делу 193-х — 156.
 Лопатин Всеv., подсудимый по делу 193-х — 144, 156.
 Лопатин Г. А., народоволец — 51, 63.
 Лорер, декабрист — 215.
 Лорис-Меликов, министр внутр. дел — 204—206, 210, 214, 222, 277.
 Лукашевич, революционер — 32, 156, 158, 162, 163, 171.
 Лукьянов П., волостной старшина — 136.
 Лысогорский, тобольский губернатор — 206, 209, 210, 213.
 Любавский, подсудимый по делу 193-х — 156.
 Любатович Вера С., подсудимая в процессе 50-ти — 228.
 Любатович Ольга С., подсудимая в процессе 50-ти, землеволок, народоволка — 178, 186, 192, 193.
 Любимов, студент — 13.
 Любовец, политссыльный — 277.
 Львович, журналист, издатель — 268.
 Людовик Великий, французский король — 276.
 Люстиг, адвокат — 137.

М

Макалинский, адвокат — 137.
 Макаревич Анна, член одесского кружка чайковцев — 86, 87, 91—94, 96, 101.
 Макаревич, член одесского кружка чайковцев — 144, 155, 158.
 Маколей, английский историк — 201, 203.
 Максимов, подсудимый по делу 193-х — 155.
 Максимов С. В., исследователь Сибири — 185.

Макушин А. И., врач, член Государственной думы — 255.
 Макушин П. И., сибирский книго-торговец, общественный деятель — 241, 244, 249—251.
 Малиновский, подсудимый по делу 193-х — 155.
 Мандельштам М. Е., профессор — 21, 62.
 Маркевич А. И., профессор — 55.
 Маркевич Л. С., участница подпольного рукописного журнала «Вперед» в Одессе — 55, 56.
 Марков Е., черносотенец, член Государственной думы — 267.
 Маркович, сербский социалист — 67, 68.
 Маркс К., основоположник научного социализма — 51, 54, 55, 60, 61, 73, 97, 100, 123.
 Маркс М. О., политссыльный — 233, 234, 237.
 Марушевский, губернский секретарь — 111.
 Махаев, подсудимый по делу 193-х — 156.
 Медведев, подсудимый по делу 193-х — 156.
 Медем, сенатор — 136.
 Мезенцов, шеф жандармов — 153.
 Мейер, подсудимый по делу 193-х — 156, 158.
 Менделеев Д. И., профессор, химик — 42.
 Мерклин, профессор — 12.
 Мерцалов, губернатор — 245, 246.
 Мерхелевич, инспектор — 16.
 Мессюра, адвокат — 137.
 Мечников И. И., профессор — 38.
 Милан I, сербский король — 66, 68.
 Милан IV, см. Милан I.
 Миллер, аптекарь — 32.
 Милль Дж.-Стьюарт, английский экономист — 55, 68.
 Милоглазкин, подсудимый по делу 193-х — 155, 156.
 Милош (Обренович), сербский князь — 66.
 Миртов, см. Лавров.
 Михайлов, адвокат — 137.
 Михайлов, купец — 251, 254.
 Михайлов М. Л., революционер, писатель — 34.
 Михайловский Н. К., писатель-народник — 136.
 Млодецкий, политссыльный — 248, 277.
 Мойсеев, уголовный арестант — 111, 112.

Мокиевский-Зубок, член кружка чайковцев — 51, 156, 248, 249, 254, 255.
 Мондшейны, политссыльные — 237.
 Моргулис М. Г., адвокат и общественный деятель — 86, 96.
 Мордовцев, историк, беллетрист — 83.
 Морейнис, земледелец, ссыльно-поселенец — 277.
 Мороз И. С., политссыльный — 248.
 Мороз М. С., политссыльный — 248, 255.
 Морозов Н. А. — 34, 156.
 Муравский М., народник — 135, 138, 150, 155, 158, 160, 163.
 Муравьев А., декабрист — 212.
 Муромов, редактор «Сибирской Газеты» — 230, 241, 244, 245.
 Мышкин И. Н., революционер-народник (дело 193-х) — 127, 130, 139, 147, 150, 155, 157, 158, 162, 163, 216.
 Мясной И., царский воевода — 169.

Н

Надуткин, студент — 17.
 Назаров, политссыльный — 277.
 Назимов, декабрист — 215.
 Найер, уголовный арестант — 111, 112, 121.
 Наранович П. А., профессор — 10, 19.
 Нарышкин, декабрист — 215, 216.
 Натансон, один из основателей кружка чайковцев — 51, 52, 160, 255, 276, 277.
 Небольский, адвокат — 137.
 Неволин, подсудимый по делу 193-х — 155.
 Нейдгардт, одесский градоначальник — 42, 112.
 Неплюев, предводитель дворянства — 136.
 Нечаев С. Г., революционер — 13, 15, 25, 50, 128.
 Низовкин, подсудимый по делу 193-х — 155, 158.
 Никифоров, подсудимый по делу 193-х — 156.
 Николаев П. Ф., каракозовец — 248, 261, 262.
 Николаев, чиновник — 246, 247.
 Никольский, подсудимый по делу 193-х — 155.
 Никольский Б., черносотенец — 42.
 Новосельский Н. А., одесский городской голова — 53, 77.

О

Обервиндер, лидер австрийских рабочих—60.
Ободовская, член кружка чайковцев—219.
Овчинников, подсудимый по делу 193-х—155.
Озмидов, редактор реакционной газеты—112.
Орлов, жандармский офицер—115, 116.
Орлов В., студент—13.
Орлов М., подсудимый по делу 193-х—156.
Орлов П., подсудимый по делу 193-х—155.
Осипов, подсудимый по делу 193-х—156.
Осташкин, подсудимый по делу 193-х—155, 158, 162, 163, 228.
Островский, смотритель красноярской тюрьмы—223.
Оуэн, английский социалист-утопист—55.

П

Павленков, книгоиздатель—179, 186.
Павлов, политссыльный—192—194, 197.
Павловский, чиновник—268.
Павловский И., народник 70-х годов, потом реакционный журналист—136.
Пален, министр юстиции—123, 144.
Пашич, сербский политический деятель—64.
Педашенко, губернатор—223.
Перовская С. Л., член Исполнительного комитета «Народной Воли»—51, 143, 155, 224.
Петерс, сенатор—131, 137, 139, 141, 143, 145—147, 154.
Петухов, чиновник, исполн. обязанности губернатора, цензор—246.
Пилаев, уголовный арестант—118.
Пильщиков, учитель—7, 8, 74, 75.
Пирогов Н. И., профессор, попечитель Киевского учебного округа—37.
Писарев Д. И., критик—8, 9, 32.
Писарев, врач, редактор «Сибиря»—244, 278, 279.
Плеве, министр внутр. дел—42.
Поджо, декабрист—185.
Подолинский, сотрудник журнала «Вперед»—63.

Покровский, студент—13.
Полторацкий, прокурор—115.
Петропавловский, подсудимый по делу 193-х—155.
Полянский, уголовный ссыльный—273.
Попич Г., студент—90, 92, 99, 101.
Попко, член одесского кружка чайковцев—118.
Попов В. В., обер-секретарь—136, 139.
Потанин, Г. Н., этнограф, путешественник, исследователь Сибири—269—274, 278.
Потанина А. В., жена предыдущего—269, 271.
Потемкин, купец—179, 186.
Потехин 1-й, адвокат—137.
Потоцкая, подсудимая по делу 193-х—155.
Потылицына, политссыльная—224.
Похвиснев, сенатор—136.
Прибылева-Гроссман, каторжанка по процессу 17-ти—277.
Присека М. Н., политссыльная—248.
Прозоровский, князь—210.
Пронский, князь—210.
Прудон, французский писатель, теоретик анархизма—55.
Пуришкевич, черносотенец, член Государственной думы—42, 267.
Пушкин А. С., поэт—78, 170.
Пушин, декабрист—185.
Пыжков, чиновник—245.
Пьянков, подсудимый по делу 193-х—144, 156.

Р

Рабинович, подсудимый по делу 193-х—143, 155, 158, 162, 163, 171.
Радищев А. Н., писатель, автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву»—212.
Разумовская-Романовская О., член одесского кружка чайковцев—82.
Ралли Земфир, революционер, эмигрант—13.
Ренненкамф, сенатор—136, 154.
Репнин, князь—210.
Рикардо Давид, английский экономист—55.
Ристич, сербский политический деятель—66.
Рогачев Д. М., революционер-народник—143, 155, 158, 160, 163, 219.

Рогачева В. П., подсудимая по делу 193-х—155.
Рогович, реакционер—62, 68.
Родионов, купец—179.
Розанов, исправник—181—184, 189, 193.
Розен Г., одесский тюремный врач—104, 105, 115, 116.
Розен, декабрист—215, 216.
Розенштейн Анна, см. Макаревич Анна.
Рошер, немецкий экономист—55.
Рубинчик, сестры, политссыльные—238.
Рубинштейн Софья Гр., примыкала к одесскому кружку—118.
Руднев, профессор—11, 12, 17.

С

Саблин, подсудимый по делу 193-х, народоволец—156.
Сажин, подсудимый по делу 193-х, соратник Бакунина—155, 158, 161—163.
Самарский-Быховец, адвокат—137.
Сверчков, петербургский полицей-мейстер—19.
Семенов Н. П., сенатор, географ—270.
Семенов, подсудимый по делу 193-х—155.
Сен-Симон, французский социалист-утопист—55.
Серебряков, подсудимый по делу 193-х—155.
Серебрянников, редактор—53, 229.
Сеченов И. М., профессор—11, 12, 21, 38.
Сидорацкая, член кружка чайковцев—51.
Сидорацкий член кружка чайковцев—216, 219—221.
Симха, контрабандист—92—94, 98, 99, 101, 113, 114.
Синегуб С. С., революционер, народник—51, 114, 132, 135, 143, 155, 158.
Скворцов, подсудимый по делу 193-х—155, 158.
Слезкин, генерал—36, 115, 155.
Смирнов, полковник—13, 15, 16, 18, 21.
Смирнов В. Н., эмигрант, сотрудник революционного журнала «Вперед»—63.
Смирнов Е. А., статистик—275, 276.
Смирнова, жена предыдущего—275.

Смит Адам, английский экономист, основоположник классической буржуазной политэкономии—55.
Смолин, торговец—215, 220, 254.
Смазин-Тормасов, предводитель дворянства—136.
Соболевский, редактор «Русских Ведомостей»—252.
Соколов, подсудимый по делу 193-х—144, 156.
Соколов, адвокат—137.
Соколов, жандарм—200, 203—205, 214, 220, 222.
Соколов, профессор—38, 41.
Соколовский, адвокат—137.
Сокольский, редактор—45.
Соловьев А. К., земледелец—199.
Соловьевский, подсудимый по делу 193-х—155.
Сорокин, профессор—12.
Союзов, подсудимый по делу 193-х—155, 158, 162, 163, 167, 171.
Спасович, адвокат, профессор—137.
Спенсер, английский философ—128.
Сперанский, государственный деятель—57.
Спесивцев, подсудимый по делу 193-х—156.
Станюкович К. М., писатель, политссыльный—248, 258—260.
Станюкович-Бубнова, жена предыдущего—258, 259, 263.
Станюкович Н. К., дочь предыдущей—258.
Старынкевич, херсонский губернатор—26, 28, 36.
Стасов Д. В., адвокат—137.
Стахович С. Г., политссыльный—276, 277.
Стаховский, член кружка чайковцев—51, 158.
Стопане, подсудимый по делу 193-х—158, 162, 163, 169.
Струсберг, банкир, герой громкого уголовного процесса—273.
Субботина С., революционерка-народница—136, 144, 156.
Субботина Надежда, привлекалась по процессу 50-ти—248, 254, 255.
Сукачев В. Н., городской голова—270.
Сукин В., царский воевода—169.
Супинская, подсудимая по делу 193-х—158.
Суслова, женщина-врач—15.

Т

Таганцев, профессор—137.
 Теплов, подсудимый по делу 193-х—155.
 Терновский, подсудимый по делу 193-х—156.
 Тетельман, подсудимый по делу 193-х—156.
 Тизенгаузен В., декабрист—185.
 Тизенгаузен, сенатор—136.
 Тимашев, министр внутр. дел—116, 117.
 Тихомиров Л. А., член кружка чайковцев, народоволец—51, 135, 142, 143, 147, 156, 258.
 Ткачев П. Н., революционер, ред. «Набата»—21.
 Толстой Д. А., граф, министр—27, 28.
 Торопов, черноостенец—42.
 Траубенберг, подсудимый по делу 193-х—155.
 Трезвинский, подсудимый по делу 193-х—156.
 Трепов Ф. Ф., петербургский градоначальник—18, 20, 22, 132.
 Тригони, революционер—47.
 Троицкий, подсудимый по делу 193-х—155.
 Тростянский, адвокат—137.
 Трудницкий, близкий к кружку Жебуневых—83.
 Турчанинов, адвокат—137, 142.
 Тушинская, подсудимая по делу 193-х—155.
 Тютчев С. Н., земледелец—160, 277.

У

Успенский Гл. Ив., писатель—186.
 Утин Е., адвокат—137, 140.

Ф

Фаресов, подсудимый по делу 193-х—156.
 Федоров, полковник—135.
 Федорович, подсудимый по делу 193-х—155.
 Фетисова, подсудимая по делу 193-х—156.
 Фигнер Л. Н., привлекалась по процессу 50-ти—276.
 Филадельфов, подсудимый по делу 193-х—155.
 Фишер, подсудимый по делу 193-х—156.
 Флоринский, профессор—247.
 Фогт, декабрист—215.

Франколи А. А., революционер—32, 34, 85, 142, 143, 156.
 Франколи Е. А., учительница—33, 34.
 Фрост, художник, спутник Кеннана—262—264.
 Фурье, французский социалист-утопист—55.

Х

Халтурин С., революционер-рабочий—136, 199.
 Хвостов, сенатор—136.
 Хворостова, курганская мещанка—219.
 Хлебников, профессор—12, 15.
 Хлусевич, политссылный—277.
 Хоржевская А. С., жена Волховского, подсудимая по процессу 50-ти—243, 275, 276.
 Хоржевский, политссылный—236.

Ц

Ценковский, профессор—38.
 Цыплов, уголовный ссыльный—193—197, 205, 210, 213, 223.

Ч

Чайковский Н. В., один из основателей кружка чайковцев, народник-анархист, впоследствии активный враг советской власти—51, 78, 79, 255.
 Чарушин Н. А., член кружка чайковцев—51, 78, 135, 136, 143, 158.
 Чепега, судебный чиновник—187, 188.
 Черкесов, владелец библиотеки—50.
 Черневский, политссылный—237.
 Чернцов, инженер, 274.
 Чернышевский Н. Г., революционер, ученый, писатель—51, 55, 67, 212, 213, 276.
 Чернявский, народник-пропагандист—135, 138, 153, 158, 162, 163, 169, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 188, 189, 191, 197, 198, 221, 240.
 Чистович, профессор—19.
 Чудинов, вилюйский мещанин—158.
 Чудновский Ю. Т., профессор—21.
 Чудновский М. Л., журналист—64.

Ш

Шай Андреас, лидер австрийских рабочих—60, 61, 72, 73, 89.

Шалабанов, судебный чиновник—187.
 Шатилова, подсудимая по делу 193-х—144, 155.
 Шатриай, французский писатель—84.
 Шах, книжный торговец—30, 31.
 Шашков С. С., публицист, сотрудник «Дела»—269.
 Швецов, революционер-народник—274.
 Шевченко, Т., украинский поэт—74, 218.
 Шевырева, подсудимая по делу 193-х—155.
 Шестаковский, студент—40, 41, 45, 46, 48.
 Шиллер Фридрих, немецкий поэт—7.
 Шишко Л. Э., член кружка чайковцев, пропагандист, писатель—51, 143, 158, 162, 165—167, 171, 219.
 Шнейдер, немецкий профессор—60.
 Шостакович Б. П., политссылный—248, 254.
 Шраг—13.
 Штукенберг, адвокат—137.
 Шубин, прокурор—118—120, 137.
 Шувалов, граф, одесский градоначальник—112.
 Шульгин, черноостенец, член Государственной думы—267.
 Шульц, политссылный—248.
 Шур Александра, политссылная—216, 219, 221, 222.

Щ

Щеголов, подсудимый по делу 193-х—156.

Щеголев, подсудимый по делу 193-х—156.
 Щепкин, подсудимый по делу 193-х—156.
 Щепкин, защитник сына в процессе 193-х—137.
 Щербатов, князь—210.
 Щербина, член одесского кружка—114.

Э

Эдельштейн, подсудимый по делу 193-х—156.
 Эндауров, подсудимый по делу 193-х—156.

Ю

Юнге, профессор—19.
 Южаков С. Н., писатель—38, 224.
 Юргенсон Над. Ал., подсудимая по делу 193-х—156.
 Юшневский, декабрист—185.

Я

Ядринцев, исследователь Сибири—269, 278.
 Якимова А. В., подсудимая по делу 193-х, народоволка—155.
 Якубович, профессор—12.
 Якушкин, декабрист—185.
 Янтальцев, декабрист—185.
 Ярошенко, член одесского кружка чайковцев—118.
 Ярцев, подсудимый по делу 193-х—156.
 Яхненко-Семиренко, член одесской городской управы—84, 85.
 Яхненко-Семиренко Ольга Семеновна, жена Желябова—84, 120.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	I
Вступление	5
Глава I	7
» II	26
» III	37
» IV	50
» V	76
» VI	88
» VII	103
» VIII	134
» IX	160
» X	199
» XI	227
» XII	243
» XIII	265
Приложение: Письмо в редакцию «Бы- лого»	280
Примечания	281
Именной указатель	294